

К 956874

ДОЛГИ НАШИ

ПРОЗА
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
ВОЛОГДЫ



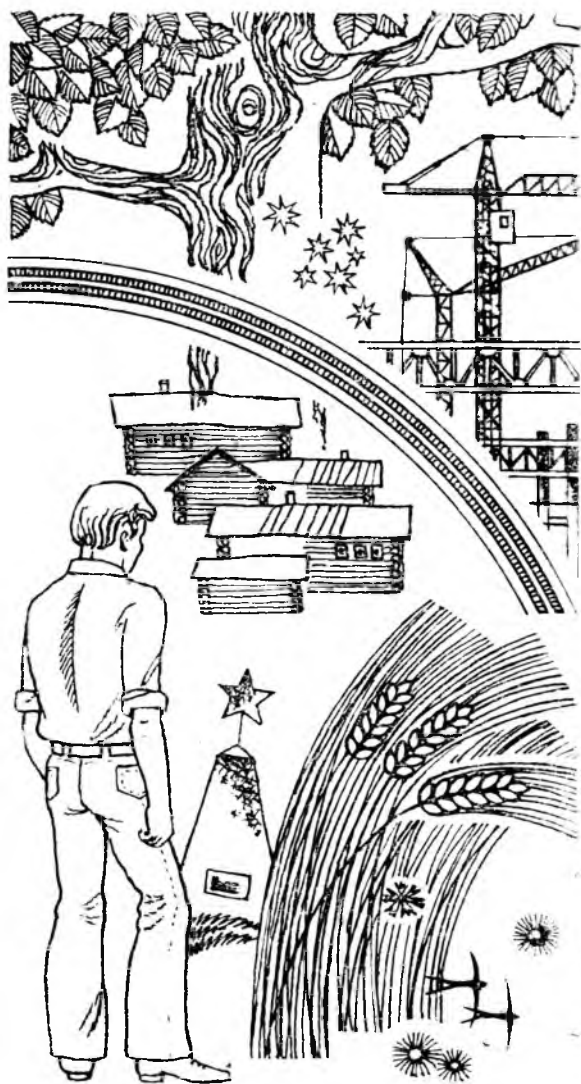
ДОЛГИ НАШИ



СБОРНИК ПРОЗЫ
МОЛОДЫХ
ВОЛОГОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Архангельск
1981

Василий Фирсов
Николай Рассохин
Роберт Балакшин
Олег Коротаев
Мануил Свистунов
Александр Драчев
Маргарита Кузнецова
Александр Рачков



Р2
Д 64

Редакционная коллегия
В. И. Белов, В. В. Коротаев,
В. А. Оботуров, А. А. Романов

Составитель сборника
С. П. Багров

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Фирсов. На родимщине 5. Федя Коровушкин 50.
Николай Рассохин. Веселая Заимка 71.
Роберт Балакшин. Еще не поздно 85.
Олег Коротаев. Долги наши 131. Белый бакен 154. Победитель 174.
Мануил Свистунов. Серый камень 190. Труба 204.
Александр Драчев. Топотало 218.
Маргарита Кузнецова. Цыган 229.
Александр Рачков. Рдесты 234.

Долги наши: Сб. прозы мол. волог. авт. /[В. Фирсов, Д 64 Н. Рассохин, Р. Балакшин и др.; Сост. С. П. Багров; Редкол.: В. И. Белов и др.].— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981.— 240 с., ил.

В сборник «Долги наши» вошли повести и рассказы восьми молодых вологодских прозаиков. О делах и заботах тружеников северного Нечерноземья, о нравственном облике нашего современника размышляют в своих произведениях авторы.

К 0732—017 4—17—81
М157(03)—81

Р2
ББК 84Р7

ДОЛГИ НАШИ

Редактор **А. А. Иванов.** Оформление **Э. В. Фролова.** Художественный редактор **В. С. Вежливцев.** Технический редактор **Н. А. Циннис.** Корректоры **Н. К. Галкина, Н. С. Дурасова, В. А. Фокина.**

Сдано в набор 15.04.1981 г. Подписано в печать 22.06.1981 г. ГЕ04352.
Форм. бум. 84×108/32 (бум. тип. № 3). Физ. печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 12,6.
Уч.-изд. л. 12,135. Тираж 15000. Заказ № 2774. Цена 90 коп.

Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение,
Вологда, Урицкого, 2.

Областная типография, Вологда, Челюскинцев, 3.

© СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1981.

НА РОДИМЩИНЕ

1

Все односельчане знали, что Славка Чередин работает на ударной стройке. А многие даже видели его по телевизору. Видели, как Славка, сидя в кабине экскаватора, лихо опрокинул ковш земли в кузов самосвала, повернул платформу и стремительно и в то же время мягко бросил ковш на дно траншеи. Славке и уделили-то съемщики всего секундочки четыре и, быть может, не узнали бы его родные да земляки. Но Славка Чередин — парень не промах: уловил момент и, утирая пот со лба, расплылся в широкой — на весь экран — улыбке.

Всплеснула руками мать, завизжал от восторга младший братишка Оська, вскочил со стула дед Пантелей, забежал по избе, закричал: «Славка-то наш, а?! Славка-то?! На экран попал, едрена восемь! Вот так Славка! Вот так Славка, мать, а?!»

Мельком покрасовался Славка на голубом экране, а разговоров в деревне на целую неделю хватило. Все заприметили земляки: и что худой стал, и что щеки сели, и что скулы видать.

Дед Пантелей, подвыпив, ходил по деревне и, ловя встречных за рукав, в который раз заводил разговор о внуке.

— Сусед, едрена восемь! — кричал он в ухо собеседнику. — Славку-то вчера на экране видел?! Видел парня-то нашего аль нет?!

— А как же, Антипыч! Видел, видел. Маскулатуристый парень.

— Сусед, едрена восемь! Славка-то, а?! На всю Россию лыбнулся, видел аль нет?! На всю Россию!

Мать, слушая разговоры односельчан, то смущалась от внимания, которое проявлялось к ее сыну, то вдруг беспричинно всхлипывала. А по вечерам, кончив хлопотать по хозяйству и накормив «мужиков», доставала из комода толстый старинный альбом и подолгу разглядывала фотографии сына и мужа. Муж ее умер от фронтовых ран, когда Славке было лет шесть. Особо любила мать карточку, на которой изображен двенадцатилетний Славка. Вот он сидит на покривившемся прясле, в белой простенькой рубашке, придерживая левой рукой накиннутый на плечи пиджачок. В другой руке — кепка-восьмиклинка, лежащая на колене. Русые горшочком волосы, живые, с любопытством устремленные в загадочную штучковину — фотоаппарат — глаза, застенчивая полуулыбка. Обыкновенный деревенский мальчишка, — он с одинаковым увлечением возился с Оськой, таскал копны сена, колол дрова, бегал с удочками на озеро. А вот пришло время — и умчался куда-то в Татарию, строит какой-то там «гигант индустрии» и шлет теперь коротенькие, вполстраницы, письма, из каждой строчки которых рвется наружу радость человека, попавшего в свою стихию.

Мать долго не может отвести взгляда от фотографии. Кажется ей, что Славка и сейчас такой, каким он был, — но нет. Рядом лежит фотография, присланная Славкой со стройки. Лицо спокойное, серьезное; длинные, по моде, волосы, широкий темный галстук. Совсем взрослым стал, и костюм хороший купил, дорогой, видно. Может, и женится там, прикатит с девкой-ягодиной, — принимай, мать, невестку...

Вскоре от Славки пришло письмо. Писал он, что жизнь идет полным ходом, что их экипаж сейчас в передовиках, и что он скоро приедет в отпуск. Ждите, мол.

2

Славкина деревня тянется вдоль дороги, по которой в бытность свою проезжал великий государь Петр Алексеевич. На этой самой дороге лошадь Петра будто бы потеряла подкову. Местный кузнец сработал ему новую. Стал Петр проверять подкову на проч-

ность, да и разогнул ее. Крякнул тут олонецкий мужичок, поскреб свою лысую голову, ухмыльнулся и снова взялся за работу. Долго тужился великий Петр, пытаясь разогнуть новую подкову, но так и не смог, махнул рукой и дал кузнецу серебряный рубль. Кузнец зажал этот рубль в ладонь, а потом показал царю уж согнутым пополам. Похвалил Петр молодца, дал ему десять рублей золотом. Обзаводившись, кузнец предложил померяться с ним силами. Но грозный самодержец не принял предложения.

...Славка шел по деревенской улице, такой знакомой и в то же время незнакомой, и все, на что он раньше и внимания не обращал, сейчас бросалось в глаза, четко откладывалось в голове. Вот на крыше избы Макара Лямкина молотит вертушка-флюгер, молотит уже который год, и нет ему, видно, износу. Обегает избенку местной долгожительницы бабки Александры покосившийся дырявый и, пожалуй, единственный в деревне плетень; на торчащих вразнотык кольях висит то башмак, то консервная банка, то с переломанным надвое козырьком кепка, потерянная каким-нибудь подгулявшим мужичком. В огороде Ульяна Ручкина на морковной грядке торчит кол с мертвой, подвешенной за кончик крыла вороной, и, глядя на нее, Славка в первый раз подивился размерам этой зловредной птицы.

Проходя мимо школы, Славка замедлил шаг, с волнением окинул взглядом потемневшее от времени приземистое здание с железной крышей. В чуть слышном шуме берез, окружавших восьмилетку, чудилось приветствие и приглашение в школьную, такую далекую теперь жизнь.

Призадумавшись, Славка не сразу увидел, что за ним, поодаль, шагает мальчуган лет шести с круглыми глазенками, восторженно ждущими, когда его заметят.

— Тебя как звать, пупсик? — с улыбкой спросил Славка.

— Стасик.

— А чей ты, Стасик, будешь?

— Тимохин я, — Стасик доверчиво подбежал к Славке. — А мы вас по телевизору видели. Правдушки, правдушки.

Славка рассмеялся.

— По телевизору? Так, так... Ну пойдем, Стасик, давай руку.

Стасик с готовностью сунул ручонку в Славкину ладонь.

— А мы сегодня за морошкой ходили,— начал выкладывать он свои новости, не забывая при этом с гордостью посматривать на сбегающихся отовсюду ребят.— Я полбидончика насобирал, а Венька ничего не насобирал, все ел, ел, а потом и пошли домой, он и говорит: «Давай, Стаська, съедим твои ягоды». Я ему сначала не давал, хотел домой принести, а он говорит: «У-у, жадина». А я не жадина. Ешь, говорю, Венечка, раз ты такой, а мне не жалко. Я не жадина.

— Так, так,— сказал Славка, улыбаясь.— Значит, съели ягоды?

— Съели. Да если бы не Венька, дак мы бы и не съели, а все Венька, а мне ведь ягод не жалко. Я не жадина. Правда ведь, Петька?

С левой стороны, рядом со Славкой, шагал высокий худенький мальчишка лет десяти, к которому и обратился Стасик. Мальчишка не семенял и не подпрыгивал, как остальные, а старался идти в ногу и, надувая щеки, все время смотрел на Славку своими зеленоватыми глазами. На вопрос Стасика он не ответил, лишь мотнул головой в знак согласия.

— Ну как, Петька, вы тут живете?— спросил Славка.— Во что играете? В лапту играете?

— В лапту?... А мы и не знаем такой игры.

— Лапты не знаете?!— подивился Славка.— Вот те раз! И в «гончего попа» не играете?

— Не-а.

— Во дают! А во что же вы тут играете?

— Да так, во что вздумается, в то и играем.

— Бегаем просто,— добавил босой мальчуган в синей рубашке, забежав чуть вперед.

«Лапты не знают,— думал удивленный Славка.— Чудеса!»

3

Навстречу Славке и ребятам шла старуха в белом платке «шалашиком».

Это была бабка Александра. Увидев парня с чемоданом, она остановилась и, сильно щурясь, начала наглядывать приближающегося Славку.

— Здравствуй, бабушка Александра!— весело шумнул Славка.

— Здравствуй, здравствуй,— встрепелась старуха, польщенная тем, что с ней поздоровались.— Ой, да чей ты хоть есть-то, рожоненький? Гляжу, гляжу и никак не могу наглядеть, чей парень идет-пошагивает?

— Да Славка я, бабушка, Славка Чередин,— Славка, поравнявшись с бабкой Александрой, приостановился.

— О-ой, Славушка,— заойкала старуха.— Да какой ты стал-то, рожоненький! Ну, мужчина, совсем мужчина. А я-то, старая, никак тебя не признала. К мамушке в гости приехал аль насовсем?

— В отпуск, бабуся, в отпуск.

— Ну-ну. Вот мамушка-то обрадуется: сыночек приехал.

— Бабушка, а дядю Славу по телевизору показывали,— вмешался Стасик.

— Ой, да знаю, знаю, как же. Разговоров-то еще после сколько было. Ну Славушка, ну Славушка,— приговаривала бабка Александра, в знак одобрения покачивая головой.

— Как здоровье-то, бабушка? Ничего?— спросил несколько смущенный Славка.

Бабка Александра как будто ждала этого вопроса, шепотом ойкнула, махнула рукой.

— Не спрашивай, Славушка. Худенькое здоровье-то, худенькое стало. И дня-то не проходит, чтобы не поломало. И рученьки-то, любушка, ломает и за плечами-то дак, как будто медведь сидит. И ноженьки-то, Славушка, стынут. Стынут, батюшко. Вот по колен дак, как у волка в зубах, как у волка в зубах.

Видно, эта тема была любимой у бабки Александры, и она долго бы говорила, если бы не чувство природной деликатности, заставившее ее махнуть рукой и сказать:

— Да чего про нас говорить, Славушка? Нечего говорить. Вы-то живите, а нам, старым людям, немного теперь надо. Вы-то, рожоненький, живите, а нам-то дак...— повторила бабка Александра и долго потом стояла, глядя Славке вслед и поджигая задумчиво бесцветные губы.

Миновав поворот, Славка увидел свой дом. Он остановился, глянул на Стасика, на мальчишек, подумал немного, потом дернул молнию на чемодане и, порывшись в нем, вытащил три веселых краснобоких яблока.

— Вот, Стасик, это тебе и ребятам. А теперь бегите, гуляйте.

Заполучив яблоки, счастливая ребятня послушно брызнула от Славки.

Славкин дом — четвертый с краю. Не желая отстать от других, дед Пантелей покрыл его шифером, обшил вагонкой, покрасил светло-зеленой краской. С фасада дом кудрявился густой шапкой четырех березок, росших почти вплотную друг к другу.

Славка нетерпеливо толкнул калитку, западницу по-здешнему. Тотчас из-за поленницы мохнатым комком выкатилась маленькая белая собачонка с черной кляксой на хвосте. Слабо тявкнув, она доверительно обнюхала Славкины полуботинки и, повернувшись, затрясла хвостом к избе, как бы приглашая Славку следовать за ней.

Славка пересек двор и взбежал на крыльцо.

— Оська! — послышался из хлева женский голос. — Ты опять где-то бегаешь, а дрова да воду я буду за тебя таскать?

«Мама!» — улыбнулся Славка и остановился, прислушиваясь, как мать говорит что-то ласковое корове, звякает ведром. Но вот, наконец, скрипнула дверь, и из темного проема с подойником в руке вышагнула мать.

— Славущка!?

Славка засмеялся.

Мать поставила подойник на землю, подбежала к сыну.

— А я-то, шальная голова, думала, Оська шастает, ругаться начала. — Она припала к его груди, обдала запахом теплого молока. — Не зря утром птичка в окно постучала, — вот и приехал сынок. Ну, пойдем в избу, пойдем.

— Слава приехал! — вдруг раздался чей-то вопль. Во двор на полном ходу влетел на велосипеде Оська.

Резко затормозив, он соскочил с седла, метнулся к брату. Славка, смеясь, приобнял его одной рукой, потрепал вихры.

— Дылда вымахал, а? Скоро меня обрастет. Мама, а где дед?

— Да ушел травы коснуть на подстилку. Придет скоро, придет.

Все пошли в дом. Мать забежала по кухне, загремела посудой. Не снимая пыльника, Славка прошелся по горнице. Особых изменений заметно не было. Тот же мелкоклетчатый диван, над которым висит внаклонку простое прямоугольное зеркало, на стенах — многочисленная фотородня, гардероб и чайный шкаф работы деда Пантелея, цветы на окошках. Только в углу, на полированной тумбочке, стоял телевизор, накрытый простенькой вышивкой.

Славка снял пыльник, сел на стул и, наконец поняв, что далекая дорога позади, и что он у себя дома, замер на минуту.

Хороша она, эта минута, вобравшая в себя и радость приезда на родину, и волнение встречи с ней, и то душевное спокойствие, которое так редко и так желанно в наш карусельный век.

Хлопнула дверь.

— Дедушка пришел,— сообщил Оська.

Славка поднялся.

Дед Пантелей, все такой же сухонький, подвижный, медленно спеша, разделся, обстоятельно вымыл руки под гремучим умывальником и только после этого подошел к Славке.

— Ну что, Вячеслав, в отпуск прибыл?— заговорил он, окидывая живым, скрытно-радостным взглядом фигуру внука.

— Прибыл, дед.

— Так, так,— дед Пантелей одернул серую, обтягивающую грудь рубаху, крякнул и резко обнял Славку, хлопнув рукой по спине.

— Эх, Славка! Жалко, отцу не пришлось полюбоваться. Видели, едрена восемь, тебя по телевизору. Видели, как ты лыбнулся и пот трудовой смахнул. Что тут говорить: наша порода, черединская. Не зря нас, едрена восемь, на экранах показывают.

Незаметно в доме Черединых подсобрался народ. Все, отказываясь и махая руками, подсаживались к столу, щедро и просто накрытому матерью. Мужики не забывали обласкать взглядом две белогловки, что торчали среди тарелок, мисок и стаканов.

Одним из последних прибрел на нечаянное веселье дед Савкин, дружок деда Пантелея. Он сдернул с головы затерханную, «стогодную», шапку, которую не снимал ни зимой, ни летом, и перекрестился в пространство.

— Здравствуйте, все крещенные.

— А-а, Матвеич! — закричал дед Пантелей, уже успевший «начинить ноздрю». — Славку пришел посмотреть? Каков стал, а? Ты кинь глаз-то, кинь!

— Вижу, парень, вижу, — забормотал дед Савкин, вытаскивая из кармана своего пиджачка початый шкалик водки. — Что и говорить, катится времечко, колобком катится. Растут ребята, растут, понимаешь ли, а нам с тобой, парень, пора уж и копыта отбрасывать.

Заслышав последние слова, дед Пантелей поморщился и махнул рукой.

— Удивительно сказать, — громко заговорил он, обращаясь к сидевшей рядом Авдотье Селивановой, соседке Черединых. — Наш, едрена восемь, деревенский, и вдруг — посмотри, Россея, молодца. Было такое раньше? Не было. И думать не думали, и сном дела не знали, а тут — вот он, яблучек, сидит. Вячеслав, а Вячеслав! Ты чего помалкиваешь-то? Скажи-ко нам свое слово, про стройку-то свою нам скажи, как там у вас и что?

Гости, услышав призыв деда Пантелея, поддержали его.

— И правда, Слава, расскажи-ка нам.

— Чеши, Славка, не стесняйся.

— Внучек! На-ко глони стаканчик и давай это самое... распатронивай.

Славка, малость смущенный вниманием земляков, глянул на мать, выпил, крикнул по-мужицки и, кинув в рот полдесятка соленых рыжиков, обвел теплеющим взглядом застолье.

— Наша стройка — это... эпоха, — сказал он не-

сколько торжественным голосом. Сказал и испугался: уж не слишком ли загнул? Но, поняв, что слушают серьезно, Славка обрел уверенность.

— Ведь такой стройки, как наша, еще не бывало! Да, да! Я не знаю, как рассказать, но, знаете, смотришь на наш город и думаешь: черт возьми, неужели это мы отгрохали такую красотищу, неужели это наяву? А завод?! Это же громадина, целый комплекс! Будто армада кораблей плывет по степному морю, и ничто им не страшно: ни грозы, ни пыльные бури...

— Вячеслав, — прервал Славку Ульян Ручкин, бывший бухгалтер, недавно вышедший на пенсию. — Романтика — это хорошо ты излагаешь. А ты нам цифры, цифры выложи. Чтобы в романтическом тумане мы увидели зримый, так сказать, образ.

— Цифры? — Славка немного подумал. — Сколько гектаров наш колхоз занимает?

— Посевных площадей?

— Да, посевных площадей.

— Восемьсот шестьдесят два да плюс тридцать девять мелиораторы недавно сдали. Итого девятьсот один гектарчик.

— Девятьсот один гектарчик. А наш завод целую тысячу! Представляете?

Народ «представил» и зашевелился, зацокал языками.

Дед Пантелей, кинув на публику гордый взгляд, будто не Славка, а он был строителем такого завода, налил внуку водки. Но Славка решительно отодвинул стакан в сторону.

— Хватит, дедуля, больше не пью.

— А что так?

— Не привык. У нас на стройке сухой закон.

— Да ну?! Ты смотри! А с чего это у вас вдруг сухой закон?

— Завод надо строить на свежую голову.

— Ну-ну, вишь как. Это ты, брат Славка, правильно говоришь. На такой стройке пить, оно, конечно, грех. А ну как свалишься с крыши али с похмелья начальство обругаешь? Тут, брат, действительно, тонко придумано.

— Да неужели у вас мужики не пьют? — удивилась Авдотья Селиванова.

Славка пожал плечами:

— Есть вообще-то отдельные элементы.

— Вишь, как у вас хорошо-то. А мой-то вон элемент вчера на пожню пришел пьянехонькой. Видано ли дело: на сенокос пьяным придти? Страму сколько наделал. Я уж граблей-то дала ему, дала, чуть не сломила об спину-то, да что толку? Бей, хоть нет, все равно не понимают. Глаза бесстыжие нальют и выкомаривают, сами не знают что.

Авдотья махнула рукой и, помедлив немного, спросила:

— Дак что у вас, Славка, за завод-то? Чего вырабатывать-то будет?

Услышав такое, дед Пантелей дернулся и, опережая Славку, закричал:

— Антомобили-и! Темная ты головушка, Авдотья. Проснулась, что ли, девушка? Али с луны свалилась?

— Вячеслав, — снова подал голос Ульян Ручкин. — А тебе не доводилось видеть эти самые автомобили?

— Почему не доводилось? Доводилось. Видел вот как вас, обходил кругом. Испытатели их водят, испытывают.

— А конкретнее можно сказать об них?

— Ну что тут можно сказать конкретнее? С нашей машиной, во-первых, не может тягаться ни один другой автомобиль. И скорость, и управление, и плавность хода, — все у него на высоте. С грузом в семнадцать тонн он прет под девяносто и хоб что. В кабине тишина, мотора не слышно. Сиденье подрессоренное и регулируется, — в общем, комфорт полный. Шофер чувствует себя, как летчик в самолете. И главное, смену отпашет и — никакой усталости, будто и не работал. Да всего, пожалуй, не перескажешь. Ведь недаром в нашей машине заложено все, что известно вообще про автомобили.

— Все заложено, говоришь? — спросил Ручкин, и глаза его хитро блеснули.

— Все.

— Значит, все? — повторил хитрый Ульян. — Может быть, может быть, не спорю, но хочу тебя вот о чем спросить. Где-то я читал, в каком-то журнале, что за границей придумали умные головы прибор, который называется улавливателем спиртного духа — УСД. Этот вот УСД-то прикрепляется в кабине на пломбе.

Если, к примеру, шофер выпивши садится за руль и планирует куда-то ехать, тут прибор-то и срабатывает. Шофер включает зажигание, а прибор выключает. И никуда он с места не двинется, пока не протрезвеет. Вот какой ловкий прибор придумали. И правильный прибор. Ведь сколько этих аварий случается только из-за того, что какой-нибудь шоферюга натрескается винаща и шпарит на предельной скорости, пока с телеграфным не поздоровается. Я к чему это? Я к тому, что мне интересно узнать, а есть ли на вашем автомобиле этот улавливатель спиртного духа или нет? Ответь-ка, Вячеслав. Есть?

— Нет, — помолчав, ответил Славка.

— Вот видишь, — торжествующе сказал Ульян. — А ты говоришь: заложено все. А оказывается, не все. И зря. Будь хоть этого лучше автомобиль, а если он попадет в руки такого, например, забулдыги, как наш Пашка Кандыберов, так через месяц от него останутся рожки да ножки. Сколько техники уже наш Паша перекалечил по пьянке? И не сосчитать. А теперь вот ваши машины пойдут, так что будет Паше на чем разгуляться, — закончил Ульян под одобрительный смех.

— Пьяницам на наших машинах нечего делать, — выкрикнул Славка, но Ульян только улыбнулся:

— Это, видишь ли, Славка, бабка надвое сказала. Сегодня шофер трезвый, а завтра у него получка или именины. Выпил, кровь заиграла, скорей за руль. А там уже известное дело. Вот ведь как, Вячеслав.

Славка озадаченно молчал.

Между тем гости, разогретые вином, становились все веселее, то и дело вспыхивали споры, громкий смех.

Дед Пантелей, обнимая дружка своего, деда Савкина, кричал ему что-то о «голубом эране». Ульян Ручкин и еще один мужик, киномеханик Гриша, заспорили о том, будут колхозам давать Славкины автомобили или не будут. Мать, улыбаясь, показывала Авдотье шерстяной отрез, подаренный сыном. Никто не заметил, как отворилась на кухне дверь и вошел еще один гость, баянист Вася Крюк, невысокий лобастый мужичок.

— Васильюшко! — увидав его, закричал дед Пантелей и выскочил из-за стола. — Родимый! Да ты как

снег в Петров день! Давай-ко, давай-ко за стол, глони стаканчик, враз повеселеешь.

Баяниста усадили за стол.

— Васильюшко! — кричал дед Пантелей, бегая по комнате и раскидывая половики. — Васильюшко, едрена восемь! «Барыню» сыгрони, «Барыню». Эх, кровя заиграли, едрена восемь. Давай, Васильюшко: Пантелей Чередин на исходной позиции.

6

Славке захотелось побыть одному.

Незаметно он вышел во двор, сел на лежащее возле поленницы бревно. Солнце уже почти спряталось за лесом, на повороте полусонно поблескивала Мегрянка, в хлеву корова Марта, позванивая колокольцем, чесала о стену рог. В голове приятно шумело, и бестолково-радостные мысли лезли в нее, обрывались где-то на середине, уступая место легкой пустоте. Дышалось широко и свободно.

«Хорошо,— думал Славка.— Хорошо».

Так в одиночестве просидел он долго. На крыльце скрипнула дверь. Появился дед Пантелей. Поводив носом по сторонам, он громко позвал:

— Вячесла-ав! Ты куда это пропал, а, Вячеслав?

— Тут я, дедуля, тут, — отозвался Славка.

Дед Пантелей приблизился.

— Ты что это нас оставил, а? Али воздуха нашего решил хлебнуть?

Дед Пантелей присел рядом, обнял внука, хлопнул по плечу.

— Эх, Славка, едрена восемь. Извини ты своего деда! Дед выпил малость, дед сегодня гуляет. А знаешь что, Вячеслав, я хотел тебе еще в избе сказать? Я хотел тебе сказать, дорогой ты мой, вот чего: возьми-ка ты меня с собой на стройку, а? А что? Дед Пантелей работать умеет что хошь — плотничать, столярничать — на все огожусь, а нет, так сторожем куда-нибудь. А, Вячеслав? Дед Пантелей, брат, человек не промах, любая работа ему по плечу. К тому же уж больно антиресно посмотреть вблизи, что там у вас делается все-таки, больно антиресно. Да и вообще, хочется мне, брат Славка, поглядеть на людей, побродить по белу свету. Надоело горькой редькой в

деревне мурыжить, да еще, едрена восемь, во цвете лет.

— Возьму, дедуля, обязательно возьму, — пообещал Славка, думая при этом больше о своем.

— А что, едрена восемь?! Мать с Оськой проживут, им двоим немного надо. Получим мы с тобой, брат Славка, квартиру на пятнадцатом-шестнадцатом этаже, женим тебя и будем жить-поживать, добро наживать. А может, глядишь, и деда Пантелея, как тебя, по телевизору покажут, а то и интервью возьмут. А что?! Мы ведь, едрена восемь, не кто-нибудь, а Чередины, нам любая преграда, что забор доброму коню: перемахнем и не поморщимся...

— Послушай, дедуля, — осторожно спросил Славка. — А как тут Марина Круглова живет, не скажешь?

— Круглова? Манька-то? Дак она, братец ты мой, замуж вышла. Ратникова она теперь, а не Круглова. Веньку-то Ратникова знаешь с Верховья?

Будто тронул кто-то далекую и заветную струну, и чистая мелодия заполнила все вокруг. Не было раскаяния, не было сожаления, была только легкая, трогательная грусть и чувство благодарности. Спасибо, спасибо тебе, зареченская длинноногая девчонка, спасибо за то, что называется первой любовью, без которой Славка и сейчас был бы беднее и проще. Отзвене-ла она, словно апрельская капель, промелькнула, как тень прозрачного июльского облака. В то счастливое время, когда все и вся насквозь пронизано утренней свежестью восприятия, все и вся преисполнено смутных и радостных ожиданий, он долго не мог, не смел признаться ей в самом главном. Тоскливым взглядом следил он за ней повсюду, где она была, бродил вечерами возле ее дома, курил, вздыхал. И лишь перед армией, за месяц до призыва, наконец решился. Как-то после танцев он опередил ее и спрятался под старой раскидистой березой, своими ветвями задевающей окно, на которое он так любил смотреть из спасительной темноты. Было тихо, безветренно, отчетливо слышались голоса и смех парней и девчат. Оживленно переговариваясь, они прошли мимо, за деревню, к мосту. «Она» — Славка невольно прижал руку к груди. Марина шла босиком, держа туфельки в руке. Она свернула к дому, взялась за кольцо, но не открыла западницу, и Славка услышал длинный полу-

детский вздох. Бросив сигарету, он вышагнул из-за березы.

— Ой! — тихонько ойкнула Марина. — Кто это?

— Я, — прохрипел Славка.

— Славик! — Голос Марины брызнул неожиданной радостью. — Славик, — повторила она. — Что ты здесь делаешь?

Славка с натянутой шутливостью улыбнулся:

— Звездочки на небе считаю.

— Да? — Марина немного удивленно взглянула на Славку, но догадавшись о чем-то, с такой же шутливостью спросила: — И много же ты насчитал?

— Много, — выдохнул Славка. — Да вот только одной звездочки не хватает.

Отчаянно, как утопающий, Славка бросил глаза на девушку:

— Эта звездочка ты, Марина!

Он даже закрыл на мгновение глаза. От страха. И в это время теплая рука коснулась его щеки, и дрожащий, счастливый голосок вдруг перевернул мир:

— Славка! Славик! Ведь я же все время тебя... Все время, понимаешь... Я ведь знала... Я ждала тебя, а ты... Милый, милый мой медвежонок!

И сейчас еще в самой глубокой, самой потаенной частичке души, до которой и сам человек далеко не всегда добирается, живет нетленное и, быть может, самое дорогое на свете чувство, — ощущение сказки, у которой было когда-то начало, а конец превратился в невидимую заоблачную птицу. И летает эта птица где-то высоко и лишь изредка присаживается туда, где застали человека воспоминания.

Славка не слышал, как ушел дед Пантелей, как окликала его мать, как прошел мимо кто-то печальный и темный. И потом, спустя время, не сразу понял он, что идет вдоль реки, по тропинке, выбитой до железной твердости бесчисленными пятками босого ребячьего племени.

Пронзенная острыми верхушками елей угасала за рекой. За рекой, в темном ивняке, коростель все открывал и закрывал скрипучую дверь своей невидимой избушки, впискивала над берегом отчего-то проснувшаяся ласточка, темные избы дышали первым глубоким сном, и редкие огоньки в окнах светились ровно и приглашающе. На родном небе ласково, по-домаш-

нему, мигали звезды, время от времени вздыхали во сне деревья, впереди из-за покосившегося сарая слышались два приглушенных голоса, мужской и женский. В этом сарае еще не так давно гнул сани дедко Игнат, но дедко уже приубрался, и сарай стал ничейным — днем здесь гоножились воробы и ребятишки, а по вечерам заглядывали парочки. Тропинка пробегала рядом, почти вплотную к сараю, голоса не смолкали, и Славка невольно приостановился.

— Ну, Нью-юта, — с грубоватой лаской уговаривал мужской голос.

— Не лезь! — обрывал женский.

— Ну, Нью-юта, — настойчиво тянул парень.

— Сказано: не лезь. Женишься, дак хоть залейся, а щас не лезь.

— Ну, Нью-юта...

Голос парня был незнаком Славке, женский же он узнал сразу: Нютка Ручкина, дочь Ульяна-бухгалтера, перезрелая, старше Славки года на четыре девка. Нютка ничего больше не желала, как выйти замуж, но местные парни, как видно, только смеялись над ней, не понимая, что из таких вот девок, как Нютка, и получаются настоящие жены. Чувствуя некоторую неловкость от подслушанного разговора, Славка поспешил отойти от сарая.

Тропинка угадывалась то почти у самой воды, то вдруг взбегала на кручу, прижимаясь к огородам и баням. Было росно, от воды опахивало холодком, из-под деревянного моста доносилось журчание. И как-то не верилось, что все это наяву: и крик коростеля, и редкие огоньки изб, и неудачливая Нютка, и росный холодок земли. И казалось, что вот-вот — и все это исчезнет, и понесутся мимо него груженные КРАЗы и МАЗы, башенные краны, словно гигантские циркули, начнут расчерчивать огромный лист неба, заревут мощные, способные свергнуть ядреный дом, бульдозеры, запрыгают, замахают руками ловкие маленькие фигурки монтажников, колдующих вверху, в бесчисленных переплетениях металлоконструкций, — кажется: вот-вот, но нет — все так же по-домашнему мигают звезды на ночном небе, все так же журчит на камнях речушка и все так же протяжно вздыхают сонные деревья.

Тропинка затерялась куда-то, избы кончились, и

сразу за ними началось ржаное поле. Оно было неподвижно и больше угадывалось, чем виделось. Мощный хлебный дух с росной свежестью пополам плыл из глубины, сладко опахивал лицо, набивался в легкие, и казалось, что нет ничего сейчас в мире, кроме этого, шедшего откуда-то изнутри, непобедимого духа. Что это? Не сама ли земля, не сама ли Русь дышит так глубоко и спокойно? И не это ли и есть то вечное и изначальное, к чему шли, из-за чего страдали и бились русские люди и во времена Батые, и во времена Наполеона, и совсем недавно, когда черная свастика закрыла часть светлого российского неба? Много всяких див было и ушло, много их будет, но уйдет ли, угаснет ли это диво, или не стареть ему и вечно обновляться, жить, покуда жив русский народ?

Один во всем этом звездном мире, растерянный от неожиданной встречи с ним, Славка стоял по колено в росе и с восторженным страхом прислушивался к чувству, которое набухало, росло в нем помимо его воли, готовилось вырваться наружу, чтобы заполнить до отказа всю эту безбрежную окрестность и потом возвратиться назад напоенным живой водой всеобъемлющей любви. Но погоди, Славка! Погоди, не ты ли в степи, на далекой стройке, превратил хлебное поле в котлован, не ты ли изрезал его глубокими, незаживающими ранами? Не твой ли экскаваторный конь и сейчас вгрызается во вздыбленную гудящую землю? И что ты думал, когда разрезал на части поле, на котором еще в прошлом году колосилась тугая пшеница? Что ты чувствовал тогда, что видел? Ты видел лишь колышки, понатыканные старательными геодезистами, видел грунт определенной категории, а не землю, еще недавно рожавшую хлеб. И радовался, если грунт был сухой и мягкий, злился, если он был сырой и обваливался с откосов на дно траншеи. Ты ругался с прорабами, если не было фронта работ, нетерпеливо сигналил шоферам, которые, как тебе казалось, слишком медленно ставили машины под погрузку; ты гнал «кубики», а до остального тебе дела не было. Тогда чего же ты стоишь в темноте на краю хлебного поля и хлопаешь глазами? Иди отсыпайся, отдыхай, бездельничай. Ведь ты же в отпуске, ты заслужил его, ты должен отдохнуть, набраться сил, потому что тебе предстоит еще много дел, много земли

тебе еще предстоит перевернуть, перелопатить, взбудоражить... Но глазами насмешливых мудрецов смотрят сверху звезды, спокойно дышит беременное хлебом поле, и далекий хуторской огонек мерцает в ночи, как мерцал он и вчера, и десять, и сто лет назад.

И что-то неясное, непонятное, но очень близкое вдруг коснулось, точно птица крылом, Славкиного сознания, мягкой дрожью пробежало по сердцу и исчезло, растворилось во тьме; но, странное дело, Славка почему-то был уверен, что оно не исчезло совсем, а где-то здесь, что еще немного, и он поймет, что это было. А было что-то удивительное, в первый раз испытанное, и Славке было жаль, что оно так быстро исчезло, и в то же время он был рад отодвинуть новую встречу, потому что он чувствовал, что новая встреча заставит его понять что-то важное, необходимое для него, а когда поймешь, жить по-старому уже вряд ли сможешь. А жить по-старому Славке нравилось, да и жил он, как он считал, в общем-то правильно.

Славка напряженно ждал, прислушивался к себе, к полю, к тишине... Слева, там, где лежал в прибитой росой пыли безмолвный проселок, начало светлеть большими бесформенными пятнами, а правее, вдали, зародился монотонный, едва слышимый звук. Звук становился сильнее, пятна — светлее, и Славка, наконец, понял, что по дороге идет машина, а светящиеся пятна — это придорожные деревья. Так и есть. Мелькнули огоньки фар, пропали, снова появились и стали с каждой секундой увеличиваться. Машина приближалась, шум нарастал, свет фар прыгал по деревьям, и они казались живыми, пляшущими. А шум уже превратился в грохот. Пользуясь ночной пустынностью, шофер гнал грузовик на всю катушку, и даже близость спящей деревни не заставила его сбавить скорость. На ямах машину мощно подбрасывало, уробно падал на дно кузова вскинутый вверх груз, и казалось, что это мчится не ночной грузовик, а какой-то зверь, пойманный людьми и вырвавшийся на свободу, почуявший ее головокружительный, пьянящий вкус. Светящимся метеором пронесся он мимо, всполошил своим ревом тишину, разорвал фарами ночь, но вскоре без труда был проглочен ненасытной тьмой, исчез без всякого следа в пасти зверя, каким он сам еще недавно казался.

Но что же все-таки это за прикосновение? Где оно? Уж не увез ли его шальной грузовик? И зачем он появился на проселке? Что его так гнало? Куда?

А может, так нужно, и все прояснится потом?

Славка стронулся с места и, мокрой, некошеной межой зашагал в сторону проселка. Ботинки и брюки, казалось, несли в себе пуд влаги, идти было тяжело, но Славка не замечал этого и шагал быстро, напористо, словно подчиняясь чьему-то зовущему голосу. Наткнувшись на изгородь, Славка ощупал жерди, поставил ногу между двумя из них и рывком перемахнул на другую сторону. И не удержался, упал, успев все же вытянуть руки. Странно, но падение не показалось неожиданным, и Славка поднялся не сразу, полежал на холодной, коротко выщипанной траве. Поднимаясь, он почувствовал, что в локоть правой руки упирается что-то металлическое, и провел рукой по траве. Он не сразу понял — это была подкова. Обыкновенная, шероховатая от ржавчины, никому, собственно, не нужная, но Славка внезапно ощутил прилив радости, дрожью пробежавшей по его озябшему телу. Упружисто вскочив, он выбежал на проселок и, подгоняемый этой беспричинной радостью, споро зашагал в деревню.

7

На следующий день Славка проснулся поздно. Деда и матери не было, Оська собирался на рыбалку.

В горнице — светло, празднично. Белые занавески, по-утреннему свежие цветы на окошках, самовар на столе, светло-зеленые обои — все создавало немного лучочный, полузабытый уют, и хотелось просто, ни о чем не думая, предаваться лени.

— Проснулся? — сказал Оська. — Ну, вставай, а я на озеро с ребятами махну. Есть будешь? В печке жареная картошка, а молоко в сенах. Чай пей, если хочешь, самовар я подогрел.

— А где предки?

— Дедушка, наверно, на конюшне, а мама на дойке. — Оська посмотрел на часы и, выглянув в окно, закричал: — Степка, подожди меня-то! Я пошел, Слава. Командуй тут сам.

Оська убежал.

Славка прикрыл ненадолго глаза, улыбнулся, вспомнив вчерашнее, и, напрягшись, резко поднялся. Короткая физзарядка и умывание из веселого громыхающего рукомойника приподняли и без того приподнятое настроение. Есть не хотелось. Славка выпил кружку молока, подмигнул обиженно затихающему самовару и, побродив по избе, вышел на улицу.

Солнце уже взобралось на порядочную высоту, но воздух еще не просох от ночной свежести, пьянил слегка голову, вытягивал избытое тепло.

Славка сел возле западницы на лавочку, кинул правую ногу на левую и закурил. Улица была пуста, разве что пробежит собачонка-другая да перейдет дорогу баба с ведрами и коромыслом, направляясь к реке. Каждое движение — вспорхнет ли воробей, промелькнет ли кошка, выбредет ли на улицу вяло кокачущий петух — все привлекало Славкино внимание, вызывало благодушную полуулыбку.

Напротив, по левую руку, стоял дом Анны Сажинной. Окно на кухню было открыто, и в глубине избы изредка мелькало мужское лицо. Славка пригляделся и узнал Макара Лямкина, печника.

«Зайти, что ли, к дяде Макару?» — подумал Славка и, спустя время, нашаривал в полутемных сенях дверную ручку.

— Эге, да к нам гости заявились, — заулыбался Макар, увидев Славку, и отложил мастерок, полез в карман за куревом.

— Здравствуй, дядя Макар, — поздоровался Славка. — Печь перекладываешь?

— Да вот уже переклал. Подчищаю тут кое-что, подмазываю. Скоро государственная комиссия должна принять.

— Хозяйка, что ли?

— Ну да, тетка Анна. Вздумала, вишь, печь перекладывать, а мне что? Мне только давай, я сделаю. Ну, а ты что? В отпуск, сказывают, приехал?

— Ага, в отпуск.

— Так, — Макар внимательно поглядел на Славку. — А ты похудел, парень, на своей стройке, похудел. Здесь-то жил, дак щеки как пузыри были. Ну дак чужая сторона без ветру сушит. Известное дело. Ты садись, садись, чего стоишь-то?

Славка присел к столу.

— Ну дак как у вас там на стройке-то? Идут дела? Ты там кем работаешь-то?

— Экскаваторщиком.

— Экскаваторщиком? Нелегкая работенка, нечего сказать. Ну да ведь у каждого Гришки свои делишки. Ты вот — экскаваторщик, я — печник, кум — закройщик, сват — мясник, — приговаривая, Макар пригнулся, подмигнул Славке; шаря рукой под столом, закрихтел.

— Ага, вот ты где, родная. Ишь, спряталась! От нас, брат, не спрячешьсяя.

С этими словами Макар вытащил одонек с бумажной затычкой. Славка, увидев водку, запротестовал, но Макар успокаивающе поднял руку:

— Слава, все в порядке. Не волнуйся. Ты мой гость. Хотя я и в чужом доме, но должен тебя угостить. Анна на работе, ребятишки на рыбалке, так что не трусь.

Макар, не поднимаясь, открыл дверцу белого шкафчика, висящего на стене, и достал две стопки, краюшку хлеба, солонку.

— Так. А где у нее лучок?

Макар поднялся, заглянул за перегородку.

— Ага, вот он, на грядочке висит.

Он разрезал на крупные дольки две луковицы, разлил водку.

— Ну давай, Славик, за встречу. Я ведь, брат, тебя во-от каким помню, ты еще без штанов бегал. Ну а теперь ты самостоятельный человек, и грех с тобой не выпить.

Макар поднес стопку ко рту, но пить не стал, снова заговорил:

— У меня, Славик, легулярно под столом пузырек стоит. Люблю, грешник, эдак в процессе работы чирикнуть грамм по пятьдесят. Глядишь, и работа веселее пошла, да и хвори разные отлипают. Ну, да не в этом дело. Давай-ко глонём.

Выпили.

— Вот я, Славик, печник, — заговорил Макар, тыча луковицей в соль. — И заметь: единственный печник в деревне. Да, деревня — маленькой не назовешь, а печи класть, кроме меня, некому. Но не это меня пригнетает. Пока могу, я работаю. Меня пригнетает такой вопрос: некому передать, Славик, свое ремесло.

Никто не хочет учиться печницкому ремеслу, вот что мне грустно. А как без печей-то жить? Печь-то, она тебя и щами накормит, и кости согреет. Без печи, брат, как без бабы, а вот класть — один Макарушка. Все, видно, думают, что Лямкин сто лет проживет. А мне ведь уже под шестьдесят. Возьми на заводе али на фабрике: всяк мастер себе смену готовит, учит-приучает, а у меня — шиш. Хотел своего Кольку научить, да где там. Я, говорит, тракторист, я в гробу, говорит, твои печи видел. Вот. А сам, небось, любит на лежаночке зимой поваляться.

Макар немного взгрустнул, подчиняясь такому ходу своих рассуждений.

— Вот так, Славик, и живем. Народ к культуре стремится, ему приятные профессии подавай, а печники, видишь ли, не в моде. Ну и бог с ними. Умру, дак не раз вспомнят, не раз спожалеют.

Макар наклонил бутылку над Славкиной стопкой, но Славка проворно закрыл ее ладонью.

— Мне не надо, дядя Макар.

— А что же так?

— Не привык я, дядя Макар, не обижайся.

— А чего обижаться? Очень хорошо, что не привык. Даже замечательно. Вон у меня средний есть — Мишка, в Петрозаводске живет. Пьет, собака, до последнего. Приезжал этта в июне. Где баба, спрашиваю? «Нету бабы». — «Ушла?» — «Ушла». «Так тебе и надо, забуддыжнику». Уезжал, выпросил сорок рублей. «Уймись, уймись, говорю, шаталова ты деревня, не страми родителей-то». А-а, да что говорить? Нечего тут говорить...

Макар вновь опрокинул стопку.

— Вот такая, Славик, наша жизнь, — повторил он, хрупая луковицей. — Как говорят, отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая. Но ты, Славик, если что, не обижайся на нее, всякая она бывает: сегодня передом, а завтра, глядишь, и задом приворотит. И гляди веселей. Жизнь любит веселых людей да прямых, а кто вот хитрозадый, да кто все в копейку бьет, тех она не любит, да и не за что их любить-то.

Макар пожевал хлеба, закурил и, казалось, без всякого перехода стал рассказывать:

— Жил-был по суседству с богатым мужиком сапожник. И любил этот сапожник песни петь. Работа-

ет и поет, работает и поет. Богатый мужик слушал-слушал, да и надоело ему. Пришел он к сапожнику и говорит: «Я дам тебе мешок денег, а ты перестань песни петь». Сапожник подумал немного и согласился. Получил мешок денег, перестал петь. А по ночам все никак не мог заснуть, мешок стерег. Все ему казалось, что воры лезут. Три дня прошло — не спит сапожник, еще три дня прошло — не может заснуть. Стерег, стерег он деньги, да и плюнул. Пришел к богачу, кинул мешок на пол и говорит: «Не надо мне твоих денег. Не ешь, не спишь из-за них, все стережешь. А лучше я буду песни петь». И стал он снова песни петь. Вот, Слава. Возьми хоть меня. Семейка у меня была — горох не киснет, семеро короедов, большой копейки век не было, а вырастил всех, все теперь разъехались, кто куда, один Колька младший остался. А сейчас возьми? И деньги большие получают, а фулькнут одного-двух голозадиков и все плачутся, не знают, как вырастить. А я не плакал, печи клал да песни пел, а сейчас и тем более пою.

Макар неожиданно вскочил и, невысокий, жилистый, сыпанул драными ботинками по полу:

Прибегу домой под утро,
Похлебаю кислых щей.
Не ругайся, мама, сильно,
Все равно любовь сильнее.

Выдав частушку, Макар шлепнулся на табуретку, откинул на удивление густые темные волосы.

— Я, Славик, не Степка Кушаков. У того и дома, что терем заворочен, и в хлеву, как в горнице: овцы и заходить по вечерам бояться, каждый раз палкой загоняют. У меня хлев хоть и худенький, да овцы сами бежат, палки не надо. А ты погляди на Степу — весь засох: две доски да год тоски. Это его деньги высушили, жадность высосала. Хочу я, Славик, чтоб ты не заболел этим. Не надо. Живи, как сердце велит, а не как баба говорит.

Макар потряс рукой бутылку, поглядел на Славку.

— Дак ты не глонешь?

— Нет, нет, дядя Макар.

— Ну, твое дело. А я уж допью, не обижайся.

Макар вылил остатки в стопку, сунул бутылку под стол.

— Видел я, Славик, по телевизору твой город. Баской город, грех ругать. Но, Славик, в городе живи, а свою деревню не забывай. Не забывай родимщину. Родимщина-то, она ведь, как печь: и накормит тебя, и обогреет. Да... После войны я тоже немало поколеси́л. На Урале был, в Сибирь леший унес, ан нет: пожил-пожил, да и говорю бабе: «Поедем-ко, Марья домоюшкать». Везде, говорю, хорошо, где нас нет, а где мы есть, там уж был тесть. Вот и приехал домой, и живу почти тридцать лет на одном месте. И не жалею. А чего жалеть? Жалеть нечего, Слава. Макар Лямкин правильно живет, жалеть ему непошто.

«Какое хорошее слово — «родимщина», — подумалось Славке. — Толкуют о какой-то «малой родине», а того не ведают, что есть у нас такое вот чудесное слово «родимщина». «Куда сподобился-то, Иванушко?» — «Да вот, решил на родимщину съездить. Давненько не бывал уж на родимщине-то, стосковался».

— ...А сколько печей я склал, Славик... И не считать. — Макар осушил стопку, подпер голову руками. — Пол-России можно обогреть. Да... А передать некому. Ох, некому!

Печник протяжно вздохнул, голова его начала клониться все ниже и ниже.

— Ты, Славка, молодой, — бормотал он. — Годов у тебя еще — куры не клюют. Только тепла чтоб побольше было. Да... А передать некому... Эх...

Макар еще раз протяжно, с хрипом, вздохнул и затих, уронив голову на обмякшие руки.

Славка посидел немного, покурил и тихонько вышел из дому.

8

«Хороший мужик дядя Макар», — думал Славка, сидя на лавочке.

Улица по-прежнему была пуста. Но вот из-за поворота с треском и воем вынырнул мотоцикл и стал быстро приближаться. Мотоциклист был в кожаной куртке и синей каске. Присмотревшись, Славка узнал Костю Семенкова, Костя был старше года на три, но раньше они были хорошими товарищами. Признав Славку, Костя лихо газанул и, выключив скорость, бесшумно подкатил к обочине.

— Привет строитель!

— Здорово, старина!

Обменявшись рукопожатиями, они с полминуты разглядывали друг друга, потом Славка спросил:

— Ну, как жизнь?

— Нормально жизнь. Бригадирствую вот.

— Ого! Давно?

— Первый год.

— А сейчас куда?

— В поле. К комбайнерам. Поехали, если хочешь.

— А что, поехали.

Костя ударил ногой по мотоциклу, и через минуту его старенький «конь» мчал хозяина и пассажира по широкой накатанной дороге.

— Обрати внимание на наш микрорайон, — кричал Костя, бросая свой крепкий подбородок влево.

Сразу за избами стояло пять-шесть типовых двухквартирных домов. Все они были обшиты и покрашены синей краской.

«Микрорайон», — Славка невольно скривил снисходительную улыбочку, но тотчас убрал ее, поймав на себе короткий, из-за плеча, взгляд Кости. Ему не хотелось обижать бригадира. Да и зачем это делать?

— Ребята ячмень начали убирать, — выкрикивал Костя. — По тридцать центнеров отхватывают...

Мотоцикл проскочил мост. Оставив позади березовый колок, свернули с большой дороги.

— А овес нынче хуже, — продолжал докладывать во все горло Костя. — Легло много... И рожь кое-где подвела... Но, в общем нормально... Живем...

Костя выглядел так жизнерадостно, что Славка не выдержал и крикнул ему в ухо:

— Живем, Костя, живем!

Костя подтверждающе мотнул головой и — мотоцикл подбросило так, что Славка хрястнулся лбом о плотный затылок бригадира. Костя выравнивал след, и оба расхохотались.

— Смотри, вон молотят.

Ивовые кусты, охранявшие дорогу, кончились, и перед ними по обе руки открылось широкое поле, в конце которого виднелись комбайны.

— Кончают уже... Гектаров двадцать осталось, а потом на другое место переедем.

Костя свернул с дороги.

— Хорошо идут, ч-чертяки! — крикнул он, не обращившись.

По краю неубранного ячменя мощно и слаженно шли две «Нивы». Согласно, быстро вращались мотвила, гнули усталые колосья под ножи, и спиральи шнеков кидали их, уже срезанные, в ненасытные глотки приемных камер. Время от времени клапаны копнителers открывались, и на чистой низкой стерне оставались аккуратные высокие копны соломы.

Костя остановил мотоцикл. Они слезли и закурили. Поравнявшись с ними, комбайны одновременно, как по команде, остановились. Экипажи спустились на землю и подались к «гостям». Все четверо были молоды, и троих Славка узнал сразу. Рома Звездочкин и Серега Лисицин — комбайнеры, оба рослые, добродушно-мордастые, как два братана, оба на год старше Славки. Третий, Игорь Трошин, помощник, ростом помельче, с вызывающе-рыжим коком. Четвертый — совсем салага, видно, только еще школу кончил.

Рома и Серега подходили первыми, и чем ближе они подходили, тем шире улыбались. Тиская их, Славка ощущал чуть ли не медвежью силу, и в этой силе было что-то уверенное, спокойное.

— Здорово, мужики, здорово! — Славке было радостно здороваться с хлеборобами, смотреть в их открытые лица, отвечать на нехитрые вопросы вроде: «Приехал?» — «Приехал». — «В отпуск?» — «Ага, в отпуск». За этими вопросами они скрывали некоторое смущение, свойственное деревенским жителям при встречах с «городскими» земляками.

— Ну как, ребята, сегодня уберете это? — заговорил Костя, перездоровавшись со всеми и кивая на неубранный клин.

— Должны убрать, — сказал Рома.

— Тогда я так и позвоню в правление. А как кончите, переезжайте на Чарегу.

— А Церковное что?

— Церковное пока не трогайте, рановато еще.

— Понятно.

— Да, я тут вам сегментов привез. Десятка три, больше пока не дают.

— А глазков не прихватил?

— Взял, взял,— Костя вытащил из кармана куртки горсть «глазков», пластмассовых цилиндриков величиной с катушку, с отверстиями посередине, и высыпал их на Серегины ладони.

Славка молча, с улыбкой, слушал их. Потом слегка толкнул в плечо Рому, стоявшего рядом, спросил: — Ну как, Рома? Не женился еще?

Рома коротко взглянул на Славку и, чуть покраснев, потупился.

— Не-е еще.

— Девоч, что ли, нет?

— Да есть так-то немного,— Рома полез в карман за портсигаром, хотя только что бросил выкуренную папиросу.

— Женится еще,— убежденно сказал Костя и, засмеявшись, добавил: — Ты бы со стройки-то привез пяток штук. Смотри, какие у нас женихи. Орлы!

— Да вот, черт возьми, не догадался,— в тон ему ответил Славка.

— Чего-то Сашки не видать,— заговорил Серега, которого немного смущал этот разговор.— Уехал с зерном и — краем. Мы тележки уже загрузили, и бункера почти целые.

— Приедет, приедет,— заверил Костя.— Я сейчас с тока — при мне выгружался. С минуты на минуту ждите, подскочит.

Он озабоченно посмотрел на часы, потом на небо.

— Ну, ребята, я поехал. Надо еще в одно место смотаться. Ты, Славка, как? Обожди немного, с зерном уедешь. Прокатись с ребятами, посмотри.

Славка кивнул головой. Костя завел мотоцикл.

— Так, значит, будем знать: сегодня здесь кончите,— прокричал он, разворачиваясь, и через пару минут его синяя каска мелькала и подпрыгивала на другом конце поля.

Некоторое время все молча смотрели ему вслед, потом Серега спросил:

— С кем, Слава, поедешь-то? Со мной?

— Поехали с тобой.

Ребята направились к «Нивам». Серега управлял первым комбайном. Он сел за руль, плавно включил молотилку. Ремни, шкивы, шестерни,— все пришло в движение. Где-то внутри комбайна глухо застучало, заухало, заработало. Серега положил на рычаг ско-

ростей руку, включил передачу, и агрегат тронулся.

Славка стоял рядом, внимательно смотрел через стекло на жатку, на Серегины руки и ноги, пытался сам смекнуть что к чему. Вот Серега нажал на один из многочисленных рычажков, торчавших справа на стекле кабины, и комбайн пошел быстрее. Потом надавил другой рычажок — жатка чуть опустилась. Было видно, что Серега хорошо обжил современную машину, спокоен и за нее, и за себя, и Славке вдруг страстно захотелось очутиться в кабине своего экскаватора и наблюдать, как за стеклом летает послушный ковш, слушать за спиной работу трудяги-двигателя, краем глаза посматривая на работающих где-нибудь поодаль девчат.

Серега повернул голову и посмотрел на Славку. И оба одновременно, будто сговорившись, подмигнули друг другу. И расхохотались. Славка хлопнул рукой по Серегиной спиннице, выбрался из кабины и заглянул в бункер.

— Ну, как? — прокричал он в ухо Игорю, который стоял у двигателя и, навалившись на бункер, рукой разгребал растущее, как на дрожжах, зерно.

— Выгружаться пора, а Сашки не видать, — крикнул в ответ Игорь.

Славка посмотрел в сторону дороги, туда, где темнели ивовые кусты. В это время и вынырнула из них желтая семидесятипятка с двумя тележками позади.

— Едет, едет Сашка!

Сашка Чернов, Славкин однокашник, подлетел к комбайнам на всех парах, выскочил из кабины, бросился отцеплять тележки.

Серега остановился, сдал немного назад и, выключив жатку, подрулил к тележке. Рома начал заходить с другой стороны.

Серега врубил выгрузной шнек. Глухо стукнуло, шнек задрожал, и в тележку жгутом толщиной в руку, а потом все толще и толще запульсировало зерно. Серега откинулся на спинку сиденья и, отдыхая, курил, смотрел на живую, все увеличивающуюся горку ячменя. Игорь метался по углам тележки, заделывавая соломой щели. Славка стоял на площадке, облокотившись на поручни, и тоже, как Серега, смотрел.

Раздался свист. Это Сашка, уже отъехавший к груженым тележкам, только что заметил Славку и махал

рукой. Славка поднял приветственно руку и, сбегав по лесенке вниз, зашагал к нему.

— Ты откуда свалился?!— изумленно прокричал Сашка, ударяя Славку в плечо.

— С неба,— засмеялся Славка.

Сашка покрутил головой, но чесать языком ему, как видно, было некогда, и он впрыгнул в трактор.

— Подержи прицеп, я подпачусь,— крикнул он из кабины.

Славка приподнял прицеп тележки. Сашка осторожно и точно подпятился, кинул из кабины истертый наполовину палец. Славка сунул его в серьгу.

— Ну как, построил завод-то?— вкрик спросил Сашка, шплинтуя палец с электродом.

— Не совсем еще.

— Не женился там?

— Нет. А ты?

— Ой, не спрашивай: жена — пила да теща впридачу,— Сашка весело махнул рукой.— Поедешь со мной в деревню или как?

— Да, пожалуй, можно.

— Ну тогда запрыгивай.

Славка вложил два пальца в рот и, свистнув, помахал комбайнерам, давая понять, что уезжает. Рома и Серега коротко просигналили в ответ.

— Надо, Слава, гнать,— кричал Сашка, лавируя между копнами соломы.— А то эти охломоны мигом тележки нароют... Один сегодня вожу. Запарили, черти, пожрать — и то на ходу.

Поле кончилось, и трактор пошел быстрее, шумно разматывая полотно дороги.

Славка сидел, улыбаясь, ощущая знакомое чувство рабочего азарта.

И снова, как в кабине у Сереги, ему неудержимо захотелось очутиться за рычагами своего экскаватора.

9

Медленно, торжественно поворачиваются башенные краны, сыплется сверху искряной дождь электро-сварки; внизу, в корпусах и вокруг них, терзают многострадальный грунт могучие, напористые бульдозеры; в свежевырытом котловане, запутавшись в лесу железобетонных свай, монотонно щелкает дизель-мо-

лот, — через месяц-два здесь появятся контуры нового корпуса; по лабиринту дорог, большинство из которых временные — на день, на неделю, на месяц, ползут машины с щебнем, песком, бетонными кольцами, оконными рамами, плитами, фермами; тут и там, где только можно, приткнулись, рассыпались разнокалиберные и разноцветные вагончики, бытовки, будки и будочки; черно дымят битумоварки.

В Славкиной траншее, в ее начале, копошится бригада слесарей-трубоукладчиков, укладывают канализационные трубы. Над ними жирафом высятся кран ДЭК-250, в кабине которого сидит крановщик Вася Топорков. Вася тянет шею, закусывает верхнюю губу, а брови у него ползут и ползут вверх, уж и ползти, кажется, некуда, а они все ползут. На кране Вася первый месяц и никак не может опустить трубу на подготовленное место. Вокруг крана бегают прорабы, дает Васе указания, ругается, плюется. Бригадир, стоя внизу и задрав голову, машет руками и тоже ругается.

Время от времени к концу траншеи подбегает с деревянным перпендикуляром Сеня Шишкарёв — проверять Славкину работу. Повернувшись к Славке спиной, Сеня пригибается, смотрит. Если нет перекопа или, что еще хуже, недокопа, Сеня делает знак, — мол, все нормально, — и убегает.

Славка, проводив Сеню кривоватой улыбкой опытного экскаваторного волка, продолжает наблюдение за ковшом. Сейчас, когда все движения отработаны почти до автоматизма, к Славке частенько приходит ощущение, что ковш существует как бы отдельно от него. а он, Славка, просто сидит в кабине за стеклом и наблюдает. Вот ковш, описав дугу, упал в траншею, пополз по дну, постепенно наполняясь рассыпчатой, податливой землей. Вот он подобрался к самой кромке, дернулся и стал подниматься вверх, одновременно отдаляясь от кабины экскаватора и подаваясь в сторону КраЗа, стоящего поодаль. Зависнув на мгновение над машиной, ковш бесшумно опрокинулся, вывалил очередной куб грунта в кузов. И снова метнулся к траншее, упал на ее дно. Из кабины КраЗа вышел шофер, посмотрел, много ли загружено, спокойным взглядом проследил за четким росчерком ковша, который, снова забрав грунт, уже опрокинулся над самосвалом. Да, прошли те времена, когда Славка, пы-

таясь успокоить ковш, затрачивал пять, а то и десять минут, чтобы наполнить кузов машины землей, а шоферы выскакивали из кабины и сломя голову бежали куда-нибудь подальше от шального экскаватора. Спасибо Ивану, бывшему Славкиному «шефу», научил управлять экскаватором. Два месяца назад, когда Славка получил корочки машиниста, Ивану дали новый экскаватор, поручили сколотить один молодежный экипаж. Иван любил говорить: «Недоверие — хорошо, а доверие — лучше» и безбоязненно доверял Славке работать и на трудных грунтах, и на ответственных участках. Сам же в это время старался испариться, исчезнуть, но как только у Славки что-то не получалось, Иван уже был тут как тут.

Теперь у Славки у самого есть помощник, кудрявый девятнадцатилетний парнишка. Вон он сидит на трубе, с веселым бешенством рубит проволоку на шпильки и орет в такт каждому удару кувалдочки:

Нахожу на дорогах подковы,
Заполняю собой города,
Человек из меня толковый
Не получится никогда.

Парень он понятливый, не ленивый, только ветру в голове многовато. Но зря он поет эту песенку. Получится из него толковый человек. Об этом позаботится Славка, позаботится весь экипаж.

И снова стремительный ковш летит на дно траншеи, набирает грунт, опрокидывается над кузовом самосвала...

10

Сашкин трактор бежит уже по деревне.

— Смотри, вон еще один отпускник ходит.

— Где?

— Да вон, у своего дома. В майке-то. Не узнал?

— Лешка Репников, что ли? — удивился Славка.

— Он самый. Рукой машет, увидел.

Трактор остановился. Лешка распахнул дверцу.

— Старик! Корешуля! Ничего не понимаю. Откуда?!

— Оттуда, — улыбнулся Славка.

— А ну вылезай. Вылезай, вылезай! Нет, старик, я ошеломлен, я в экстазе, черт побери! Какая наход-

ка! И где? В деревне! Нет, старик, я решительно в экстазе.

Лешка и Славка вместе учились, вместе ушли в армию и больше не виделись. И вот встреча.

Трактор укатил. Лешка поволол Славку в дом.

— Проходи, старик! Я сейчас. — Лешка начал энергично сооружать на стол. — Знаешь, старик, ты меня здорово обрадовал. Я тут пятый день подыхаю со скуки. Хотел, знаешь, обратно уехать, да мать паспорт спрятала, не пускает раньше времени. А что тут делать? Одна радость — вино пить, да и то разделить ее не с кем, все землячки, как муравьи, с утра по работам разбегаются.

Лешка заглянул в соседнюю комнату.

— Батя, ты все пишешь? Сочиняешь педагогическую поэму? А у нас Чередин Славка сидит. Мой коллега, так сказать. Соратник по профессии.

Высокий, жилистый, в белой рубашке, на пороге появился Лешкин отец Иван Григорьевич, директор местной школы, в которой он преподавал русский и литературу.

— Чередин, — Иван Григорьевич, назвав по привычке своего бывшего ученика по фамилии, приветливо улыбнулся. — Здравствуй, дорогой, здравствуй. Очень рад тебе, очень рад.

Лешка тем временем сообразил закуску, со стуком поставил на стол две бутылки какого-то нездешнего вина.

— Друзья, — торжественно сказал он. — Прошу за стол без всяких церемоний.

Лешка разлил вино. Отцу, зная, что тот не пьет, плеснул в рюмку, Славке же набухал целый стакан. Но Славка, смущенно поглядывая на Ивана Григорьевича, не очень-то радостно сидевшего за краем стола, отпил меньше половины и отодвинул стакан.

— Старик, пей до дна, чтоб и муха лапок не замочила!

— Нет, Леша, спасибо. Потом.

— Почему, старик? Впрочем, смотри сам. Да! Послушай музыку. Импорт. Блеск. Достал по знакомству.

Лешка вскочил, небрежно щелкнул клавишами. Высокий, с крутой грудью, красивый лицом, он был весел и бесцеремонен.

— Старик! Ты пей, пей! Чего ты как девочка! — перекрикивал он музыку. Сам он, не садясь и не обращая внимания на отца, уже опрокидывал второй стакан. — А ты что же, три года на одной стройке пахнешь? Чудак ты, право! Ведь на стройке что главное? Главное — поспеть на начало, а потом ловить нечего. Я вот уже на четвертую перебрался, зарабатываю по четыреста колов. А начнут срезать — махну дальше. Чего, чего, а строек у нас хватает. И девок тоже, — добавил Лешка и с улыбочкой покосился на отца.

Иван Григорьевич исподлобья взглянул на Лешку.

— Ты только в этом видишь прелесть жизни? — спросил он.

— В этом? Нет, батя, не в этом! В движении! — Лешка приглушил магнитофон, заходил по комнате. — Батя, дорогой, вся прелесть в движении, запомни это. Покорил женщину — и дальше, поехал на стройке, отхватил кусок — и дальше. Вперед, только вперед. Необъятного не объять, но к этому надо стремиться. Вот так, мой милый, мой дорогой. Наша жизнь — бег с препятствиями...

— И без, — вставил Иван Григорьевич. — Для таких, как ты.

— Ха-ха. Старик, ты слышишь? А разве я не встречал на своем пути препятствий?

— Нет.

— Ты уверен?

— Да, — резко сказал Иван Григорьевич и, извинившись перед Славкой, ушел к себе.

Лешка стоял, набычившись и обдумывая слова, сказанные отцом.

— А-а, — махнул он рукой. — Все это одна философия. Не обращай, старик, внимания. Наши предки кичатся своим героическим прошлым, своей непорочной нравственностью и при каждом удобном случае тычут пальцем: «А вот в наше время», «А вот мы жили». Ну, жили и жили. Мы же не виноваты, что родились позже, не видели войны, не знали голода. Сейчас другое время, другие понятия. В жизни, старик, не бывает пустот. Исчезло одно понятие, появляется другое. Одно явление сменяется другим. Исчезает некурящая женщина, появляется курящая. Любовь из несвободной, опутанной всякими условностями, превращается в свободную. Старикам кажется это кощун-

ственным, но против времени не попрешь. Надо трезво смотреть на жизнь и не осуждать новое поколение, а объяснять его. Впрочем, я говорю банальные вещи. Давай лучше выпьем.

Но Славка не притронулся к вину.

«Объяснять? — подумал он. — Но зачем объяснять? Да и кому? Кому объяснять, скажем, комбайнеров Рому и Серегу? Или Костю-бригадира? Да и меня. Зачем меня объяснять? Нет, нас надо не объяснять, а понимать. А чтобы нас понимали, мы сами должны понимать. Взаимно. Иван Григорьевич, конечно, понимает Лешку, но ему больно это понимание, потому что Лешка живет в своем измерении, а все остальное для него — действительно одна философия».

Непонятно отчего, но Славка неожиданно начал ощущать раздражение.

«О чем он там рассуждает? Чего он ходит, как журавль, чего разоряется? Завел о каких-то жертвах... Какие там еще жертвы?».

— Да, да, старик, — говорил Лешка. — Все люди, друг мой, жертвуют, хотя и не подозревают об этом. Вот мы с тобой, например, жертвуем свою молодость другим, моложе нас, а те, кому пришел черед умирать, жертвуют свою жизнь родившимся в это время.

Лешка, увлекаясь, то рубил воздух ладонью, то протыкал его указательным пальцем.

— Мы жертвуем, — продолжал он, — и все-таки нам очень жаль и очень не хочется жертвовать. Так уж устроен человек. Что его жизнь по сравнению с вечностью? Спичка, зажженная на ветру, и каждому хочется, чтобы спичка горела подольше. Но человек глуп, заметь. Он всю жизнь точит нож на себя. Точит и не замечает, что точит. Прошли сутки, например, человек думает, что это земной шар повернулся вокруг оси. Наивный! Он и не подозревает, что это сделал оборот точильный круг, к которому приложен нож. А когда приходит пора умирать, он вдруг со страхом и удивлением видит этот нож, безжалостный и острый, как бритва. Вот почему человеку трудно умирать. Ему не хочется быть зарезанным своим же, им самим до блеска отточенным ножом. Тут-то он и сознает, что как он все-таки был глуп, хотя всю жизнь считал себя умным.

Славка удивленно смотрел на Лешку.

— Но ведь ты не считаешь себя глупым, а тоже точишь нож на себя.

— Да, — согласился Лешка, — точу, хотя и не считаю себя глупым. Вся беда в том, старик, что все мы не считаем себя глупыми, а что думает человек, убывающий в тот мир, нам неинтересно, потому что каждый из нас втайне надеется проскочить смерть, каждый думает: авось не нагрянет, не заметит.

— И какой же вывод?

— А вывод известный: не надо надеяться, что проскочишь смерть. Это миф. Надо, не мудрствуя лукаво, брать от жизни как можно больше и...

Лешка вдруг замолк, остановившись, глядя искося на дверь отцовской комнаты. Дверь была приоткрыта, там стоял Иван Григорьевич и невесело слушал.

— Вы, конечно, считаете, что я неправ? — обращаясь к отцу на «вы», с улыбочкой спросил Лешка и склонил голову набок, дожидаясь ответа. Но вместо ответа Иван Григорьевич резко прикрыл дверь.

Лешка, продолжая играть улыбочкой, посмотрел на гостя, вздохнул и щелкнул зажигалкой, прикуривая.

— Ты и в самом деле думаешь, что ты прав? — спросил Славка.

— Склоняюсь к этому. Жизнь, старик, дает основания. Заметь, она, жизнь, при всей своей сложности становится проще, беднее. Проще, деловитей становятся отношения между людьми и прежде всего интимные отношения, упрощаются чувства, упрощаются понятия морали. Кто виноват? Все винят НТР и, в общем-то, правильно. Простейший пример. В последнее время поезду я стал предпочитать самолет. И заметил, что самолет обедняет нас во столько раз, во сколько быстрее поезда он движется. В поезде ты едешь сутки-двое, знакомишься с людьми, разговариваешь, высказываешь свое, наболевшее, можешь даже услышать исповедь и всегда, покидая поезд, ты уносишь что-то, что обогащает тебя, дает тебе ближе узнать людей. А самолет? Полтора-два часа полета, дежурная улыбка стюардессы, угрюмый сосед, погодная нервотрепка и ничего больше. Вот так. Но, старик, ход времени необратим, и нам надо понять, что

в этом упрощении нет ничего страшного. Скорости увеличиваются не только в транспорте. Везде. И нам надо научиться приспосабливаться к тому, что неотвратимо. Будущее — за человеком с железным сердцем и рациональным мышлением... Ты чего такой кислый? Или я неправ?

— Знаешь, Леша, я пойду.

Славка поднялся. Странное чувство раздражения не покидало его все время, пока говорил Лешка, и сейчас это раздражение заставило его взяться за дверную ручку.

— Старик! — Удивленный Лешка даже магнитофон выключил. — Старик, ты чего? Обиделся, что ли? Ты даже стакана не допил!

— Нет, Леша, спасибо, я пойду.

— Может, тебе вино не понравилось?

— Вино отличное, Леша, спасибо.

— Гм... Ну тогда приходи вечером в клуб, старик. Девочек подцепим, если бог даст. Выбор тут, сам знаешь, небогатый, но кое-что есть. Придешь?

— В клуб-то? В клуб приду, может быть.

— Я тебя все-таки не понимаю, старик! Вдруг вскочил — и бежать.

— Ну, до свидания, Леша. Пока.

Оставив озадаченного Лешку допивать вино, Славка вышел на улицу.

И только дойдя до дому он, наконец, понял, что раздражен он не Лешкой, не его речами, а собой.

В дом заходить не хотелось. Славка прошел огородом к реке, сел на траву и долго, задумчиво смотрел на рассыпавшуюся на тысячи колких блесков воду.

Конечно, Лешке и в голову не пришло, что Славка может не согласиться с ним, что не жизнь стала беднее и проще, а он, Лешка, и как бы люди «с железным сердцем и рациональным мышлением» ни оправдывались, какие бы теории ни выдвигали, правда все-таки остается за тем же ржаным полем с его непобедимым, идущим из нутра хлебным духом, за Иваном Григорьевичем, за краснеющим от одного упоминания о женитьбе Ромой Звездочкиным. Но слишком уж часто мы бываем неоправданно мягки, когда надо защитить эту правду, слишком часто отходим в сторонку, когда надо лезть в драку за нее, а потом

мучаемся в одиночку, не спим по ночам, глядя тоскующими глазами в звездное окошко.

Хорошо, если Лешка только рисуется, но если он искренен, тогда зачем вот это все: пахнувшая прохладой река, лес вдалеке, птичья переголосица, купающаяся ребятня, и это высокое синее небо — зачем все это?

Глупо, конечно, получилось: вместо того, чтобы напасть на Лешку, опрокинув его, заставить задуматься, Славка лишь вставлял односложные фразы, злился на себя, а потом просто-напросто удрал. Да и что скажешь, если чувствуешь, а сказать не можешь? Нету слов, нету ясности, нету смелости. А у них все продумано, все выверено, и в любой момент они выложат тебе десятки аргументов в свою защиту и будут правы, потому что в ответ ничего не услышат.

11

— Ну вот, еще один стожок прибавился, — сказал дед Пантелей, съехав по гладкой жердине со стога и одергивая задравшуюся рубаху.

Славка удовлетворенно улыбнулся.

Поработали сегодня хорошо. Все утро косили, а потом сметали стог, на который сронили траву еще позавчера, перешли на другую пожню, свернули второй. Метали вдвоем. Мать, подсобив собрать сено в копны, убежала на вечернюю дойку, вслед за ней с удочками увиделся Оська.

Славка ходил вокруг стога, вонзал трезубые, с длинным ратовищем вилы в расчастые копны, подавал деду.

— Помене, помене поддевай-то, — приговаривал дед Пантелей, принимая сено своими легкими, как пушинка, граблями.

Укладывал дед красиво, плотно. Стог, узкий по основанию, к середине округло, плавно расширялся и потом плавно, но покруче, сужался. С какой стороны ни кинь глаз — стог, даже не очесанный, стоит, как игрушка: ровно, твердо, весело.

Но вот стог очесан, подан последний навильник, поданы кагачи — три березовые ветки, связанные вместе верхушками, и дед Пантелей съехал на землю.

Отряхиваясь, он отошел в сторону, критически оглядел свою работу и, оставшись доволен, подошел к стогу, сунул руку внутрь.

— Любило еще сушить-то любило, — вздохнул он. — Дождя побоялся. Ну да ладно, хоть и не порох, а хорошо. Вишь, как оболочка-то заходили, — добавил он, подняв глаза. — Давай-ко уберем причиндалы да домоюшкать.

Вилы, грабли, носилки спрятали в кустах. Дед Пантелей дал напиться Славке из чайника, сам попил, остатки выплеснул на траву. Подал чайник Славке:

— Спрячешь у реки потом.

Дед не зря, видно, торопился метать. Облака становились все гуще, темнее, на востоке набухала туча.

До места, где дорога приворачивала к реке, шли молча, лишь изредка дед Пантелей делал замечания: «Ульян тоже, гляди, стожонко поставил». «А у этих третий день сено лежит не шевельнуто. Хозяева, едре-на восемь!»

Дед перебирал ногами быстро, но быстро и уставал, замедлял шаг. Но, поглядев на небо, опять спохватывался и набавлял ходу.

Славке, несмотря на усталость, шагалось легко. Его все время радовало что-то, и он почти не замечал деда, думал о своем и если поглядывал на небо, то без опаски, с ожиданием.

Сегодня в обед, лежа на траве, он решил загадать на ромашке. Оборвал одну, начиная с «любит». Получилось: «любит». Оборвал вторую: то же самое. Оборвал третью: «любит». Стало интересно, и Славка решил обрывать с «не любит». Оборвал одну, вторую, третью. Удивительно, но все кончалось на «любит». Для верности Славка оборвал еще одну ромашку, начиная с «любит». И снова его любили. Его любили! Кто любил? Неважно. Главное, что его любили. Конечно, все это ерунда — ромашки, но Славке было радостно, силы появилось до черта, и он подавал на стог такие навильники, что за ними порой скрывался дед Пантелей.

— Силы-то, силы-то у его! — прикрикивал дед.

Славка умерял свой пыл, но скоро забывался и опять закидывал полкопны, глядя виновато и озорно на деда, несердито грозящего сверху граблями.

— Ты иди, дед, я догоню, — сказал Славка, когда они подошли к реке.

— Ну давай, давай, — пробормотал дед Пантелей и, побряхывая, стал удаляться, вскоре скрывшись за истоптанным малинником.

Славка сунул чайник в куст (утром, идя на пожню, заворачивали сюда, набирали воды), сбежал вниз, припал к воде, упершись руками в осиновое бревно, сошедшее с «дистанции» во время майского сплава. Течение не касалось омутка, откуда пил Славка, вода пахла осокой, корой, тиной, была мягка и вкусна. Напившись, Славка закурил и сел в траву.

Вот и настала пора уезжать. Завтра в десять утра подойдет рейсовый автобус и увезет Славку из родной деревни.

Все эти дни Славка провел в работе. Дни держались солнечные, ветреные, дед Пантелей боялся и часок обронить; обрядив на конюшне лошадей, бежал спозаранку на пожню. Мать, кончив утреннюю дойку, тоже прибегала, хватала косу, грабли, спешила: в обед снова надо на дойку, слава богу, что она недалеко, в километре ходьбы. Грешно было в такое время оставаться в стороне, и Славка вскакивал часов в семь, будил Оську, пил молоко и, скоренько собравшись, катил на велосипеде на пожню, посадив на раму полусонного брата.

Лешка навевался несколько раз, но ни разу не застал Славку дома, махнул рукой и, найдя собутыльника, пил не просыхая; успел уже подраться в клубе, разбить там стекло, чуть было не заработал десятку штрафа от участкового милиционера. Вчера, когда Славка после трудов праведных сидел за вечерним чаем, на улице послышались веселые голоса, топот. Славка глянул в окно. Это был Лешка со своим собутыльником. Оба шли трудные, за день, видно, крепко нагрузились. Время от времени они останавливались и пытались сплясать.

Сапоги дорогу знают,
Сами в чайную идут. Эх!

— выкрикивал Лешкин собутыльник и пробовал приседать. Потоптавшись с минуту, они обнимались и продолжали свой замысловатый путь.

— Вот ребята живут, — насмешливо заметил дед Пантелей. — Каждый день праздник.

— Этот Лешка дак как с цепи сорвался, — сказала мать, — и пьет винище-то и трескает.

Славка ничего не сказал, только еще некоторое время смотрел вслед Лешке.

...Дни проходили в непрерывных заботах, философствовать особо было некогда, но в минуты отдыха, лежа на поже или сидя на берегу с удочкой, думал Славка о стройке, о друзьях, о работе. Он уже бесповоротно знал, что строить — это сердцевина его жизни, его радость, его призвание, и не раз было: вдруг накатывала беспричинная, но желанная тоска, и руки привычно ложились на пластмассовые кругляши рычагов, виделся летающий ковш, отъезжали груженные КраЗы, и кто-то лукаво и мягко все улыбался, глядя искоса из-под низко повязанного платка. И ночью, на душистом сеновале, все снились лица товарищей, слышались их голоса. Но были и сны, которые вызывали потом удивление. Однажды увидел Славка во сне главный корпус автозавода, а по крыше его несутся три испуганные лошади, и за ними гонится на велосипеде брат Оська. А вчера приснился родной экскаватор и сам Славка, сидящий за рычагами. Только странно было видеть: вместо грунта Славка вынимал из траншеи сено; ковш опрокидывался не над кузовом самосвала, а над стогом, на котором стоял дед Пантелей и ловко принимал граблями огромные, падающие на него охапки сена.

Славка помнил ту первую ночь, когда он стоял на краю ржаного поля, и что-то неясное, непонятное, но очень близкое вдруг коснулось, точно птица крылом, его сознания, дрожью пробежало по сердцу и исчезло, растворилось во тьме, которую затем нарушил, разорвал ночной грузовик, метеором пронесшийся по проселку. Сейчас Славка чувствовал, что он близок к тому, чтобы понять это удивительное прикосновение, понять и принять его, как что-то такое, от чего надо начинать отсчет своей жизни, приобретающей какое-то новое качество. Да, он был близок к этому, но не хватало еще чего-то, какого-то душевного движения, толчка, озарения.

...Начало темнеть. Вдали посверкивала молния, разговаривал гром, тревожно кричали ласточки, на

щеку упала капля, заставившая поднять голову. Туча с востока быстро росла. Поняв, что от дождя не скрыться, Славка засмеялся и вскочил на ноги.

...Река, убежавшая было в сторону, у деревни объявилась снова, и Славке, спрямившему свой путь, оставалось только, подвернув брюки, перебрести, где поменьше, выбраться на большак, и он — дома. Туча уже нависла над головой всей своей громадой, но дождя еще не было, словно там, на небе, раздумывали: начинать или погодить.

Славка выбежал на берег, торопливо сел, дернул ботиночный шнурок.

Чуть выше и правее того места, где он сидел, снимая ботинки, возле кустов ольшаника, в густой траве виднелась оградка могилы.

«Как, почему я раньше не замечал этой хилой деревянной оградки? — подумалось Славке. — Почему не замечал этого заплывшего холмика, в изголовье которого стоит пирамидка с кособокой звездой? Ведь сколько раз проходил поблизости, стоило только заглянуть за разросшийся ольшаник! Сколько раз, проходя мимо, ощущал какое-то беспокойство! Сколько раз мучительно пытался найти причину этого беспокойства и не находил!..»

Славка медленно поднялся и, держа в руке снятые ботинки, пошел к солдатской могиле. Да, это она. Здесь, на сухом высоком бережку, вместе со своими дружками салютовал ей Славка пионерским салютом, клялся в своей готовности «к борьбе за дело Коммунистической партии», красил эту оградку, эту пирамидку, подстригал траву, приделывал жестяной козырек над стеклом, под которым была врезанная еще в те, военные, годы кем-то из местных жителей фотография бойца. Давно это было, но волнение, тогдашнее полудетское волнение вдруг снова перехватило горло, и Славка долго стоял у западницы, не решаясь войти в этот огражденный полузабытый квадратик земли. Наконец он взялся за планку и осторожно потянул на себя. Западница не открылась, а отклонилась вся — она была просто приставлена к покосившимся столбикам.

Славка шагнул к могиле.

И в это время особенно ярко упала молния, раскатился гром, и, словно прорвавшаяся плотина, рух-

нул на Славкины плечи ливень. В одно мгновение Славка промок до нитки, но сейчас ему было все равно. Он низко пригнулся над холмиком, пристально, напрягая глаза, глянул под жестяной полуоторванный козырек. И так же пристально, будто спрашивая о чем-то, глянули оттуда на Славку молодые, нетронутые временем глаза.

Вспыхивала молния, тяжело перекачивался по небу гром, нещадно колотил по спине дождь, а на Славку из-за омытого водой стекла просто и честно смотрел парень в сдвинутой набок пилотке.

«Пришел?» — «Пришел». — «Ну и добро. Дождь только вот». — «Дождь ерунда». — «А я, как видишь, все тут. Лежу. Здесь хорошо: речка, лес шумит, птицы... Хорошо». — «Да, хорошо...»

Война только кончиком своего огненного крыла задела Вселенную. По этой речушке в те годы проходила линия фронта, в Славкиной деревне стояли наши, в соседнем селе — в десяти километрах — окопался враг. Дальше Славкиной деревни, дальше этой могилы враг не прошел, не пропустили сибиряки, а, сдержав натиск, погнали его на запад.

Воинское кладбище было в центре деревни, у церкви, рядом с гражданским. Там стоял высокий обелиск, лежали цветы, на плите — длинные столбцы с фамилиями и званиями погибших бойцов.

А его положили сюда, на зеленый бережок.

Будто выдвинули в дозор.

«Да, конечно, здесь хорошо: речка, лес шумит, птицы... Был я, дружище, на Мамаевом кургане, был на Пискаревском кладбище, стоял, думал. О многом тогда думалось. Высоко думалось, скорбно, не по-земному как-то. Ведь они там уже ушли, ушли в бессмертие. А ты живой, ты — вот, еще немного и — улыбнешься, еще чуток — и я услышу твой голос. С тобой можно говорить по душам, как с другом. Правильно ли я живу? Думаю, что правильно, но есть и ошибки. Ошибки, дружище, есть. В личной жизни, например. Я знаю, ты поймешь меня. Да, ты поймешь...»

Славка обвел взглядом хилую оградку с вырванными кое-где планками, задержал глаза на отставленной западнице, поправил свернутую набок звезду.

«Что и говорить, — думал Славка, — мы сейчас

много знаем, много понимаем, порою даже слишком много понимаем. Понимаем и то, что надо помнить, но не помним, понимаем, что надо любить, но не любим...

Впрочем, быть может, это говорит во мне обида за друга, и не так уж мы и забывчивы?..»

Дождь затих. Туча прошла на запад, кругом по-светлело.

Жизнь продолжала свой бесконечный бег; она не спрашивала, любишь ты ее или не любишь; живешь — живи, а все остальное — в тебе самом, в твоей душе, в твоей совести.

12

Когда присели на дорогу, мать не выдержала, снова тихонько заплакала. На людях мать не плакала, умела это делать. Выплачется дома, а потом, при расставании, тихо припадет к груди, помолчит с минуту, как бы прислушиваясь к чему-то, вздохнет глубоко и, оторвавшись, сделает движение рукой. Перекрестит врозь.

Вышли на улицу.

Впереди с чемоданом маршировал Оська. Мать попевала слева от старшего, грустно молчала. Дед Пантелей выглядел бодро, но тоже помалкивал.

Славка находился в том немного возбужденном состоянии, когда не очень-то веселое чувство расставания постоянно заглушается чувством предстоящей дороги. Ты еще здесь, и все рядом, но уже как-то отделились от тебя лица, голоса, избы, все окружающее. Но в то же время Славка знал: все это он уносит с собой, все это с ним, все это в нем, и ему было радостно сознавать, что любовь к тихой родимщине и к грохоту вздыбленной стройки без всякого труда умещается в его душе, и то, что когда-то ощущалось, как мимолетное прикосновение, сейчас слилось в непрерывную, бесконечную цепь таких прикосновений. Особенно после того, как Славка узнал, что там, на зеленом, осыпанном птичьей переголосицей берегу лежит парень, который родился и вырос где-то в далекой, полупознакомой Сибири, а грянула смертная битва — и он поднялся с оружием в руках, чтобы защитить родную Славкину деревню от поругания.

Как на карауле, стоит у своей избенки, у хилых воротец бабка Александра, дожидается, видно, когда они подойдут. Поравнялись, и бабка, плавно загребая рукой воздух, закланялась, заклевала головой:

— С богушком, с богушком. Поехал, Славушка, поехал, рожоненький... Хороший у тебя, Ивановна, парень-то есть, хороший, — продолжала бабка таким голосом, будто не хвалила, а грозила. — Хороший, дай тебе бог здоровышка. Поехал, яблучок, поехал с богушком.

У бабки Александры на углу избы алеют две звезды. Двое ее сыновей ушли на войну и не вернулись, пропали без вести, и не уезжай Славка, может, и не появились бы лишний раз слезы у бабки Александры, может, и не заныло бы и без того изболевшееся сердце, не ослабли бы и без того слабые ноги. Но русского сердца, видно, на всех хватает, и бабка Александра крестит воздух, кланяется, бормочет что-то и глядит вслед, скорбно поджавшись и покачивая головой.

За домами, в поле неумоимо плавают в хлебах два комбайна, на крыше Макаровой избы по-прежнему молотит безызысная вертушка-флюгер, висит ворона в огороде Ульяна Ручкина, а сам Ульянов сидит у окна за столом, склонив лысую голову и опустив на кончик носа очки. Газету, наверно, читает, а может, избредает улавливатель спиртного духа. Славка улыбнулся. Но не теперешнему Ульяну с его улавливателем, а набежавшему вдруг детскому воспоминанию.

Славке было тогда лет семь. Однажды он забежал к Ульяну позвать его сынишку, своего дружка, гулять. Дружка дома не было, а Ульянов в это время сидел на кухне за столом и поедал блины. Топилась печь, тетка Акуля, Ульянова жена, метала со сковороды блин за блином на стол, а Ульянов сворачивал их, и, обмакнув в масле, метал в рот. И так конвейером: тетка Акуля — на стол, а Ульянов — в рот, тетка Акуля — на стол, а Ульянов — в рот. Славка свой рот открыл, стоит, не шевелясь, глядит заворуженно. Но вот он видит: берет Ульянов нож с тяжелой оловянной ручкой, наворачивает на ручку блин и — хлоп! — Славке по лбу. Несколько секунд Славка обалдело смотрел на Ульяна, а потом ударился в рев да бежать. Прибежал домой: «Мама, мама, дядя Ульянов меня блином ударил!» — «Блином?!» — «Ну-у». —

«Блином... Ну, ничего, блином, дак не больно. Не плачь, рожоный, не плачь. Блином дак не больно». И правда, было не больно, заплакал Славка больше от неожиданности. Мать успокоила, и Славка побежал на улицу рассказывать мальчишкам, как его ударили — ни за что не поверите — блином.

...Вот и остановка. Типовой кирпичный ящичек с двумя ромбовидными окнами без стекол и выступающей далеко вперед крышей. На единственной скамейке сидят три женщины: одна старушка, две другие помоложе. Перед ними крутит скакалку тонконогая девочка. Женщины тихо переговариваются, звучно шлепают по бстону сандалиии прыгающей девочки, кино-механик Гриша везет на велосипеде банки с киноплёнками. Вчера крутили «Когда деревья были большими», лента старая, сто раз клеенная, и Гриша спешит ее сдать на почту. Мать здороваётся с женщинами, садится на скамейку, и между ними затевается свой женский разговор. Дед Пантелей прикурил от подаренной внуком зажигалки, закашлялся и, не переставая кашлять, опустилсЯ на низенький осиновый чурбак, стоявший у стенки под окном. Оська завернул за угол остановки и тотчас вернулся, держа в руках такой же короткий и толстый чурбак.

— Садись, Слава.

Киномеханик Гриша, поздоровавшись с женщинами, увидел деда и Славку, поднял приветственно руку и тут же бросил ее на руль.

— Пантелею Антипьевичу!

— День добрый, Гриша.

— В путь собрался, Слава? — крикнул Гриша, уже проезжая.

Славка покивал головой.

— Надо, надо, — Гриша вильнул в сторону, чуть было не сунулся в кювет, но выравнялся, покатил дальше, поглядывая по сторонам.

Мимо остановки спешно и неспешно проходили люди, внимательно смотрели: кто это опять уезжает. С хлебной сумкой в руке проскоблил дед Савкин, пробежала, торопливо поклонившись, Авдотья Селиванова, споро прошагала широкобедрая полногрудая с граблями на плече Нютка Ручкина. Ветер-озорник все время пытался заглянуть Нютке под платье, но она не давала, прижимая подол к ноге.

— Вот хорошая девка! — с удовольствием заметил дед Пантелей. — И не курит, и штанов мужских не носит. А работающая... — Дед покрутил головой: — в руках все горит.

Славка посмотрел на часы. Сейчас подойдет автобус. Даже не один, а два.

Сегодня, укладывая чемодан, Славка долго держал на ладони найденную тогда в день приезда подкову, раздумывал: брать или не брать с собой. Взял. Завернул в газету и сунул на дно чемодана. Пусть висит там, на стене в комнате общежития.

— Ну, у этих баб чуть что и — сразу слезы, — недовольно сказал дед Пантелей, чиркая зажигалкой.

Славка прислушался. У женщин, действительно, кто-то всхлипывал.

— Разок и не пришла-то, любушки, дак на другой день сразу и приснился, — говорил старушечий голос. — «Мама ты, мама, говорит, не пришла ты меня поминать, дак все теперь меня сухой корочкой дразнят, как собаку». Попрекнул меня-то, попрекнул, жаланненький. Дразнят, говорит, сухой корочкой, — всхлипывания стали громче, женщины тихонько ойкали. — А я-то тогда лежкой лежала, не могла сходить-то никак, а вот, вишь, сразу и приснился, роженный.

«Да, — подумал Славка, — живут земляки, тянут свою судьбу, исполняют свои человеческие обязанности без громких слов, без всякого шума. А если кому-нибудь, как деду Пантелею, вдруг захочется уехать или показаться по телевизору, то это так: никуда они не уедут и навязываться никому не станут. Все тут, казалось бы, просто: работа, обычаи, отношения, но от простоты этой, если разобраться, видно далеко окрест. Да и не так уж проста эта самая простота: копни глубже — и дна не увидишь».

— Идет, пряник, — услышал Славка насмешливый голос деда Пантелея. — Ноздря уже начинена, кажись.

По дороге, размахивая чемоданчиком, подозрительно бодро шагал Лешка Репников. За ним едва поспевала мать. Ивана Григорьевича не было. Видно, он не пошел провожать, простился дома. Лешка... Сейчас Славка, пожалуй, нашел бы что сказать Лешке, жаль — не время, да и захочет ли Лешка понять его?

— Дед, — Славка осторожно коснулся дедовой ру-

ки. — Дедуля, знаешь, там у нас за деревней могила есть, солдатская...

— Могила? Есть, есть, как же. Знаю.

— Подладить бы там надо, подремонтировать.

— Дак это, Слава... Могилу-то эту ведь перенести хотят на общее кладбище.

— Перенести! — Славка даже растерялся немного.

— Да, брат, перенести. Это я точно тебе говорю.

«Не надо бы», — хотел сказать Славка. Но не сказал ничего.

Дед Пантелей понял, что это известие почему-то расстроило Славку, и поторопился исправиться:

— Да ты не расстраивайся, Вячеслав. Когда еще ее перенесут, могилу-то. А я подлажу там, подремонтирую, раз ты желаешь. Сегодня же пойду. Оську возьму и пойду.

В это время шумно заволновался женский кружок.

— Идет, девки, идет автобус-то.

— Обои идут, обои.

— Ой, хоть бы уж взял, хоть бы уж взял.

— Да возьмет, возьмет, народу-то, кажись, немного сидит.

— Старик! — К остановке вместе с автобусами подходил радостный Лешка Репников. — Старик! Ты живой! Как я счастлив, старик! Вместе едем!

Но Лешка зря радовался. Они ехали на разных автобусах. Километрах в десяти отсюда их дороги расходились: Славкин автобус шел прямо, Лешкин сворачивал вбок.

Пришла минута расставания.

— Вячеслав, — дед Пантелей придержал Славку за рукав, показал глазами на небо. — Видишь, оболочка-то как плывут? Встречь ветра. После Ильи бывает такое.

Славка поднял голову.

И правда, облака медленно, как бы ломая сопротивление, плыли навстречу ветру, который дул, не утихая, в ту сторону, куда уезжал Славка.

ФЕДЯ КОРОВУШКИН

1

— Мужики, Коровушкин идет, — крикнул Степан Раков, кивая головой в сторону дороги. Дружный пе-

рестук топоров стал медленно стихать. Плотники, сидевшие на углах строящегося свинарника, запоглядывали назад, лица их повеселели, расслабились. По дороге, что тянулась мимо свинарника, неторопливой, падающей походкой шел Федя Коровушкин.

Поравнявшись с мужиками, Федя махнул приветственно рукой, закричал:

— Бог помощь, плотнички-рабочники!

— Спасибо, Федя, спасибо, — загомонили мужики и, торопливо слезая вниз, стали подсаживаться на бревна, хлопать по карманам, закуривать. — Ты заходи. Посидим, перекурим.

Федя свернул с дороги, приблизился.

Был он высокого роста, худой, потешно-угловатый, в красной выгоревшей рубаше и сельповских — в полоску — штанах. На стриженной «под польку» голове примостилась кепка не кепка, а какая-то накидуха с длинным козырьком, над которым веером блестя на солнце многочисленные рыболовные крючки, торчит якорек с красным лоскутком. Лицо у Феди лукаво-добродушное, безобидное, с длинным смешным носом, и каждому, кто видел Федю, всегда почему-то хотелось подойти и, взяв за козырек кепки, натянуть ее на глаза хозяину.

Федя сел на окоренное смолистое бревно, не заботясь о том, что можно прилипнуть, вытянул правую ногу и полез в карман за куревом. Но сидящий рядом Боря Обухов, молодой длиннотелый мужик, торопливо протянул ему свой «Беломор». Федя выудил папиросу, дунул в мундштук.

— Ну, так как, братцы кролики, работа идет? — спросил он, вытягивая левую ногу — достать спички. Но и тут его упредили. Степан уже подносил свой волосатый кулак, над которым робко трепыхался огонек зажигалки. Федя, чмокая, прикурил.

— Работа идет, — отозвался на его вопрос бригадир Никита Маляров. — Что ей не идти? А ты куда это наострил?

— Да на телятник. Баба приказала придти, воды закачать да навозишко приубрать. Вот туда и держу курс.

— Баба у тебя — бойкая баба, — заметил Степан Раков. — Каши во рту не держит. Уж на что моя языкастая, а твоя дак чище моей. Этта зашел я к тебе в

Илью с бутылкой, думаю, выпью с соседом, все-таки какой-никакой, а праздник. Зашел, дак не знал, как и выйти. Как пошла, как пошла, как застрочила: «Гопники вы, говорит, пьянчужки вы, и жаба-то вам не сядет, глотки вы ненасытные...» Люди, говорит, все на сенокос убежавши, а вы вино собираетесь пить? Гляжу — за ухват схватилась. Я — в двери да бежать. Не надо и вина. Живо ноги нашел. Ты-то тогда дома был или где?

— Зря заходил, — с улыбкой ответил Федя. — В Илью я жерди тюкал на Яшовщине. А баба у меня строгая. Решительная баба, — добавил Федя таким голосом, что было непонятно: осуждает он свою жену или говорит с похвалой.

— Не баба, а Наполеон в юбке, — подытожил Степан и цвиркнул слюной далеко в сторону.

В это время поблизости раздалось хрюканье. К мужикам, водя носом по земле, приближался небольшой сытый поросенок. Он смело вошел в круг и, выбрав почему-то Федю, стал тыкаться розовым пятакон с запыленный носок ботинка.

— Ишь ведь, дрючок, — сказал Федя. — Откуда он приперся-то? Никита, не твой это низкоглазик?

— Нет, это не мой. Это вроде бы Нюрки Хваталовой, у той вечно догляду нет: то овцы до полуночи бегают, то поросенок усвищет, а ей хоб что. Нехозяйственная баба, — заключил Никита и, помолчав, добавил: — А это не мой, у меня поматерей будет, да и у моего на правом ухе чернильное пятно посажено, чтоб, значит, не спутаться.

— Погоди, погоди, погоди, — неожиданно закричал Боря Обухов. — Да ведь это, кажись, наш поросенок! Ну-ко, ну-ко. Точно, наш! Ах ты, шмакодявка ты, едри твою на печь! — Боря хлестко, ладонью ударил поросенка по спине. Тот отчаянно взвизгнул и бросился бежать. Боря — за ним.

— Под машину охота попасть, а? — кричал Боря. — Под машину охота? Ну-ко бегом домой! Чтобы глаза мои тебя больше не видели!

Подхватив с земли какую-то батожину, Боря завернул поросенка, побежавшего было к реке, на дорожку и, ругаясь, погнал его в деревню. Мужики, посмеиваясь, глядели на эту сцену.

— Собрался я как-то на рыбалку, — заговорил Фе-

дя после некоторого молчания. — Ну и Борю позвал для компании. Пойдем, говорю, Боря, по варьке хоть наудим. Пойдем, говорит. Накопали червей, взяли удочки, пошли. Пришли на одно место, удочки закинули, сидим, на поплавки глядим, — я тут, а Боря повыше немного, за кустами. Прошло эдак с полчаса — поплавки как неживые. И разу даже не тыркнуло. Ну, а Боря — рыбак известный, за полчаса три места сменил, а я сижу. Упорно сижу. И досидел! Гляжу: поплавок лег. Лег, собака! Ладно. Пошел в сторону. В сторону, в сторону, — я терплю. Гляжу: вглубь попер. Тянуть надо. Дернул я, чувствую: зацепилась. Здоровая! Я даже растерялся немного: леска-то тоненькая, и крючок не ахти какой. Я удовище-то — на себя, добрался до лески, тяну тихонечко. Подтянул — лец! Дал я воздуху ему схватить, а берег-то высоковат, не взять на подъем, леска не выдержит. Что делать? «Боря, — тихонечно кричу, — Боря, помогай!» Слышу, кусты затрещали, бежит Боря. Прибегает: что, Федя, что? Помогай, говорю, как-нибудь, гляди, какая плаха. Боря леца-то увидел, за голову схватился да как заорет: «Только наполоам, только наполоам!» «Да помогай же ты, едри твою на печь!» — я-то шиплю. Где там! Гляжу, Боря ошалел совсем, скачет по берегу, как козел, не знает, что делать, за что схватиться. Ну а лец не стал долго любоваться — ка-ак рванет! Леска — теньк! И поминай, как звали. Боря аж за сердце схватился. Эх ты, я говорю. Теперь бери хоть целого, не жалко.

— Только наполоам, только наполоам, — повторил Федя, переждав смех, и снова падкие на веселое мужики зареготали, закрутили головами.

— Чего горгочете-то? — неожиданно послышался голос Бори Обухова. Боря подошел незамеченным, и его вопрос вызвал новый взрыв смеха.

— Да вот, рассказал мужикам, как мы третьеводни с Егором Матвейчем в магазине старух перехитрили. Тебе-то рассказать, не надо?

— Спрашиваешь. Конечно, расскажи.

— Ну, значит, время, мужики, было эдак полдесятого утра. А выпить захотелось — ну, прямо невмочь. Побежал я в сельпо. Захожу и вижу: дело не уха. Стоит с десяток старух, и все, как на грех, самые отчаянные, вроде бабки Карачихи, попробуй по-

проси — заключают. Но я-таки не теряюсь: а вдруг Матвейч выручит. А старухи скося поглядывают: что буду делать? Я подошел тихонечко к прилавку и на Матвейча — зырк эдак жалобливо, мол, выручай, друг. А Матвейч кричит: «Нельзя, Федя, нельзя. До одиннадцати не имею права». Я не сдаюсь, стою, вздыхаю, а Матвейч опять кричит: «Посмотри-ка лучше, Федя, пальта. Пальта уж больно хорошие есть, может, надумаешь взять». Пальта мне, ясно, не нужны, но тут вижу, глаз у Матвейча эдак чуть-чуть подморгнул. Эге, думаю, так-так, маневр понятен. И прямым ходом в другой конец, где промтовары. Подошел к вешалке, смотрю на бирки, читаю, какая фирма, какой размер, сколько стоит, а сам правой рукой по карманам — р-раз! В правом нет. Я — во второй. Тоже нет. Я к третьему. Только руку сунул: ага! вот она, родная, ласкается. Куртку снял, пальто примерил, бутылку — чвык под рубаху. Матвейч кричит: «Ну что, Федя, берешь пальто-то?» Великовато, говорю, Матвейч, великовато. Поменьше-то, говорю, нет? «Поменьше, парень, нет». Ну, нет так нет, не умрем. Я пальто на вешалку, куртку на себя, подошел к прилавку, затылок почесал, повернулся и — скорей на улицу. Только меня и видели.

— Го-го-го. Га-га-га! — на все лады смеялись мужики.

— Великовато, говоришь, пальто-то? — закися от смеха, переспрашивал Боря Обухов.

— Великовато, говорю, Матвейч, великовато.

— Коричневые пальта-то? Что налево-то висят?

— Эти самые.

— Знает Матвейч, куда сунуть. Эти балахоны уже который год висят, и никто их не берет.

— Ушлый мужик.

— Парень еще тот есть, то-от.

— Вот ведь архаровцы-то! Пальто им, вишь, великовато!

— Дак ты воду-то качать думаешь или не думаешь?

*Решительный, не предвещающий ничего хорошего голос прервал на полуслове очередной рассказ Феди Коровушкина. В двух шагах от мужиков стояла Авдотья, Фекина жена.

На минуту среди мужиков воцарилось молчание.

— Дак это... — пытаюсь скрыть свое смущение, глуповато улыбнулся Федя, почесал за ухом и неожиданно сказал: — Река-то, Авдотья, далеко, да и... лодка на той стороне.

Брови у Авдотьи удивленно вскинулись вверх.

— Чего, чего? — спросила она и ступила шаг вперед.

Федя проворно поднялся на ноги.

— Навозу-то, говорю, много там накопилось?

— Ты иди сначала воду закачай, а потом про навоз спрашивай. Лодка на той стороне... Ишь выдумает. Живо марш на телятник!

— Ну, иду, иду, чего шумишь-то? На минутку завернул к мужикам, а у тебя уж шуму да гаму — не оберешься.

— Ты мне язык не чеши, а чтобы как штык был на телятнике!

Отдав приказание, Авдотья повернулась и быстро зашагала к телятнику, откуда ясно доносился требовательный телячий мык.

— Слышали? — спросил Федя мужиков. — Чтобы как штык и никаких разговоров. Вот как с нашим братом теперь. Не больно-то тюткаются.

Федя шумно, прерывисто вздохнул, поправил свою накидку с длинным козырьком и, опустив повинную голову, неторопливо пошел вслед за разгневанной супругой.

— А веселый мужик этот Федя, — покрутил головой Боря Обухов и, смачно сплюнув, добавил с оттенком восхищения: — Эти его капусту.

— Да, с таким не заскучаешь, — согласился с Борей Степан Раков.

— Не заскучаешь, это так, — согласились с ними и другие мужики. Только Никита Маляров ничего не сказал. Он смотрел на удаляющуюся фигуру Феди Коровушкина, и взгляд его был пристальным, задумчивым.

Федя был дважды ранен на фронте и сейчас получает небольшую пенсию. Но на колхоз свысока не смотрит. Приглядывает за лошадьми, которых в бригаде осталось лишь три хвоста, помогает Авдотье на телятнике, излаживает дровни, топорища, ратовища к

вилам и лопатам, метлы и тому подобную мелочь. Не сидит, в общем, без дела.

Живет Федя вдвоем с женой. Было время, когда семейный горшок у Феди кипел вовсю, но дети, пятеро, выросли, разъехались и, обзаведясь семьями, наделали Феде кучу внучат.

Из живности у Феди была корова Марта, шесть-семь овец, с десяток кур да кот Филька, великий проказник и балбес. Чуть ли не каждый день этот балбес приносил в зубах бездыханных пичужек и старался съесть их обязательно на глазах у хозяина. С мышами же Филька жил по принципу мирного сосуществования, и Федя после долгих колебаний пришел, наконец, к выводу, что не оправдавшего его надежд кота придется ликвидировать. Мягкосердный по природе, Федя долго раздумывал, как «погуманней» отправить Фильку на тот свет, но ничего такого не придумывалось.

Помог случай. Зашел как-то к Феде сосед Антип Грачев и, узнав, в чем дело, посоветовал применить проверенный способ: сунуть кота в мешок и сесть на него. «Минут через пятнадцать можешь зарывать», — заверил он Федю и, посидев немного, ушел. Федя так и сделал: сунул кота в мешок и сел на него. Но тут-то и вышла у Феди промашка. Мешок оказался дырявым, и Филька, почувствовав приближение смерти и оттого сделавшийся отчаянным, изловчился, просунул лапу в дыру и с такой силой царапнул Федю за одно известное место, что Федя, дико заорав, взвился чуть ли не до потолка. А Филька, выпутавшись из мешка, пулей вылетел через раскрытое окно на улицу и с неделю не показывался на глаза хозяину.

После этого случая Федя дня три ходил медленно, «врасширяногу», а на вопросы односельчан относительно его странной походки отвечал, что жеребец, «молокосос необкатанный», лягнул его в пах.

— И какая его муха укусила, чертяку, — рассказывал Федя уже в который раз. — Никогда и хвостом не задевал, а тут — на тебе — шваркнул копытом, дак я едва из стойла выполз.

Федю сочувственно выслушивали, качали головами, вздыхали, но стоило ему отойти, как всех вдруг начинало трясти от смеха, и долго еще в местах, где побывал Федя, слышалось мужицкое ржание и бабьи

хохотки. Истинная причина необычной Фединой походки была, оказывается, известна всем, но местные шутники не упускали случая лишний раз посмеяться над Федей. Федя и сам догадывался, что его разыгрывают, но принимал это с добродушной улыбкой, говоря только: «Да вот, дерганисты-то».

Федя обладал той особенностью рассказчика, что мог по каждому, даже ничтожному поводу «припомнить» веселый случай из своей жизни. Прошла, к примеру, баба за водой, и Федя рассказывает, как он однажды перешел через реку, сунув ноги в пустые ведра.

Когда Федя рассказывает, он выбирает наиболее внимательного слушателя и смотрит не мигая прямо ему в глаза. Если слушатель начинает отворачиваться, Федя берет его за рукав, тянет потихоньку к себе: мол, гляди и ты мне в глаза, я не вру, все правда. Если тот продолжает смотреть мимо, Федя переключается на другого, и теперь уже другому приходится выдерживать натиск немигающих правдивых Фединых глаз.

Пришедшие с пастбища коровы принесли на крутых рогах звонкоголосый вечер, и деревня наполнилась мычанием, блеянием, женскими криками.

— Тукэ, тукэ, тукэ, тукэ,— закликают хозяйки своих буренушек.

— Эц-кэц-кэц-кэц,— кричат владельцы пугливого овечьего племени.

За рога тащит барана глухая громкоголосая бабка Степанида. Баран у бабки упрямый и никак не желает идти домой.

— Идешь аль не? Идешь аль не?— кричит бабка Степанида на всю деревню.

Но баран не хочет идти.

— Ну, парень!— кричит бабка.— Последний раз я тебя тащу. Сегодня же решу, хватит, поиздевался ты надо мной.

Но барана этим не испугать. Он упирается ногами в землю, нагибает голову и еще норовит толкнуть бабку в зад. Каждый раз бабка Степанида грозитя решить своего упряма, но на следующий день все повторяется сначала.

Небо над головой постепенно густеет, горизонт подергивается серой пеленой, высвеченной поверху желтыми длинными мазками. За домами, в поле, зарождается легкий туман. А вдаль, у леса, тумана уже скопилось порядочно, и кажется, что это озерцо появилось, и по нему плавают темные шапки стогов. Деревья стоят неподвижно, и на фоне неба все резче обозначаются, темнеют листья. Мало-помалу замолкают все звуки, уступая место теплой деревенской тишине. И запоздалое мычание еще не подоенной коровы, и писк высокой ласточки, и стригущие вечерний воздух кузнечики — ничто не нарушает эту тишину, наоборот, даже подчеркивает ее. Не нарушает ее и веселый смех, что раздается возле почты на бугристой поженке-лужайке. Здесь, в окружении мужиков и ребятшек, сидит Федя Коровушкин, босой, в своей неизменной кепке-накидухе с длинным козырьком и, как всегда, рассказывает.

Только что Федя рассказал, как он однажды подшутил над Авдотьей. Как-то зимой он притворился пьяным в стельку, упал в снег возле магазина, сунул шапку за пазуху и стал ждать. Дело было по-светлому, все видели, и через десяток минут к Авдотье прибежала Нюрка Хваталова: «Авдотья, яблочко-то твой у сельпа лежит пьянехонькой. Весь в снегу-то, без шапки-то. Беды край!» Прихватив санки, Авдотья помчалась к магазину. Федя и впрямь лежал в снегу, без шапки, рот корытом. Авдотья взвалила его на санки, не забыв при этом дать пару загорбятников, и поволокла домой. Дома, без устали ругаясь, она раздела Федю, затащила его на теплую лежанку, укрыла ватным одеялом. Понежившись в тепле минут пятнадцать, Федя вдруг улыбнулся, открыл глаза и совершенно трезвым голосом сказал: «А всегда бы так-то делала, дак хорошо и было бы».

Как отреагировала на это Авдотья, Федя все же не сказал, хотя мужики упорно допытывались. Он только улыбался и, шуря глаза, пускал струю дыма высоко вверх.

На дороге, с горшком в руках, появилась жена Бори Обухова Ольга. Повернув голову в сторону компании, шурясь, она долго наглядывала своего мужика, а нагледев, громко сказала:

— Иди домой тоже. Хватит гыгындовать-то.

- Ты чего там несешь-то? — спросил Боря.
- Смерти кусок.
- Не, серьезно, Ольга.
- Молоко несу, чего же еще больше.
- Только напополам! — тотчас закричал Боря. —

Поняла?

- Не поняла.
- Явлюсь, дак поймешь.

Боря не имеет ни детей, ни коровы, и молоко они с Ольгой берут у Маляровых.

— Вот увидел твою бабу с горшком и вспомнил, — заговорил Федя, глядя на удаляющуюся Ольгу, которая, мелькнув платком между двумя березками, скрылась наконец, за домами.

— Чего вспомнил-то? — сразу оживился Боря, и его длинное простоватое лицо приняло выражение готовности: покажи сейчас палец — и Боря умрет со смеху.

— Помню, корова у нас была покинувши. — Федя снял с головы кепку, ладонью выбил из нее пыль и водрузил на место. — А молоко брали у Офимьюшки Подызбиной. Баба все за молоком ходила, а тут чего-то она делала, некогда было, меня и отправила. Сходи, говорит, хоть раз в жизни. А я выпимши был, обрадовался: вдруг у Офимьи стопочка найдется на добавку. Взял горшок, пошел. Пришел, Офимья молока налила и говорит: «Федюшка, уж будь ты добр, заверни лампочку в кладовке. Старая-то перегорела, а я не толкую, да и боюсь. Уж будь ты хорошим пареньком, заверни». Ну, а мне что? Когда я был худым пареньком? Никогда не был. Завернул я лампочку, захожу опять на кухню и вижу: одонок на столе стоит. Да еще и белого! Как быть? Не выпить — сам себя потом ругать будешь, выпить — как-то стыдновато: не велико дело сделал. Ну, ладно, Александровна, говорю, я тебе завтра топориче насажу и пилу наточу, зараз, пила-то у тебя уж сто годов, кажись, не точена. Уговорил я, значит, этот одонок, поболтал с Офимьей немного и пошел. Иду — дома покачиваются. А перед избой у нас овражек есть, знаете ведь. Дошел я до этого овражка и остановился. Остановился и не могу понять, куда мостик делся? Туда шел, мостик был, а щас — нету. И овражек-то глубокий, и горшок-то с молоком в руках, и как перебраться-то не знаю. Дак

что, вы думаете, я надумал? Трезвому бы дак век не надумать, а тут надумал. Брошу-ко, думаю, я горшок повыше, и пока он летит через овражек, я перебегу на ту сторону и горшок-то поймаю. Ну, взял и бросил. И сам пулей — вниз. Прыгнул, запнулся, кувырнулся, вскочил и вверх на четвереньках — раз-раз-раз. Выскочил наверх — где горшок? Нету горшка. Неужто еще летит? Голову поднял, глаза-то пучу, пучу, руки-то растопырываю — нету горшка! Потом как назад-то повернулся — матушка ты моя: на той стороне одни черепки валяются, а я где стоял с горшком, да там и стою, да только уж без горшка.

— Дак ты, значит, прыгнул вниз, а потом обратно полез? — допытывался Боря Обухов.

— Выходит, что так.

— Ги-ги-ги-ги. А горшок на другую сторону улетел?

— А горшок на другую сторону улетел, — подтвердил Федя, но на этот раз в его голосе послышалась досада и даже усталость.

— А что, ребята, не пора ли нам на вешало. а? — вдруг предложил он и, не дожидаясь ответа, поднялся.

— Да рано еще, Федя, — заговаривали мужики. — Куда спешить-то? Посиди давай.

— Не, ребята, я пойду. Вы сидите, а я пойду.

И Федя быстро, не оглядываясь, ушел.

Постепенно компания на поженке начала редеть, мужики один за другим поднимались, говорили: «Ну, пока» и уходили домой, «на вешало». Через какой-нибудь час на поженке сидел один Никита Маляров. Он сидел, курил и глядел в темневшую, тихо журчащую на камнях реку. Потом и Никита ушел.

Прошел сентябрь месяц, и октябрь уже был на боку.

В один из вечеров, между пятью и шестью часами, Никита Маляров сидел дома и как обычно читал газеты. Он не слышал, как отворилась дверь на кухне и вошла Анна, его жена.

— Никита, — слабым, каким-то незнакомым голосом сказала она. — Да что ты сидишь-то?

— Что такое? — встревожился Никита.

Анна бессильно опустила на стул.

— Федя-то Коровушкин помер.

И заплакала. Но не горько, заполошно, как плачут по родственникам, а тихо, почти неслышно, от сердца жалеючи отлетевшую душу человеческую.

Ошеломленный известием, Никита с минуту сидел неподвижно, потом медленно поднялся, помотал головой и вдруг — шапку в охапку — бросился вон из дому.

Федя умер легко. Авдотья в то время была у телят. Федя пошел на двор задать скотине корму и не вернулся. Пришла с работы Авдотья — изба полая, никого нет. И вдруг так пусто показалось бабе, что содрогнулась невольно она, а ноги уже несли ее, онемевшую от предчувствия, на двор. Отворила дверь — корова, овцы жмутся к дальней стене, смотрят испуганно. Повернула голову влево — и закричала, опадая, заваливаясь набок.

Безучастный ко всему, лежал Федя возле стены, согнувшись, будто от боли, и правая рука так и осталась вытянутой, охватывая не донесенную до яслей охапку сена. Голова его, лежащая на сене, была повернута к окошечку, к свету, и на губах, уже покрытых потусторонней бледностью, таилась еще здешняя, живая печать какого-то сожаления. Будто хотел Федя сказать людям что-то свое, сокровенное, да вот не успел...

Хоронили Федю всей деревней. Даже Авдей Шароглазов, не любивший Федю, и тот принес свое грешное тело на кладбище. Вокруг гроба стояли Федины дети, смотрели на отца, от которого уже и поотвыкли, роняли тихие слезы. Авдотья, вся в черном, неподвижно лежала на краю гроба, и казалось, что она тоже умерла.

— Как живой, бабы, как живой, Федюшка-то, — слышался в толпе чей-то шепот. — Того и гляди: встанет сейчас да засмеется.

— Дак безгрешный был-то, бабоньки. А кто не грешил да умрет, по лицу увидишь.

— Легко жил, жаланненький, легко и помер.

— Правда, любушка, правда. Как жил, так и помер.

— Бабы, бабы, поглядите-ко на Никиту-то. Никита-то, Маляров-то как убивается.

И действительно, Никита Маляров плакал громче всех, никого не стесняясь, плакал так, будто отрывал от сердца что-то такое, без чего ему не жить, и в глазах его, заполненных слезами, отчаянной тоской отражалась эта, казалось, невосполнимая утрата.

Были и речи. Нескладно, но горячо говорил пенсионер-активист Родькин Егор Филиппыч. Говорил, говорил, но не договорил, махнул рукой и этим махом выбил из рук стоящего Степана Ракова кепку. Говорил представитель из военкомата. Потом еще кто-то говорил. А Федя лежал в гробу, сложив руки, и — длинный, загадочный — спокойно дожидался, когда кончат говорить, когда его тело положат в землю, когда сомкнется над ним вечная тишина, и ушедшие ранее примут его в свою семью...

Послышался стук земляных комьев о гробовую доску.

Закричала Авдотья.

С кладбищенских берез срывались и падали на землю последние в этом году листья.

Расходились медленно, усталые и осиротевшие. Мужики шли кучками, курили, молчали. И только когда отошли от кладбища на порядочное расстояние, Боря Обухов, вздохнув, сказал:

— А жалко все-таки Федю. Веселый мужик был. Теперь и веселить-то некому бу...

И осекся, глядя на остановившегося Никиту Малярова.

— Что ты сказал? — спросил Никита. Спросил тихо, но все сразу остановились. — Что ты сказал, я спрашиваю? Жалеешь, что некому теперь веселить тебя? Веселья тебе хочется? — Губы у Никиты задрожали. — А ты ему в душу заглянул хоть раз, а? Ты в душу ему заглянул?! — вскричал Никита и вдруг бросился с кулаками на удивленного мужика.

— Э-э... Эй, — закричали мужики, поняв, что Никита не шутит, и драки, пожалуй, не миновать. Степан проворно подхватил Никиту своими длинными

руками, потянул его в сторону. Никита успел все же раскровенить Боре нос. Борю увели к реке умываться, а Никита еще долго кричал, пытался вырваться из Степановых объятий. Потом притих, попросил Степана отпустить и ушел домой, безмолвный, поникший, с тоской в глазах.

3

— Ну, бабы, не знаю, что у меня и за мужик,— жаловалась, бывало, Авдотья Коровушкина.— У вас мужики как мужики, а у меня — как пыльным мешком ударенный. На той неделе опять своих журавлей ходил провожать. Пришел, дак ни слова не сказал, не поел ничего, так на кровать и завалился не емши-то. Беда прямо. Ведь сколько годов живу с ним, а не могу понять, что за мужик.

— Правда, Авдотьюшка, правда,— сочувствовали ей бабы.— Уж Федор твой, дак весь Федор, не пол-Федора. А отец у него дак еще чище был. Бывало, купит бочку пива, сядет на дорогу и угощает всех подряд. Вот тоже покамедил.

— Да, бабы, такой, такой, был. И на месте-то ему не жилось. Всю Ладогу объехал, а так ни копейки и не нажил. Как нищий и помер.

— И этот от папушки недалеко ушел.

— Какой пень, такой и отростень.

— Ну, этот хоть на месте живет, не болтается...

— Не болтается, а тоже добр парень есть, добр, нечего говорить...

— А сколько сена-то цыганам отдал...

— И крыша-то вся мохом обросла. Авдотья, ты скажи ему, пусть крышу-то перекроет.

— Перекроет... лешего в стуле.

— Вот ведь, бабы, какие мужики бывают. Мой-то вон и выпить любит и другой раз загорбятника даст, а хозяйство содержит, жаловаться грех.

— А мой-то оноmesь напился, тьмы не видит, и давай кричать: «Из-за тебя, из-за тебя у меня волосья выпали!» Я ему руки-то связала да такие волосья дала, дак утром все дрова переколол.

И бабы наперебой заговорили о своих мужьях. Потом разговор зашел о новых сапожках, которые завезли в селпо, потом о письмах, пришедших с города от

детей, потом о свежем хлебе, потом о кофточках... и так далее, до бесконечности. А Федя Коровушкин был забыт до другого раза.

И зимой и летом через деревню время от времени проезжали цыгане. Ехали они с семьями бог знает куда, сложив на одну-две повозки свой нехитрый скарб. Глядя на них, нет-нет да и вздохнет завистливо иной мужик. Ему-то, крепко привязанному к работе, дому, семье, не дано узнать, что такое дорога, ведущая в неведомую, полную радостной неизвестности даль. Да и вздумай нынешний мужик куда-то сподобиться, — ему на повозку свой «скарб» не уложить: подавай грузовик, а то и два. Шифоньер, холодильник, стиральная машина, телевизор, диван-кровать... нет, тут да же и к бабкам не ходи. Да и кровь не та, спокойная, северная, без толчков.

Минуя деревню, цыгане не упускали случая чем-нибудь поживиться, попросить. Цыганки, те обеде заботятся: подвяжут к поясу концы передников и ходят от дома к дому, христарадничают. Жители им не отказывали: кто хлеба даст, кто стряпни какой-нибудь, а кто и молочка плеснет. Были, конечно, и такие, кто, завидев цыган, накидывал крючок изнутри: мол, нечего кланчить, работать надо.

Федю цыгане никогда не обходили. Чувствовали будто, что тут живет нежадный человек. И правда, Федя без лишних слов наливал цыганкам молока, выгребал из кухонного шкафа всю стряпню, совал в передник конфет — ребятишкам. Авдотья, глядя на Федю, только охала, но вмешиваться в таких случаях не решалась.

Приходил какой-нибудь дюжий, подсаистый цыган и, блестя жгучим глазом, просил сена «на погонялочку». Федя лез на сеновал, скидывал оттуда добрую копну. Цыган растягивал на земле погонялку, кидал на нее копну и, падая, яростно мял сено коленами, вжимал руками до тех пор, пока копна не превращалась в копеночку. И стыдил Федю:

— Хозяин, ну что же ты дал-то уж? Подкинь еще-то, не скупись, не гневи бога.

Феде и в самом деле становилось стыдно, и он обрасывал еще охалку. Охалка тут же уминалась, цы-

ган затягивал погонялку, взваливал сено на спину, подмигивал Феде и, смеясь, уходил. Федя шел за ним с подбегом, заглядывал в глаза, робко спрашивал:

— Далеко едете-то?

— Далеко, мужичок, далеко.

«А куда?» — хочет спросить Федя, но не решается, да и цыган уже, кинув на повозку сено, трогает лошадей.

Федя долго стоит у ворот, провожая взглядом веселую цыганскую повозку, на которой трясется его сено и корчат рожи черноглазые цыганята. Цыгане уже исчезли, скрылись за поворотом, а Федя все стоит и смотрит.

«Э-эх», — вырывается наконец из его груди шумный вздох, и в этом вздохе слышится и зависть, и обида, и сожаление. Федя машет рукой, закуривает, ломая спички, и уходит куда-нибудь на одинокий простор, подальше от деревни, от людей.

Каждую осень, в начале октября, Федя уходил за деревню провожать журавлей.

Но перед этим он обычно заглядывал в сельпо и покупал самых дорогих конфет. С кулечком в руке он несмело поднимался на крыльцо к Никите Малярову, стучался в дверь. Никита уже знал, с какой целью идет к нему Федя. Добродушно посмеиваясь, он приглашал Федю выпить чашку чаю, но Федя решительно отказывался, бормотал невнятно про погоду, про то, что вот улетають уже и скворцы, и жаворонки, и что в лесу опят — видимо-невидимо. А потом, прокашлявшись, говорил виновато:

— Ты, Никита Алексеевич, уж отпусти со мной Дашутку-то. Сам понимаешь: надо...

Дашутка, школьница, сидевшая за столом, опускала глаза, потом вскидывала их на отца, просительно смотрела: «Пап, ну можно, а? Можно, я с дядей Федей пойду?»

Никита озабоченно вздыхал, спрашивал:

— Дак пошто тебе Дашутка-то? Вымокнет еще под дождем, заболает, навозишься потом.

— Ну что ты, Никита Алексеевич, — пугался Федя. — Да разве я допущу? Да ни в жисть!

Никита знал, что без Дашутки Федя не уйдет. Поломавшись для порядка, он махал рукой:

— Делай как знаешь.

Дашутка выскакивала из-за стола, стремглав бросалась одеваться. Федя, стесняясь, благодарил Никиту, выходил на крыльцо. Через минуту выбегала Дашутка с книжкой в руке.

— Ой, дядя Федя, ой, что я про журавлей-то нашла, — громко нашептывала она Феде. — Так хорошо написано, так хорошо, дак просто не могу.

— Ну, что, что ты там нашла? — спрашивал Федя.

— Ой, да там прочитаю, там, дядя Федя. Я как увидела, дак сразу поняла: уж это-то стихотворение обязательно дяде Феде понравится.

Радостно переговариваясь, уходили они за деревню — высокий, худой старик в кепке с длинным козырьком и маленькая девочка в синенькой курточке. Они пересекали клеверные поля, тянувшееся от деревни к лесу, и выходили к старой раскидистой сосне, одиноко стоявшей на берегу реки. Присев на тщательно обкошенный кем-то холмик, девочка раскрывала книжку, читала стихотворение. А старик слушал, прикрыв глаза.

— Ну, как, дядя Федя, понравилось? — спрашивала Дашутка. Федя призначительно качал головой:

— Хорошо, Дашутка, хорошо. Погоди, вот дождемся журавушек, ты уж постарайся, постарайся для старика-то...

И они ждали, вслушиваясь в тишину, смотрели на север, приложив по привычке ладони к глазам. И вот вдали, за лесом, зарождались знакомые звуки. Дашутка упруго приподнималась и, вытянув шею, шептала тихо:

— Летят, дядя Федя, летят.

И вот они появлялись.

Высоко над землей, разрезая серое грустное небо пополам, летели в сторону юга большие печальные птицы. Они покидали родину, и над зыбкими осенними полями плыли их прощальные крики. Федя, строжея лицом, поднимался, сдергивал с головы кепку и взмахом руки приветствовал их появление. От нахлынувшего волнения он не слышит, как Дашутка уже начала читать стихотворение. Но вот ее звонкий голос все громче доносится до Фединого слуха, и слышит он

плавные, размеренные, словно взмахи крыльев, строки стихов:

Широко на Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.

Журавли уже летят над головой, и в Фединых глазах, неотрывно следящих за их полетом, копится что-то невысказанное, а руки мнут, терзают старую, потрепанную кепку.

— Даша,— говорит Федя, и Дашутка понимает его: чем дальше улетают журавли, тем громче, надрывнее надо читать. И Дашутка читает:

Широко на Руси машут птицам согласные руки,
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей....

А журавлиный клин становится все меньше, все тише их унылое курлыканье.

— Да-ша,— просит Федя и зажмуривает на мгновение глаза. И Дашутка почти кричит:

Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа,
Оттого что — молчи! — так никто уж не выразит их...

Дашутка смотрит на Федю. Федя стоит неподвижно, подавшись всем телом вперед, глядя в ту сторону, куда улетели птицы.

— Я пойду, дядя Федя,— тихо говорит Дашутка.

Федя не слышит ее. Как-то враз обмякнув, он садится на землю и, худой, одинокий, словно прислушивается к чему-то в себе. Дашутка знает, что сейчас Феде мешать не надо. Она подбирает кулек с конфетами и, взглянув напоследок на Федю, убегает в деревню.

Как-то Федя сидел на поженке возле почты и курил, улыбался, переживая смех, вызванный его очередным веселым рассказом.

Неожиданно широкая улыбка на Федином лице начала бледнеть, гаснуть и наконец исчезла совсем.

Федя увидел приближающегося Авдея Шароглазова. Лицо у Авдея было красным, решительным и не сулило ничего хорошего.

Авдей Шароглазов — кладовщик, мужик выше средней упитанности, с короткими ногами колесом. Никто не мог толком понять, почему Авдей не любил Федю и при каждом случае старался зло посмеяться над ним.

Когда-то Авдей был веселым, бесшабашным парнем, и вокруг него всегда крутились девки. И в среде сверстников он был на хорошем счету. Но мать заставила его жениться на тощей, жадной до работы Агашке Дуровой, которая, став женой Авдея, вечно корила его за бесхозяйственность. И мало-помалу Авдей стал петь под дудку своей благоверной, а когда стал кладовщиком, то бес наживы окончательно поселился в его душе. Подозрительность, недоверие, бабья крикливость, даже озлобленность — все, чем наделены небезгрешные люди, стало достоянием Авдея. Но где-то в глубине души, под толщей нажитых грехов, трепыхался, не хотел гаснуть крошечный огонек бунта против всего, чем опутался Авдей; трепыхался, а наружу вырваться не мог. Наружу вырывались желчь, неумные сплетни, зависть. И потому, завидев, как собираются вокруг Федя мужики, он спешил туда, на ходу придумывая что-нибудь ехидное. Да и не надо было ему ничего придумывать. Один вид кладовщика портил всем настроение и прежде всего Феде...

— Эй ты, балаболка долговязая, — закричал Авдей, приближаясь и глядя на Федю возмущенными розовыми глазками. — С каких это пор ты воровством стал заниматься, а? — И вдруг, топнув ногой, взвизгнул: — Чтоб щас рубаха была на месте, а то я не знаю, что с тобой сделаю!

Федино лицо недоуменно вытянулось. Он пожал плечами, жалостливо посмотрел на мужиков.

— Какая рубаха, Авдей Николаич? — спросил он тихим напуганным голосом. — Я не брал никакой рубахи.

— А-а! — торжествующе закричал Авдей. — Ты не брал, он, видите ли, не брал. А кто вчера в двенадцать часов ночи у моего огорода ходил? Не ты, что ли? Я видел! Собаки зря не залают. Новая рубаха, — продолжал Авдей, обращаясь к мужикам, — раз всего

надел, пятно посадил, баба выстирала, сушить повесила. А утром глядь: рубахи нету. А этот друг ночью по берегу ходил-похаживал. Я-то думаю, что он ходит, а вон он что ходит: на рубаху прицеливался.

— Я не брал рубахи, — снова сказал Федя и, посмотрев на мужиков, повторил: — Я не брал, честное слово.

Мужики озадаченно молчали.

— Тут что-то не так, — заговорил Никита Маляров. — Феде чужого и даром не надо, я знаю. Точно, что ли, рубаху украли? — спросил он, недоверчиво посмотрев на Авдея.

— Да как же нет-то? Рубаха-то улькнула, и следов никаких нету. А этот ходил вчера по берегу. Я видел.

— Ходил, что ли? — спросил Никита Федю.

— Ходил.

— А пошто?

— Так. Смотрел... на небо, на реку...

— На реку надо днем смотреть, а не ночью, — закричал Авдей, — да не у чужих домов. На реку он смотрел...

— Ладно, — с досадой проговорил Никита. — Не жаботай¹ ты. Зажаботал. Надо спокойно выяснить, что к чему. Чего на Федю набросился?

— Не брал я рубахи, — твердил Федя. — На что она мне?

— Не брал... Кто же брал? Кроме тебя, на берегу никого не было. Ну, если ты мне рубахи не вернешь, — снова вскинулся Авдей, — дак я тебе сделаю, век будешь помнить.

Федя посмотрел на него бесконечно грустными глазами, встал и, сгорбившись, медленно пошел в сторону своего дома.

— Федя, — закричал Никита, — да ты подожди, подожди, сейчас разберемся.

Но Федя продолжал идти.

— А ну, пошли на огород, — сердито сказал Никита Авдею. — На месте разберемся.

Все двинулись к дому Шароглазова.

— Он, он, больше некому, — приговаривал Авдей, едва поспевая за широко шагавшим Никитой. — А я

¹ Ж а б о т а т ь — кричать громко, грубо.

то сначала не допер, думаю, что он ходит? А он, оказывается, к рубахе прицеливался: как половчее цопнуть.

Вся компания во главе с Никитой уже приближалась к дому Авдея, как вдруг из переулка на дорогу выбежал сын Нюрки Хваталовой — Петька.

— Дядя Авдей, дядя Авдей! — закричал он. — Ваш баран там какую-то рубаху на рогах таскает, красную такую, с белыми пуговицами.

Все остановились.

— Ну что, крикун? — нахмурился Никита. — Накричался, отвел душу? Иди, забирай свою рубаху.

Как потом выяснилось, ночью рубаху унесло ветром. Она упала на крапиву за изгородь и там пролежала до утра. Утром по берегу проходили овцы, и круторогому барану Авдея Шароглазова очень не понравилась красная тряпка, свисающая с крапивы на тропинку. Он поддел ее рогами, а сбросить не мог, только сильнее накрутил на рога, да так и пробегал, пока его не заметил Петька.

— Куда Федя ушел? Кто видел? — спросил Никита.

— А он к своей бане пошел, — сказал кто-то из мальчишек.

Никита, а за ним и остальные ватагой поспешили к Феде.

Федя сидел на траве за баней, обхватив руками колени, и смотрел вдаль, туда, где за колоссящимся полем темнел лес и глубокое небо источало невинную, как взгляд ребенка, синеву.

— Не брал я рубахи, — тихо сказал он, не глядя на подошедших мужиков и ребятишек.

— Да нашлась рубаха-то, Федя, — сказал Никита, — успокойся. Ветром ее унесло за огород, а баран Авдейкин утащил в поле. Нашлась рубаха-то, слышишь?

Федя медленно поднял голову, незнакомым, каким-то далеким взглядом обвел собравшихся людей. И все неожиданно для себя увидели, что перед ними сидит не просто Федя Коровушкин, а человек, давно и глубоко тоскующий о чем-то большом, чистом и неразгаданном.

ВЕСЕЛАЯ ЗАИМКА

«**В** он она, Заимка-то наша, из-за леса высовывается», — отмечает про себя Пахнев, глядя сквозь полузамерзшее автобусное окно. Он ждет, когда минуют мостик, оттуда Заимка вся откроется взору своим высоким лобастым угором. Хочется ему издали определить, сколько берез осталось стоять на том родимом угоре. «Ага, Олешины, Федюнихины, Фофановы и Поликсеньины, и наши, кажись... да многие еще стоят,— считает он, шевеля губами.— А нижнего-то конца нет — голо!»

Дорога повернула, и желанный вид знакомого места пропал из глаз.

Пахнева две недели держали в городе на готовой скудной еде и водили на работу вместе с другими скалывать на улицах лед.

Мужик отошал, осунулся и сейчас, сидя в автобусе, немного мерз от долгой дороги и время от времени натягивал шапку поглубже на глаза. Там, под ушанкой, волос не было, их пришлось оставить в камере предварительного заключения, где и отбывал он впервые в жизни наказание.

Целый месяц до этого случая Василий Пахнев ремонтировал свой трактор в мастерских. Можно бы и побыстрее сделать ходовую часть, да не было на складе шестерен в коробку передач. А Василий уже привык за месяц вальяжничать. Зима. Трактористам работы мало. Можно и отдохнуть. Был он человек, хотя и работающий, но медлительный, отчего и прозвище

дали — Мерин. По нраву ему такое зимнее межсезонье, когда можно не торопиться.

И тот день был пустым и тягучим.

— А куда мне рваться-то? — спрашивает тракторист сам у себя и сам отвечает:

— На лешака ли? Пускай Игнат Мелехин путается по сугробам. Это ему все мало.

Игнат тоже тракторист. Корма возит на стаю, а вечером или по выходным его ДТ мнет сугробы в лесные урочища, где машет вершинами дородный березняк, и волочит хлысты то к пекарне, то к школе, а то и деревенским. Мало ли старух и стариков, которые рады такой услуге. Хорошо Игнат зарабатывает, и в хозяйстве крепость да достаток.

— На лешака ли? Нет уж, — не соглашается Пахнев и неспешно режет ножницами оцинкованное железо на одинаковые полоски.

— Чего, Васька, ладишь? — спрашивает заведующий мастерской.

— А чего?

— Твой, что ли, материал-то? Ведь на работе ты.

— Для себя, что ли?.. Как смеешься!

— А чего будет-то? — уже спокойнее спрашивает заведующий, зная, что Васька лишней работы делать не станет, лучше просидит с табаком.

— Улицы не подписаны, дело ли? Пособи-ка написать получше, не на день ведь.

— Чего писать-то?.. Черным бы...

— Конечно, лаком, чтобы на белом-то ясно!.. Вот, значит, наша улица Заимская будет. Нас ведь шесть хозяев с Заимки — все тут.

— Шасские вон по угору, значит, так и напишем: улица Шасская...

— Сколько у нас на Взманове деревень-то собралось?

— Десятка, поди, более.

— Ишь, Взманово-то разрослось. Домов сорок было, а ныне до сотни... В газете как-то читаю, что за время колхозной жизни село Взманово выросло в два с половиной раза. Это по домам-то.

— Верно, чего говорить. Приедет чужой человек: «Где такого-то найти? Где проживает? А у нас в селе все рукой машут: «Эвон, за кривой березой, от колодца до огорода, а потом через дом, дак в тот не хо-

ди, а обратно по другому посаду напрямик с поворотом...» Улицы-то подписать с обеих концов чего стоит, да номера, а можно и так, без номеров.

— Да, Василий... Только надо баско бы написать, как на лозунгах-то, печатными, ровненько... Плаксину давай попросим, она напишет.

— Не будет она писать. Охота ли?

— Чего делать-то ей в библиотеке, как не буквы писать?

Пахнев отнес в библиотеку железо, бутылку с черным кузбасским лаком и маленькую кисточку для печатанья.

Плаксына сидела у топившейся печки и читала книгу. Она обрадовалась читателю, вскочила, отложила книгу в сторону.

— Мы, Мария Савватеевна, к вам с просьбой... Вот дело какое,— мягко начал разговор гость, разворачивая на газетных подшивках мешок с железными выкройками.— Нам бы написать надо...

Плаксына неохотно взялась за дело. Кузбасслак пахнет резко, и, может, это библиотечарше не понравилось, а может, то, что оторвали от чтения, и она начала допрашивать Ваську: «Кто? Да почему? Да откуда названия улиц? Заимская, Шасская, Починковская, Светлогорская — по названиям бывших деревень?» Когда седьмую вывеску начала писать, Плаксына воспротивилась: «Не Дрищёвская, а Дружковская». Ваське бы только смолчать, а он, тугоум, где не надо-то язык высунет, да поперек.

Тракторист Васька с ученым человеком спорить начал, когда и без того ясно, что Дрищёво — не благозвучно, потому со времен первых выборов да сельсоветских протоколов и договорились эту деревню Дружковым именовать.

— Да нет и нет!— кричит Васька.— Люди веками в этой деревне жили, гордились, наверно, а нам стыдно...

— Жи-жи-жи,— большим оводом запел аппарат в руке библиотечарши.

— Василий Андреевич! Алё! Это вы? Здравствуй-те! Плаксына вас от дела отрывает. Вот дело-то какое.

— Ну, ну, говори.

— Тут Василий Пахнев спорит, что Дрищёво, а не

Дружково. Скажите ему, что не так. Ну, что Дружково надо писать.

— Какой Василий?— слышится голос председателя сельсовета.— Какой еще Пахнев? Много Пахневых.

— Ну, который. Ну, Александра Павловича-то сын. На Взманове у нас дом его на угоре.

Председатель хмыкнул в трубку.

— Ну, Мерин его прозвище.— Извините, Вася,— скосила она в сторону Пахнева.

— Так бы и говорила... А чего он сидит? Обед, что ли? Работать надо.

— Он таблички принес печатать, названия улиц. Мы и думаем: Дружковская или как?

— Напиши Пролетарская и голову не ломай. Подожди! А на каком основании вы улицы наименовываете? Это дело советских органов. Бери-ка этого Пахнева да ко мне. Живо!..

...Из сельсовета Василий вышел угрюмый. Бутылка с лаком топорщилась в кармане, под мышкой он держал завернутые в мешковину железные выкройки...

Уже к вечеру Пахнев, отметившись дома, достал молоток, гвозди, сволок с подволоки лестницу и отправился на край улицы.

Пока он торил дорожку в снегу вдоль передней стены по палисаду крайнего дома, подошел Игнат. Это был его пятистенный дом, купленный лет восемь назад у Андрюхи, заново им перекрытый и обшитый.

— Ты, Васька, чего ищешь?

— Табличку лажусь прибить.

— Чего это?

— А вот,— выставил Василий оцинкованную железку, на которой чернели ровные буквы: улица Заимская.

— Чего на свою избу не прибиваешь? Приколачивай на свою. Буде так...

— Дак твоя изба-то крайняя, не моя.

— А ты кого спросился, хозяйничаешь?.. Ну, у кого? Может, в сельсовете добро сказали?.. Может, хоть у меня разрешения спросишь?.. Все-таки в мой угол гвоздь наставляешь.

— Это дело, Игнатий, общее, не нами заведено. У всех добрых людей, где надо, улицы подписаны.

— Какие же мы добрые, если без спросу на чужую избу лезем? Нет уж, Пахнев, на мой дом не вешай.

Василий неторопливо собрал все свое имущество и вышел по старым следам на дорожку, выгребая пальцами снег из-за голенищ. На душе у него стало холодно, тоскливо и одиноко, как в молодости, когда один придешь на дальнюю чужую гулянку и ожидаешь нападения местных парней. А кто и откуда подает тебе тумачков, неясно.

Он стоял у самого крыльца и глядел с угора в знакомую даль Орловской стороны, где было раньше много красивых девок, где редкими звездными щепотками начинали мерцать огоньки деревень. На небе звезд еще мало, он знает, что там, вверху, хотя их и не видно, они висят в том же порядке, как и в ту веселую пору, когда Вася Пахнев вместе с другими Пахневыми бегал по гулянкам-игрищам.

Тогда на его родной Веселой Заимке были самые людные гулянья в березовой аллее на Свиной горке. Горку звали так за схожесть со свиной спиной. Там было сухо и в летний дождь, и в осеннюю непогоду. И в посевную там первая борозда. А березовый посад в два ряда и черемуховые куртины были по душе влюбленным парам...

Где-то в душе у Василия шевелилась злость, хотелось что-то сломать, вывернуть, хоть пошатать столб. В годы его молодости в такие минуты парни, будучи на гулянке, нещадно дрались. Когда не было повода, его организовывали, лишь бы разрядить тягость, вкусить победы. Он так и представил, даже вспомнил, как захаживали орловские парни на гулянку на Веселую Заимку и как они с варжаками оспаривали первенство. С гулянок Василий и запомнил Игната. Помнится, наверное, и Мелехину, как попадало ему от тяжелых Мериновских кулаков.

Домой идти не хотелось. С таким настроением только с женой ругаться. Васька бросил железины меж ступеньками под крыльцо и скорым шагом пошел на край улицы.

Вспыхнувший свет в окне старой тетки Катерины отвлек его и остановил. Васька и на ощупь знает Катеринин дом. Он сам помогал перевозить его с Заимки и ставить. Тогда еще был жив Митрофанович. Да

и так Пахнев нередко заходил к старухе: то пособить с дровами, то сена привезти, а то и пятерку стрелнуть потихоньку от жены, когда вина для души не хватает.

— Можно ли? — спросил гость для вежливости, переступая снежной ногой за высокий порог маленькой входной двери.

— Не запнись только у меня, неделю не мывано, — запела Катерина, вставая с разобранной кровати.

Зимой у нее здоровья мало. Она встает только козу обрядить, печь истопить да в магазин дошаршиться, как сама говорит.

— Я, тетка, к тебе посидеть зашел, вижу — огонь в окошках.

— Шапку-то стаскивай, проходи да хвастай.

— Эх-ма!.. Тепло у тебя, и окошки нисколько не заморозило...

— Чего с соседом-то тут делили?

— Чего делить-то? Улицу хотел подписать, мол, Заимская наша улица. А он говорит — не твое дело... Знаю я, чего он. Его дрова к школе возить не позовут, коли он споперешничает... Председатель-то меня оговорил... Василий-то Андреевич. Без тебя, говорит, разберутся, если надо назвать...

Катерина сморщила лицо, вздрогнула, будто икнула, и слезы накопились в ее выцветших глазах.

— Пошто ты, Василий, пришел ко мне? Неуж я тебя звала, любой ты мой... И ты вот с Игнатом...

— Чего сделалось, тетка?

— Ой, Васенька, любой, много ведь мне годов-то. Нисколько ведь не могу. В ясную-то погоду еще ничего, а как задует, ну спасу нет, всю разломит.

— На той-то неделе солнышко играло, — продолжала она. — Хорошо было, и голова не болела, и ноги. Баские были денечки. Мне и затосковалось: в Санковом доме на Заимке — вещи ведь всякие есть, да улыи у него там в голбце-то заколочены. Вот я и наладилась проведать. Дорога, вижу, промята.

Трактора оттуда сено возили, да Мелехин березник таскает, за вершины-то эдак. Я, значит, с утречка и побрела. Лесом-то тихо, хорошо, дорога ровная. Из речки только и тяжело. Ну-ка, в наш угор на Веселую и молодой-то я без передыху не бегала. А тут перед

смертью. Едва отпышкалась. Иду, ласково по снегу солнышко, настик сверкает, а на угоре деревня наша тем концом и показывается. Березы-то рядами да лиственницы. Где еще веселее нашей деревни место найдешь? Старики сказывали, деревне-то нашей годов двести будет, а может, и боле.

Пахнев встал, но Катерина схватила его за руку и усадила.

— Ты послушай меня-то, послушай. Я самовар сейчас наставлю, чайку попьем.

— Я и дома чаю напьюсь. Не торопись, тетка, из-за меня... Вина бы я выпил... Давай буде...

Он знал, что у тетки водка бывает. Хранит на случай мужикам заплатить за услуги.

Катерина помялась, помолчала и выставила племяннику свой запас.

— Место у нас веселое, открытое, на угоре. На речке-то на Куромше прежде ведь четыре мельницы было. Разливы синие, пруды-то, один под другим. Это теперь нарушено. Ну, одну ты ведь застал, помнишь? Теперь на том месте столбики-оскореночки из-под снега торчат. Ну да бог с ней, с мельницей-то. В какой еще деревне такое место увидишь? Я в девках-то была — пятьдесят семь домов было. Дома-то какие! Дворца со взвозами, пятистенки с боковушками. У одного Груньки Доживала крыльца хорошего не было, дак на него кто глядел-то?

Катерина помолчала, словно всматривалась старыми глазами в прошлое, продолжила:

— Экие дома, как терема по угору на версту, да все в один посад, а по переду березы белые двумя лентами, прогон-от. Гулянки какие бывали! И сейчас ино гулянка приснится. Встану и вырвусь... Может, из-за берез-то у нас и игрища собирались. А ведь березы эти не дикие, завечные они.

— Как завечные? — перебил ее племянник, наливая в стакан из початой поллитровки.

— Со словом, значит, сажены, для завету, для памяти... Первые-то, от больших ворот, шибко толстые, тем уж по двести, полтораста лет, не меньше. Еще, говорят, тогда сажены, когда мужики на француза ходили. Мужиков в солдаты брали на 25 годов, считай, уходили насовсем... Вот они и завечали своим березу в память. Мало, говорят, ворочался какой. А

березы оставались. На заработки надолго уходили, тоже садили. Особо много березонек прибыло в японскую да в германскую войну, когда тятя мой, покойничек, царство ему небесное, уходил. А эта-то война началась, деревня вся была загорожена березами в два ряда. А сколько, думаешь, с Заимки-то ушло народу? А только на тумбе вон у сельсовета тридцать четыре фамилии заимских-то, а ведь еще в плен попали, да без вести, да померли от ран. Всего, может, сто человек, всех-то не пишут. Ну, пусть поменьше. Дак вот того лета, когда забирали ребят, они всей ватагой березы-то и садили — воз привезли. Третью-то линию не стали вести, чтобы деревню от света не загораживать, а так леском, рощицей и воткнули у ворот да за воротами. Некрутижной ведь оттого зовут. Зря, что ли?..

Катерина утерла подолом глаза и продолжила свой рассказ.

— Так вот, Васенька, иду я из-под горы к деревне-то нашей, от Перелаза из-за угорчика нижней стороны не видать. Некрутижника-то. Только слышу, в другой стороне все визжит чего-то. Поросятку неоткуда взяться, думаю, деревня нежилая. Ну, думаю, самолет летит. Я уж и платок отщеперила и помолилась, — визжит, и все. Вышла я из-за угорочка, поднимаюсь, иду, иду, а где все-то, куда место-то родное уехало? Вася, любой!.. В том старом конце, у самой уж у Дуни Оленишны береза на огород как падет... Я ну-ка бегом... Уж как бежала... Ору... А он, дьявол, ну-ка, услышит ли, пилит-то... «Дружба» у него. Визгу-то! Он в березу пилой бензиновой уперся. Пилит березу-то... За-ве-че-нную-то!.. И вся рощица и половина прогона вповалку, как снопы на поле, как дедушки наши побитые... Вот где я и заревела. Пала на березу на поваленную, и катаюсь, и реву... Тут он, дьявол, и подбежал.

— Чего пришла? — говорит.

— На твое бесстыжее злодейство посмотреть да в глаза плюнуть. А про себя-то и думаю: «А ведь душа чуяла, позвала». Подошла я к нему, он и не шевелится. Я в его индевелое-то лицо посмотрела и плюнула на сторону. Он сразу утерся, видно, сообразил, что наделал.

— Ты же,— говорю,— человек или кто, через лес ведь ехал... через березник.

— Хватит, тетка! Я его задавлю гада пойду!

— Ой, что ты, Васенька, говоришь. Тебе ли в тюрьме сидеть, золотому? Али и по тебе тоскливые песни петь? Теперь уже не воротись... Ходила я к пекарне-то, молодые березы из рощицы наволочены. Я у девок чурбачок попросила. Едва донесла. Вон он под подзором, любой. Пока жива, я его хранить буду, как своих сынов ненаглядных. Двое у меня не пришло, да и Санушка оттого не пожил... Ты, Васенька, знай, да до поры никому не рассказывай. Не тебе, так мне беда будет. Он век свой тихо, а без закона живет. Ему чего? Ему ничего...

— Ладно, тетка, ужо...

Пахнев выдержал все вино, втолкал Катерине в руки трояк, хотя она никак не хотела брать, и вышел на улицу.

Около магазина и пекарни снуют собаки, принявываясь друг к другу. Дух горячего хлеба и собрал их к пекарне со всей округи. Они знают, что когда хорошо пахнет, тогда и им будет хорошо. То мужики оставят на ящиках изощипанную буханку вместе с бутылкой, то ребятишки приласкают и хлеба отломают, то сами пекарихи выбросят неудачу. Собакам привольно, и они терпеливо слоняются с подветренной стороны.

На крыльце магазина похохатывают механизаторы. Мужики и парни угощают друг друга табаком, весело перемигиваются: они уже согрелись стаканом водки, и им сейчас хорошо. Если принесут домой две-три буханки хлеба, жены их не будут ругать за то, что выпили без порядка. Ведь хозяек тоже надо понять. Какая из них умеет хорошо печь хлеб? Редкая. Да и муки у многих нет, разве на блины да шаньги. Вот и покупают хлеб в магазине. В хорошую погоду возят из города и черные караваи, и батоны, и булки, а в непогоду дороги сюда нет. Не одно Взманово в метель оставалось без городского хлеба. И в такие дни хлеб пекли в старой пекарне.

Очередь в магазине сгрудилась плотно, и уж сейчас никто не выйдет из очереди, чтобы потом не оспаривать, не объясняться и не стоять лишний час.

Васька Пахнев тоже занимал очередь и пришел на свое место. Его не видно за углом печки, а он молчит себе и слушает, о чем говорят другие. Ваське тоже хорошо, пьяность приятно разлилась, слабила и грела тело.

В магазин гурьбой прибежали конторские, и дежурившая за них в очереди девушка-счетовод поставила их впереди себя. Очередь удлинилась и для Василия. Они весело переговаривались, толкуя о начислении зарплаты, а другие с интересом прислушивались и не перебивали. Прибежали гурьбой подростки, встали крайними, все толкались, щипались, дергали друг друга, и их оговаривали женщины постарше.

Василий Андреевич вошел в магазин степенно, поздоровался и встал за подростками. Те продолжали переталкиваться и щипаться, и ему пришлось унять их.

В оконную амбразуру с улицы начали совать большие буханки, и в магазине исчезли все запахи, кроме одного — хлебного.

— Что ни говорите, а на сосновых дровах такого духа не будет. Жар не тот, да и смола другая, — с удовольствием заметил Василий Андреевич. — Тятя раньше говаривал: «Хлеба горячего с толченым луком намакаюсь да квасом запью, мне и мяса не надо...» Тятя до 82 годов жил. Он уж соснового или осинового полена на дворе не держал. И березник-то с сухобора, да все чистняг выбирал.

— Чего про прежнее говорить, Василий Андреевич. Нам хоть бы какого-нибудь досталось, — заметил кто-то из баб.

— Должно хватить, в две печи работают.

— Дак ведь туда повезут, да еще куда-то, опять и не достанется.

Сельповские хлебные стеллажи заполнились глыбами буханок. Продащица, подписав накладную, начала отпускать по две ковриги в руки. Первыми получили носильщики, так уж заведено, и никто не спорил.

Бабы брали не только хлеб, просили сахару, масла, посылали продавщицу за крупой и конфетами, многие брали вина к бане, и поэтому очередь двигалась мучительно медленно, как машина-полуторка по дикой осенней дороге.

В магазин зашли возбужденные, веселые мужики,

и с ними Игнат Мелехин, облизывая обветренные толстые губы. Они постояли у дверей, пошептались, что-то передавая друг другу, и Игнат подступился к прилавку.

— Ну-ка в очередь, нечего нахальничать, — заговорили дальние женщины.

— Да мне вина одного и надо-то... Люся, дай белую... А на сдачу, там буде, буханку-другую.

Продавщица сначала не обращала внимания, а потом не глядя, заученным движением взяла пятерку, выхватила из ящика бутылку, подала. Разговаривая с очередной покупательницей, продавщица прикинула на весах две буханки и, положив на одну пятак, подала через головы в Игнатовы руки. Он передал буханки другим мужикам. И все гурьбой ушли за двери.

Очередь напряженно терпела, наполняясь шушуканьями, тихими разговорами, смешками. Трое или четверо покупателей подряд взяли один только хлеб, и очередь продвинулась, стало свободнее.

В магазин снова вошел Игнат, уже один, с пустой бутылкой в руке.

— Посудину, Люся, взяла бы, жалко бросать.

— А рубль-то зачем суешь?

— Хлеба мне надо бы три буханочки.

— Да ведь брал уже.

— Чего такого-то? Своим-то работникам пожалела... Забрали у меня мужики-то.

Люди в очереди завозмущались, иные даже громко заругали Игната.

— Кто вам дров навозил? На моих дровах пеко-но! — Тракторист стоял и не брал обратно рубль. Люська наконец взвесила две буханки и протянула опять через головы, как в тот раз. Он не удержал хлеб, и одна из буханок упала, ударив чью-то девочку, которая с испугу заплакала.

От печки метнулся Васька и, схватив Мелехина за грудь, правой рукой выхватил у него ковригу и изо всей силы стукнул ею по Игнатовой голове. Буханка переломилась и дохнула горячим паром.

— Это тебе за дрова, за березы, падла! — неторопливо сказал Пахнев и прижал излом буханки к Игнатовому лицу.

От такой горячей печати Игнат захрипел, вертя головой.

Василий, расталкивая всех, попятил его к двери и, притянув к себе, изо всей силы толкнул его вместе с горячим хлебом на дверь, на крыльцо, на метельную улицу.

— Мерин! Гад! М-мерин! — завопил Игнат на крыльце, и пьяные мужики вперед него ввалились в сельпо.

Василий Андреевич встал им на дороге и крикнул:

— Пошли вон!

Мужики опешили, застыли в дверях.

— Мы сами с ним разберемся, сейчас вызовем милицию и разберемся, он ответит, — твердо заявил им председатель.

— Отвечу! Отвечу! Я вам всем отвечу! — закричал Васька, переступая посреди магазина в толпе людей.

— Обрадовались, голодные! Хлеба напекли! У, курвы!

— Пахнев! Прекрати выходки, за это под суд пойдешь!

— И пойду! И он пусть идет, подлюка! Он безрезник-то с Веселой Заимки привез. Он Некрутижник спилил, прогон весь свалил... Он память всю нашу вырезал! Уй... Задавлю!..

Бабы схватили Ваську под руки, пытаются завести его снова за печь, но он потрясал кулаками, поднимая заодно и баб на руках.

— Ты за хулиганство ответишь, Пахнев! Пятнадцать суток тебе обеспечено, это факт!..

— Ну и вали, вези! Испугался я твоих суток! Чего не везешь?

— И увезут, если надо, что ты храбришься?

— Ну вези, вези, не всех ли перевозили так... Это какое число будет, когда ворочусь-то?

Все замолчали, не зная, что предпринять.

— Какое, спрашиваю, число будет?.. Молчишь?.. Так вот, как ворочусь, председатель, ты к этому дню мне паспорт нарисуй нового образца с большой карточкой. А карточки у моей бабы спросишь. Приготовлены были... Вези давай, буде, на чем ладишься? А по весне на моем тракторе пахать поезжай на Свинки под Веселую мою Заимку. Там рано тает у самого прогона...

Пахнев отстранил председателя и, отшибив мужиков от двери, вылетел на улицу. Там снова завязалась драка...

Там и связали Пахнева, увели в сельсовет и оттуда на тракторе увезли в милицию.

Потом рассказывали, что кое-кто из пожилых не стал в тот день брать хлеб и ушел из магазина пустой.

...Дорога местами была скользкой ото льда, и казалось, сейчас понесет автобус боком и хлопнет его на сторону. Так бывало на взмановских угорах. Но машина шла уверенно, видно, шофер был человек бывалый, сноровистый.

Солнышко прогревает через стекло, кое-какие откосы на припеке оголились, там, за стеклом, пахнет весной, а в автобусе — выхлопным газом. У Василия немного побаливала голова. «От газов и есть», — сообразил он и утешился, что вообще-то здоров. Две недели не бывал, а будто вечность прошла с того вечера, как увезли его на тракторе в город.

И вот сейчас, осунувшийся и бледный, ехал Василий домой на Взманово. Обиды никакой не было. Думалось о том, привезла ли жена сено с полосы, не растаскали ли с его разобранного трактора части, как-то без хозяина слушаются дети и учатся, может ли без него тетке Катерине? Чем он будет заниматься сейчас, если с трактора ссадят за отсидку? Обо всем он успел подумать за дальний путь, глядя на рожденные весной ручьи.

Автобус сильно подбросило на раскате. Он поубавил ход. На самом въезде в село Василий увидел широкую голубую доску на новом столбе и яркую надпись: Село Взманово — 87 км.

А на крайнем доме, на углу — улица Пролетарская. Надпись была сделана на такой же железине, какие вырезал он, Пахнев.

Василий вскочил с места прежде, чем приехали к остановке у сельсовета. Выйдя из автобуса, он быстро пошел домой, глядя себе под ноги, о чем-то сосредоточенно думая.

Только у Катеринино дома он бросил взгляд на окошко, в котором жмурилось знакомое старушечье лицо.

Заметил он и то, что у Игнатова дома вдоль палисада и у двора желтеют длинные, как заборы, поленицы свежесколотых дров. Там, где начиналась клетка,

Василий по подкладкам под поленницей определил, что складены дрова второпях на снег и, когда растает под ними, они раскатятся, не помогут ни подпорки, ни огород.

— Чего не заходишь, чего не попроведуешь? Ну-ка давай! — Это Катерина выбралась на крыльцо и машет.

— Дома ждут... Приду, буде, после... — ответил ей племянник, и взгляд его убежал на передний угол Мелехинского дома, где красовалась вывеска: Улица Заимская. Василий помахал старухе и пошел к дому.

Под крышами перезванивала капель, пели на поветях петухи, а на заднем огороде пахневского приусадебного участка сидел грач и оглядывался, видимо, только что вернулся с чужбины.

В весенней звонкой тишине слышно было, как уркает где-то трактор-дизель, будто тянет в гору пятилемешник и надрывается... Будто на Свинках он под Веселой Заимкой, где рано сохнет.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Под утро Карташову приснился сон. Бессмысленный, путаный, как и все сны. Снилось жена, с которой он не жил уже давно, лет семь. Они куда-то идут, жена отстает, отстает, и уже рядом с ним не жена, а нечто расплывчатое, неопределенное, наподобие облачка, неуловимо тающего в жарком небе. Затем ни с того, ни с сего, как это обычно бывает во сне, в руках у него новенькие дверные петли, черные, с раззенкованными дырками для шурупов, блестящие магазинной скользкой смазкой. И мнится ему, что откроется сейчас что-то очень важное, надо только малость потерпеть, подождать. Но терпеть недосуг, он напрягается душой, насильно пытаюсь проникнуть в скрытую от него тайну.

В этот миг на постель к нему вспрыгнула кошка. Вкрадчиво проступая лапками сквозь одеяло, кошка прошла по ногам, помедлила и улеглась, мягко и тяжело привалившись к левой ноге. Карташов сознавал, что петли — сон, но глаза открыть медлил, осязая ладонью прохладную тяжесть петель. Он собрал пальцы в кулак и с детским чувством сожаления и досады убедился: ладонь в самом деле пуста.

Бережно, чтобы не потревожить кошку, он отодвинул ногу, встал, прошел на кухню, поставил чайник, умылся, оделся. И все это время, пока он скатывал с дивана постель, убирал ее в шкаф под висевшие рубахи и единственный костюм, пока пил чай и собирался на работу, — сон нет-нет да и напоминал о себе. Никак он не мог отвязаться, забыть его. «Может, случится че-

го? — суеверно подумал Карташов. — Говорят, сон иногда и правду скажет». Только что случится? Жизнь его давно настроилась и текла тем ровным, равнодушным ходом чередования дней и ночей, праздников и будней, получек и авансов, случайных встреч с женщинами — ходом, который, по всей вероятности, изменить ничто не могло.

Не то что, к примеру, в Исландии, где на днях очнулся от спячки вулкан и завалил пеплом целый город.

Карташов же родился и жил в Вологде. Геологическая деятельность здесь давно замерла, и даже старожилы не упомнят мало-мальски стоящего потрясения.

Работал он землекопом-трубоукладчиком в бригаде, строившей на девятом километре Сокольского шоссе аэродром, и принадлежал к тому широко распространенному типу выносливого русского рабочего, который может все, все у него в руках ладится, но который — если наблюдать со стороны — только и делает, что курит: в бригадном вагончике, на бровке траншеи, а то, беспечно опираясь на лопату, воткнутую в кучу песка, прямо посреди улицы, на виду у занятого, куда-то спешащего деловитого народа.

Рабочие этого типа не вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым расхожему понятию «современный рабочий». Инструменты, которыми они работают, при всем желании сложными назвать трудно. Это лом и лопата, кувалда и топор, пила и мастерок. Это — сильные, умелые руки, которые монтируют плиты и кладут кирпичи; это — верный глаз, чтоб точно по визирке прокинуть трубы коллектора.

Сегодня на работу можно было не торопиться. Хотя мастер Юра Соломин говорил прийти в контору к восьми — бригада отправлялась в пригородный совхоз на картошку, — раньше половины девятого машина не придет. Это уж как заведено... И поэтому, уложив в старый чемоданчик полбуханки черного хлеба, две луковицы, спичечный коробок с солью, пустой мешок, стакан и складной нож, Карташов не спеша шагал вниз по улице к одноэтажному зеленому зданию конторы.

Ночью выпала обильная роса, и сейчас с крыш капало. Почти как весной.

Его ждали. На асфальтированном дворе конторы стояла машина с фургоном, в котором уже сидела вся бригада.

— Здорово, орлы! — громко, как он любил, поздоровался Карташов и по железной стремянке, зацепленной за задний борт, проворно вскарабкался в фургон.

Он надеялся, что на улице, среди мужиков, впечатление сна, непрощенная размягченность души ослабнет, пройдет, но она, напротив, становилась отчего-то даже приятной ему. И, сидя в поскрипывающем на поворотах фургоне, теперь он желал сберечь ее. Но мужики, как назло, не давали и на миг остаться с собой, просили закурить, надоедали: чего он такой задумчивый, не влюбился ли, не пропился ли?

— Мишка, — звали с передней лавки, где резались в «секу», — иди, двинешь копеечку.

— Нынче не мой день.

— Иди, Мишука, иди. Горбатый мост проехали, твоя карта пошла.

— На, двадцать копеек дам, как денег нет, — издевался кто-то сбоку.

— Отвяжитесь, — пробормотал Карташов, а сам невольно слушал, что загибает на соседней лавке Женька Колесников.

— Помирал как-то мужик в деревне и наказал бабе своей, чтобы гроб она ему в городе купила. В городе гроб культурно сделан, кумачом обтянут, украшения разные, с виду серебро натуральное, а с боков ручки, как у самовара, чтоб нести сподручнее. Вот отдал мужик богу свою душу грешную, а баба его взяла машину и поехала в город. Купила гроб, катит обратно. Попросился прохожий какой-то подвезти. Залез в кузов, а баба с шофером в кабине. Едут они. Вдруг начался дождь. Мужик туды-сюды — некуда деться. Залез он в гроб. под дождь и закимарил. Спит он, дождь прошел, а в машину попросились знакомые шоферу бабы. Гроб увидели, сперва испугались, но залезли. Присматривали было, а потом, понятное дело, пошел у них базар-вокзал, треть-мнешь, ни черта не разберешь. Мужик проснулся, слышит голоса, крышку чутко приподнял, голову высунул и говорит:

«Дождь-то давно кончился?»

Карташов захохотал вместе со всеми и полез к передней лавке.

— Давайте, живоглоты, карту. Обдери вас беспощадно.

Приехав на место, дядю Лешу Мойкина оставили напечь к обеду картошки и сгонять до сельмага, а сами дружной оравой направились на поле, что поднималось по пологому холму, белея картошкой в распаханых бороздах.

Работа была известная: подбирать картошку в двуручные плетеные корзины, пересыпать из корзин в мешки, грузить на прицеп колесного трактора и везти в большой сарай на вершине холма на сортировку.

В обед все расположились вокруг костра. Где-то на широком просторе полей отчетливо стрекотал далекий трактор. А за сараем, в котором грохотала пыльная сортировка, низко, почти над самой землей, над деревенькой вдали висело огромное, непривычно резких, угловатых очертаний тяжелое облако. По краям ослепительно белоснежное, в глубине с легкой костяной желтизной, с четко отделявшейся на фоне яркого неба, золотимой солнцем воздушной кромкой, его, казалось, можно было рассматривать бесконечно.

Все облако было лучезарным, праздничным, но праздничным как бы внутри, про себя, и только наверху его, в недоступной, пугающей вышине, где мелькающей точкой реяла какая-то отважная птица, сгустились синие тени.

Как бы удивились, наверное, мужики, если б могли знать, что он занимается таким пустяшным, не мужским делом: любит облаком. Ведь что — облако? Вода, по сути дела.

— Да-а, — начал разговор о жизни дядя Леша Мойкин, — народу в деревне мало. А почему? В городе лучше жить, все туда и бегут. Обратное — театры, кино.

Мужики засмеялись.

— Налей, Женька, ему еще одну, — посоветовал кто-то, — он тогда с обеда и работать пойдет.

— Давай, давай, — помаргивая синими плутоватыми глазками, зашепелявил дядя Леша.

— Сиди, старый пестерь, потом грузи тебя в машину, — сказал Колесников, разливавший вино.

— Начитаешься, дядя Леша, газет, — сказал Карташов, принимая стакан, — повторяешь, чего другие говорят. Не лучше в городе, а легче, не работая, проживешь. А в деревне каким ты придурком устроишься?

— Старый, — язвил Колесников, — ты в театре-то давно ли бывал? Тебе там, поди, больше всего буфет нравится. Еще бы даром давали.

Дядя Леша Мойкин, исполнявший в бригаде необременительную роль шута и гонца за вином, работал последний год. Ему, изработавшемуся за свою трудную, ломовую жизнь, работать в бригаде становилось тяжело, но он держался, чтобы пенсия вышла побольше, и его обычно ставили на легкие, пустяковые работы, хотя, подвыпив, мужики порой ворчали, что они его обрабатывают.

— Бабоньки, — зычно закричал Колесников, — идите сюда!

Из сарая сортировки вышли четыре женщины. Лиц их не разглядеть, заметно только, что они смотрят в их сторону.

Пересмеиваясь, женщины спускались по холму.

— Нам-то дадите картошки? — улыбаясь, крикнула та, что шагала впереди. Полная, в темно-бордовом старом, тесном ей в плечах и животе пальто, она бодро выступала крепкими в красных резиновых сапогах ногами.

— Шевелитесь, — подгонял Колесников, — не останется!

— Ишь, радешеньки, напустились. Рожи-то сколь не толсты.

— Да и вы не шибко тонки.

— Передняя особенно.

— Есть за что подержаться, — зубоскалили мужики.

Гости подошли и остановились, решая, где присесть. Наконец уселись, подвернув под себя полы пальто и плащей, брали картошины, разламывали и осторожно, чтоб не замараться в саже, выедали жаркую сердцевину.

— Старый, а ты говорил, в деревне народу нет.

— Мы не деревенские, — возразила самая молодая, которой, видно, было зазорно прослыть деревенской.

— Откуда же вы эдакие баские взялись-то? — любезничал Колесников.

— Из вытрезвителя, — в тон ему ласково отвечала пожилая, в сером платке женщина.

— Вот где свидеться пришлось. Здравствуй, Маня! — Карташов под хохот мужиков обнял ее.

— Да что ты, леший какой, медведь, — отталкивала она его сердито.

— Попалась, Анфиса! — смеялись ее товарки.

— Ничего, ничего, — подзадоривали мужики, — пускай, он соскучился.

— Со второго кирпичного мы, — когда хохот стих, приветливо сказала та, что в красных сапогах, и, дотянувшись до чемоданчика Карташова, взяла щепотку соли.

Она одних лет с ним, пожалуй, даже чуток помоложе. У нее небольшие руки, ровно остриженные ногти, подвижные губы. Она взяла соли и улыбнулась, очевидно, сама себе, но не той общей, публичной улыбкой, с какой хохотала только что, а улыбкой своей, милой, преобразившей ее. Карташов так удивился этой подсмотренной перемене, что чуть сам не улыбнулся какой-то новой, неизвестной ему улыбкой.

— Бабоньки, будете? — Колесников откупоривал очередную бутылку.

— Как же, как же, только ждите. Нам на смену еще.

— Во бабы, после картошки и работать пойдут.

— Пойдем, не вы, пьяницы.

— Попросили нас, народу на заводе не хватает.

— Деньги-то куда хоть девать будете? — спросил Карташов.

— Приходи, так и тебе дадим, — ответила та, в красных сапогах.

— Ой, Лизка, — недоверчиво ахнула Анфиса.

— Мишка, не теряйся! Обряди ее чередом.

— Не верь им, — отговаривал Колесников, — у баб язык шерстяной, зовут только.

— Ну, — согласился Карташов, — придешь. а за дверью мужик с безменом.

— Может, мы вовсе без мужиков, — говорила Анфиса и, обняв Лизку за плечи, что-то шептала ей в ухо, указывая картошиной на него. Лизка смеялась. Нет, не смеялась, обтягивала зубы губами, глаза ее ничуть

не смеялись, и была в них какая-то тайная, неприятная мысль. Карташову на миг стало не по себе. Но ему ли смущаться бабского взгляда?

— Мужиков-то вы своих куда дели? — сказал он, сплюнув в костер вязкую винную слюну.

— На курорт отправили.

— В Устюг? — подхватили мужики.

— Туда, туда, пусть проветрятся.

— Ой, бабы, бабы, бойки вы стали.

— Ты где живешь-то? — под шумок спросил Карташов.

Она была застигнута врасплох этим вопросом. Лицо ее вмиг сделалось серьезным, настороженным.

— Смелый, что ли, — наконец тихо сказала она, отвернувшись и больше за весь обед ни разу не взглянула на него.

Обед кончался. Мужики пошли на поле, недавние их гости — к своему сараю. Весело переговариваясь, они смотрелись на ходу в единственное зеркальце и, ахая, оттирали губы и щеки от угольных пятен.

Зачем он оглянулся? Вместе с ним оглянулась и она.

«Надо будет подсесть к ним в машину, договориться путем», — подумал он.

...жизнь моя текла,

Она явилась и зажгла-а-а, —

разлился по полю сильный широкий голос. Это Валька Польшов включил свой транзистор.

Однако подсесть к ним в машину Карташову не удалось. Машина за бабами пришла вскоре после обеда, он опомниться не успел, как она уже пылила по проселку.

Уже давно не было видно ни муравьиных фигурок мужиков, копошившихся на поле, ни переезжавшего по полю, словно игрушечного, синего трактора с прицепом, давно машина свернула на бетонку и ходко пошла нырять и взбираться по богатой спусками и подъемам ленинградской дороге, а Лиза все смотрела и смотрела назад. На душе было грустно и в то же время легко и свободно. Так в серый холодный день вдруг прорвется из-за облаков резкий луч солнца и озарит живым, радостным светом одинокую рощицу берез вдаль. Не хо-

телось ни думать о чем-то, ни слушать, что бубнит рядом Анфиса. Хотелось просто смотреть вдаль. А что случилось? Да ничего. Поели картошки, посмеялись, а Мишку этого она, быть может, не увидит никогда, может, через неделю перестанет и помнить о нем.

А Анфиса опять принялась за свое — завела разговор о женихах. Обычно Лиза весело, потешаясь, высмеивала и одного за другим отклоняла многочисленных кандидатов Анфисы, но сегодня чем назойливей жужжала Анфиса над ухом, тем сильнее закипало в Лизе несвойственное ей раздражение и злость. «Что за старуха! Впилась в меня, как клещ, со своими женихами. Уже который день».

Не ужившаяся с двумя мужьями из-за своего сварливого характера, Анфиса под старость приобрела повадки умудренной житейским опытом женщины, любящей всех поучать. С недавних пор ее особенно занимала мысль выдать работающую, скромную и веселую Лизу замуж и погулять на ее свадьбе.

— Чего молчишь-то? — по-дружески нетерпеливо подтолкнула Лизу Анфиса. — Говорю, говорю, хоть бы к слову пристала.

— А чего говорить? — поглядев в сторону, где по далекому холму ползла тень облака, ответила Лиза и не удержалась: — У тебя одно на уме: увидишь мужика, вот, Лизка, тебе жених! На поле сегодня вышептывала: смотри, смотри, Лизка. Сейчас шофер уж какой-то появился.

— На поле! Ой! — натянута, недоумевая, почему Лиза рассердилась на нее, засмеялась Анфиса. — Разве ж это мужики? Калаголики! У них ни денег, ни черта. От получки до получки не знают, как дожить. Бригадир-то ихний...

— Он не бригадир, — вставила Лизина подруга Капа Поливанова, — я узнала.

— Ну, за старшего, он тут у них атаман, ишь как на меня кинулся, когда я из вытрезвителя сказала. До сих пор шею повернуть неловко.

Лиза с Капой дружно расхохотались.

— Откуда ты знаешь? Привыкла языком болтать без умолку, врешь на человека.

— Да что ты, Лизка, взбесилась сегодня? Чего знать-то, видать по нему: из вытрезвителя не вылазит. Пожилую женщину так лапать. А у шофера этого де-

нег, — Анфиса значительно помолчала. — Машину, сказывал, собирается справить. Телевизор цветной есть. Квартира — не твоя хибара. Жены только и не хватает. Из себя тоже мужчина видный. Немного тебя постарше. Одевается хорошо.

Лиза молчала. «Пусть болтает, не скажу больше ни слова».

— Так что, — ласково сказала Анфиса, — Елизавета Николаевна, может, устроить встречу? Не надумала?

— Отвяжись ты от меня, ради бога. Выйди за твоего жениха, а потом мучайся. На работе надоело матюги слушать да пьяные морды видеть, а тут еще своего заведи.

— Анфисушка-матушка, — обнимая Анфису, лукаво посмеивалась Капа, — ты старика-то своего турни, а сама к шоферу под бочок. Телевизор цветной посмотрите — и в машину.

— Ты, Лизка, ровно вчера родилась, — не обращая внимания на Капу, продолжала Анфиса. — Жить и не мучаться... И не мечтай, не найдешь непьющего. Кто в наше время не пьет? Раньше от нужды пили, а теперь, видно, от богатства.

— Отстань. Мне и одной хорошо. Не нужно мне твоих женихов задаром. Сама найду, если надо.

— Я ж от всей души.

— Вот и отстань. Не надо больше, — жалея обидевшуюся старуху, миролюбиво прибавила Лиза.

— Давай, Лиза, споем лучше, — сказала Капа.

...Машина, миновав таксомоторный парк, повернула налево и остановилась перед Горбатым мостом, пережидая встречные машины.

Сколько дней и лет
Я улыбки жду и тепла, —

обнявшись, пели Лиза и Капа.

«Хороший, наверно, этот Мишка. Как он удивительно смеется. Как-то громко и сердечно», — думалось Лизе.

* * *

Оглушительно стреляя пускачами, вычихивая лохмотья густого сизого дыма, разрывая тишину сентябрьского, с зябким холодком утра, заводились буль-

дозеры, и весь будущий аэродром с окрестными светло-зелеными полями, желтеющими островками тростника, с росой, серебристо отливающей на траве, дрожавшей на капотах бульдозеров, принимал рабочий вид.

Из вагончика, стоявшего возле насыпи взлетно-посадочной полосы, выходили рабочие, доставали из-под вагончика ломы, разбирали сцепившиеся лопаты и толпились вокруг Юры Соломина.

— Карташов, Миша,— позвал Соломин, приотворив за нижний угол дверь вагончика.— Вас ждем, девятый час уже.

Юра изо дня в день добивался всеобщего сбора, чтоб не повторять каждому, что сказано всем.

Из вагончика донесся взрыв хохота, дверь распахнулась настежь, и первым по крутой лесенке в брюках с насохшей на них глиной спускался Карташов.

— Какая, Юра, разница, все равно на коллектор, и так знаем,— говорил он и, оборачиваясь назад, хохотал.

Распределив всех по местам, Соломин вместе с Карташовым, Колесниковым, дядей Лешей и Пыловым шагал к коллектору, откуда начинал ежедневный обход объекта.

— Рассказывай, Миша, чего уливались. Опять какое-нибудь приключение с тобой?

— Шустрый ты, Юра: там — дак выходи скорее, а здесь — рассказывай. Чего-нибудь одно.

— Рассказывай, рассказывай,— терпеливо настаивал Соломин. «Играет Карташов, капризничает, любит, чтоб его попросили».

— Иду я вечером мимо магазина, достал портсигар, хочу закурить. Подваливают трое салажат, лет по восемнадцать, порточины широченные, волосье, как у лошади. Покажи-ко портсигар, говорят. Я первому портсигаром — он в витрину, стекла так и повалились. Другому по тыкве. И надо же — дружинники из магазина выходят. Видят такое дело, и ко мне. Я от них. Сам, Юра, понимаешь — с ними мне делить нечего. Рву я, они за мной. Портсигар я кинул, мало ли чего, да и измялся он весь. Догоняют меня. Не уйти. Молодые дружинники попались, резвые, студенты, не иначе. Что делать? Знаешь, дом строится напро-

тив пивнушки? Я в подвал. Бегу, спотыкаюсь: кирпичи, обрезки труб. А они не отстают, смелые ребята. Выскакиваю я в одну комнату, а в ней между подъездами стенка из блоков, а меж стенкой этой и капиталкой — щель. Для водопровода, горячей воды, ну, знаешь ты. Я в эту щель. И застрял. Тыр-пыр. Влетают студенты. «Вот он!» Цоп меня за руку, и давай мы канат перетягивать. Только вижу я, ничего путного мне не светит. Я не лебедка, четверых мне при всем желании не перетянуть. Дернулся я изо всех сил, чего-то затрещало. Думаю, неужели руку оторвали? Нет, рукав от пиджака. Так он у них там и остался.

Мужики опять захохотали.

— Ох, Миша, Миша, — Соломин покачал головой и все ж невольно улыбнулся. Рисуется Карташов: перетягивание каната!

— А чего — Миша?

— Да что живешь ты так. Все у тебя приключения.

— Как, Юра, ни живи, только чтоб время провести, а с приключениями все интересней.

— Время по-разному проводить можно.

— Чего ты, Юра, вычитываешь-то мне! — Карташов нахмурился. — Не я ведь к этим бесам полез с портсигаром, сами напросились.

— Юра, а ты как время проводишь? — спросил Колесников.

Соломин некоторое время молчал. Колесников, вне сомнения, заводит разговор неспроста, а для Карташова: мол, не расстраивайся, Мишка, сейчас я его оттяну как надо. Но раз уж сам затеял разговор, не отмолчишься.

— Детей воспитываю, книги читаю, работаю, — спокойно ответил Юра.

— О детях помолчим, они у тебя маленькие, еще неизвестно, какие спиногрызы вырастут. О работе и так все ясно, до пенсии дожить бы, как дядя Леша. Ты какие книги читаешь?

— Всекие. — Соломин насторожился. С Колесниковым надо быть настороже, читал он, конечно, много, но больше брал эмоциями, чем доводами. Горлопан, одним словом.

— Всекие так всекие, — и, хитро подмигивая всем, Колесников подхватил Юру под руку. — Купил я как-

то, Юра, на базаре соленых огурцов. Завернули мне их, а на кульке рассказец занятный оказался. Приходит будто один керя к другому в гости, а у того пописидит. Поп от туберкулеза лечиться приехал и жил тут, а туберкулез-то, Юра, обрати внимание, не чем-нибудь, а спиртягой залечивал. Керя этот с похмелюшки, тоска у него с утра, ну, ему тут голову наладили, и давай он у попа про бога выпрашивать. Батюшка доказал ему ловко и просто, что такого бога, как все думают, нет, есть одна идея. Керя этот про идею наверняка ничего не понял, как, впрочем, и я, но спрашивает: как же, товарищ поп, нельзя же жить и ни во что не верить?

— Это козе понятно.— Соломин сам недавно прочел этот рассказ. Конечно, не на мокром от огуречного рассола журнальном листе, а в книге. Интересно, какое впечатление произвел он на Колесникова.

— Поп ему и толкает проповедь: верить надо в жизнь!

— Точно! — воскликнул Соломин, и мысль эта снова поразила его. Разом искупались все сомнения. Но куда же клонит подковыра Колесников?

— Нет, Юра, не точно, это только на бумаге все гладко. Что ж бабы наши в жизнь верить не хотят, недовольны всем: то денег мужики им мало носят, вино жрут, то ребенка в ясли не устроить.

— Это только одна сторона жизни,— возразил Юра.

— Да? — взъелся Колесников.— Это не одна сторона жизни, а ложь...

— Кончай, Женька, бакланить,— перебил Карташов,— пришли.

На дне глубокой, с широко раскопанными откосами траншеи тянулись прижавленные с боков утоптанной глиной серые асбестоцементные трубы коллектора ливневой канализации. По горам бурой глинистой земли на левом краю траншеи перелетала бойкая желтогрудая птичка. Завидев рабочих, она громко пискнула и упругим шныряющим полетом понеслась прочь.

Конец крайней трубы коллектора был скрыт в мутной луже. Из середины лужи торчала грязная доска.

— Так, Юра, каждый день,— жаловался Колесников,— с вечера уходим — сухо, а к утру насосет.

— Женька, — по-хозяйски распоряжался Карташов, — растаскивайте-ко с Валькой трубы по бровке, а ты, старый, поднеси колец да муфт и помоги экскаваторщику, позавчерась чего-то говорил он.

Карташов сошел в траншею, скинул куртку на откос, подпернул до локтей рукава трикотажной застиранной рубахи и, погрузив в холодную мутную воду белые с загорелыми кистями руки, нащупал в глубине заглушку, которую забили позавчера, чтобы труба не заплыла глиной.

Соломин смотрел с бровки, как ворочаются под рубашкой лопатки Карташова, ходят плечи и вдруг застынут в напряженном тяговом усилии.

— Что, Миша, не идет? — с усмешкой спросил Юра.

— Разбухла, с-суконка! — Карташов разогнулся, поправил запястьем наехавшую на глаза кепку. — А, вытащу! Спорнем, Юра.

— Вытащишь и без спора. Куда ты денешься, — посмеивался Соломин, — работать-то надо.

Карташов склонился над трубой. Вот он чуть качнулся назад, и вслед за сырым чмокнувшим звуком послышался шум воды, бурно устремившейся в глухую полую трубу.

— Юра, лови!

— Миша, — посторонившись от пролетавшей заглушки, спросил Соломин, — до пикета к обеду делаете?

— Даже раньше. Ты с обеда кран посылай да кольца вези. До конца недели еще колодец задвинем. В понедельник я в отпуск, сам знаешь.

Дождавшись, когда сбежит вся вода, Карташов взял свою персональную, с изогнутым черемуховым чернем лопату и, сноровисто подрезая слои линучей тяжелой глины, укладывал вдоль трубы блестящие веские лепешки.

— Песок! — вычистив под трубу узкую длинную площадку, крикнул он и отошел в сторону. Полюмов с Колесниковым стали швырять лопатами песок.

— Значит, в пятницу, Миша, праздник — получка да отпускные, — говорил сверху Соломин.

— У него завсегда праздник, — сказал подошедший от экскаватора дядя Леша и сел отдышаться. —

Круглый год. Сколько денег принесет, когда придет, кого приведет — все ладно.

— Да, да. Праздник, — передразнил его Карташов, — переселение порток с вешалки на гвоздок.

По графику, вывешанному в вагончике, отпуск ему полагался летом, но в апреле завернул он с аванса в бар и влип там в заваруху. В контору потом пришла бумага, по которой отпуск ему передвинули на осень. Так-то разницы нет, когда отпуск гулять, ему не к Черному морю ехать, но погано, что наказали тебя, вроде, как котенка, носом ткнули. И за что? Никто и разобраться не подумал. Хотел тогда он уволиться и уж отгулять не один отпуск, а и все лето. Юра отговорил. Молодой Юра, кое-чего не понимает, а поговорить по хорошему, по душам может. А в другой раз человеку, может, больше ничего и не надо.

— Миша, лопату-то свою кому оставишь на сохранение? — подшучивал Соломин. — Сломают ее без тебя, все труды твои пропадут, черенок ведь выбирал, обстругивал.

— Тебе. Поставишь в углу в вагончике, как знамя в конторе, — Карташов быстро разровнял песок. — Дайте трубу! И, Женька, сюда!

* * *

Кто спорит, жить не думая — проще, но как быть, если мысли, до поры до времени заботливо отгоняемые, вдруг являются, напирают, чего-то требуют, и не отвертеться от них, не убежать. Накатывала такая тоска, хоть вой, хоть плачь. Выть он не умел, а плакать разучился. Кошка в такие дни уходила из дома. Видно, тоже что-то чувствует. И у нее, видно, душа есть. Так что говорить о человеке. Было ясно одно: жизнь его, которую все считают свободной, завидуют ему, да и сам он, подвыпивши, не прочь побахвалиться ею, на самом деле проклятая собачья жизнь.

Лежа ничком на диване, Карташов пошарил рукой по стулу, нащупал и смял пустую папиросную пачку.

Вчера он поставил мужикам с отпускных, разошлись поздно, и сегодня болела голова. Женька и ночевал тут, недавно ушел.

Добрести до кухни, может, осталось чего?

Вчерашнее вспоминалось обрывками. Вроде песни пели, спорили о чем-то. Полымов опять затянул волюнку о том, как ездил в колонию к сыну, плакал, ругал вино: все оно, подлое, виновато. А ему надоело его слушать, он и сказал, что вино тут не при чем. Что-то он еще сказал, потому что Полымов захрюкал, драться полез. Хотел он его отоварить — не у себя дома, не возникай, да что-то отвлекло его.

Карташов нехотя поднялся с дивана, побрел на кухню. На кухне был мерзостный беспорядок вчерашней попойки: грязь, плевки, куски хлеба, растоптанные окурки. Ничего нет, все выпито до капли. Окурки в пепельнице залиты томатным соусом из консервов. О, вот так находка! За банкой консервов он обнаружил стопку водки. Он взял ее двумя пальцами, сморщившись, стараясь не нюхать, выпил и, прихватив черствую корочку хлеба, возвратился на диван.

Тоскливое, как пишут в газетах, угнетающее психику похмелье исчезло. Однако теперь курить захотелось по-настоящему. Он поставил чайник, чтобы, вернувшись, помыть посуду, и вышел на улицу.

У магазина разгружалась машина с пивом. Карташов помог перетаскать грузчикам ящики в магазин, взял в штучном отделе 20 пачек «Беломора», семь бутылок пива и, предвкушая близкое наслаждение, выбирал горстью с прибитого к прилавку блюдечка сдачу. Не дошурупил он взять сетку, папиросы и бутылки в охапке нести будет неловко.

Сзади почудился знакомый голос. Карташов взглянул в зеркальную стену за спиной продавца: в молочном отделе две девчонки покупали молоко, у кассы, спиной к нему, стояла женщина в черном пальто. Женщина отошла от кассы, и что-то показалось ему знакомым в ней. Он подковырнул ногтем последнюю монетку, обернулся и увидел красные сапоги. Это была она, Лизка. Конечно, та же ее легкая и бодрая походка.

Усмехнувшись, Карташов собрал в охапку папиросы и бутылки. Она шла к двери, даже не подозревая, что он смотрит на нее. Когда она проходила мимо, Карташов фыркнул, и она взглянула на него. Взглянула, переложила сумку из руки в руку и спокойно

прошла мимо. Не узнала? Но в тамбуре она опять посмотрела на него, и Карташов понял, что она узнала и смотрит, смотрит ли он.

А-а, вот что отвлекло его вчера от ссоры с Полюмовым! В пьяном чаду ему вспомнилась она. Вспомнилась и тут же забылась, но ему уже было наплевать на Полюмова: мели, чего хочешь.

— Ну, так здравствуй! — сказал он, похохатывая. Ему стало отчего-то очень смешно и радостно.

— Здравствуй, здравствуй. — Она улыбнулась краешками губ.

— Конфеток брала? — Он пропустил ее в дверях. Вдруг одна бутылка медленно поползла вниз. Чем сильнее он прижимал ее, тем скорей скользила она.

— Брала. — Она взглянула на него коротко, как будто боялась посмотреть долго, и рассмеялась, увидев, как он скособочился, воюя с бутылкой.

— Пойдем ко мне чай пить, — используя благоприятный момент, предложил Карташов.

— Еще чего не придумаешь?

— А чего, — не терялся Карташов, — у меня индийский, со слонем, заварочка будь-будь, как заварганишь, что твой суп, ложка стоит.

А чайник-то дома ведь на самом деле поставлен! Он и забыл о нем.

— Слушай, — торопливо, как будто опасаясь, что она не поверит ему, заговорил он. — Постой минутку, я добежу чайник выключу. Я близко, рядышком живу. Вон дом-то мой, через дорогу, с верандой на втором этаже.

Карташов влетел домой — кошка пулей шмыгнула с сундука, — первым делом уставил бутылки в сетку, скинул пиджак, вытащил из шкафа и надел шерстяной выходной свитер. И, просовывая голову в его мохнатое, теплое, щекочущее нутро, Карташов с непонятной, распирающей грудь радостью думал: «Добро, добро!»

Он пробежал на кухню, выключил газ и, выскочив на крыльцо, спешно запирает замок.

Справа слышался резкий неравномерный звук побрякивающего ведра и шаркающие шаги. Так, всей подошвой, шаркал Аркаша, глухонемой старикан, сосед Карташова по двору. Лет ему было много, говорили, что в молодости он служил дворником у купца,

которому в прежнее время принадлежали этот и еще два дома. Карташов жил здесь восьмой год и раньше никогда не замечал Аркаши: мало ли какие старики бродят. Но однажды зимой Карташов шел из бани. Морозило крепко. Впереди него сгорбленный старикашка нес ведро воды. Его так шатало, так вело в сторону ведра, что казалось, вот сейчас ведро перетянет его, и он брякнется на тротуар и весь обольется. «Так это, наверно, и есть тот самый немой, о котором вечор говорила ему Галя, соседка сверху, когда он заходил к ней починить утюг», — подумал Карташов. Вода переплескивалась через край ведра, мочила брюки старика. Карташов догнал его.

С того раза он помогал старику. При случае поднесет воды, а зимой — сарайка Аркаши была далеко — в выходной день навозит на санях к крыльцу Аркаши на неделю дров и занесет их ему на второй этаж.

Однако сегодня Аркаша отправился по воду явно не вовремя: Лизка-то куда успеет уйти! Но как сделать вид, что не заметил его, если он стоит у тебя за спиной и мычит беззубым старым ртом.

— Давай, — с напускной суровостью, хотя немой не мог его слышать, сказал Карташов, выхватывая из скрюченных пальцев немного прохладную дужку ведра.

Он догнал ее у каменушки — хлебного магазина, продавщицы из которого снабжали его индийским чаем: он каждую весну скидывал им снег с крыши. Она, видать, не спешила, за это время можно было уйти значительно дальше.

— Вот и я, — сказал Карташов, приподнимая сетку с бутылками.

Лиза искоса взглянула на него, задержалась взглядом на свитере: на груди по серому полю шли белые звездочки.

— Теплый. — Она кончиками пальцев пощупала рукав.

— Чистая шерсть.

— Дорогой, поди.

— Полсотни, — небрежно сказал Карташов, округлив на пятерку. — Давай сумку-то понесу.

— Близо уже.

В воздухе пахло тонким, задумчивым запахом опавшей листвы.

Лиза жила через два дома от бывшего тубдиспансера, в старом деревянном, с высокими окнами доме. Таких задушевных, неодинаковых домов лет десять назад было полно в Вологде. А теперь их сводили на дрова.

Через калитку с затейливой железной решеткой, по хлябающим мосткам они подошли к крыльцу. Взойдя на первую ступеньку, Лиза остановилась и посмотрела на Карташова. Понять ее взгляд было никак невозможно: и просьба, и робость, и сомнение, и еще что-то читалось в нем.

Потупив голову, Карташов ждал дальнейшего хода событий.

— Смотри, только тихо,— понизив голос, сказала Лиза.— Соседи услышат.

— Какой разговор,— понимающе отозвался Карташов.

Они остановились в конце длинного, тянувшегося вдоль дома коридора. Вдали, в полукруглом оконце, наполовину забитом фанерой, светился день, а здесь стоял серый, зыбкий, таинственный сумрак.

Бесшумно растворилась дверь.

— Заходи,— шепотом, которому охотно повиновался Карташов, сказала Лиза.

Карташов очутился в небольшой, можно сказать, крошечной кухоньке. Как он сразу сообразил, кухня — часть небольшой комнаты, разделенной не доходящей до потолка, с ситцевой занавеской посередине перегородкой. На кухне печка, конторка с кастрюлями и керосинкой, над конторкой посудник с тарелками, а слева, в углу, умывальник.

— Бутылки-то куда поставить?

— Проходи в залу, стол там,— сказала Лиза, с ревнивым вниманием наблюдавшая за ним.

Во всю длину залы, как раз от перегородки до стены, стояла кровать с кружевным подзором и синим с тисненными белыми цветами покрывалом. Напротив кровати, через узкий проход к единственному окну — комод со швейной машиной. У машины на белой салфеточке фаянсовый пугливый олененок на зеленом обломке лужайки. Над комодом зеркало. Впритык к комоду квадратный стол с двумя стульями. На табуретке у окна, в горшке, обернутом листом серебряной чайной бумаги, фикус.

Карташов поставил бутылки на стол, свернул с одной пробку и, жадно выпив полбутылки, разглядывал фотографии над кроватью. На одной — Лиза, еще молодая, с косой, в школьной форме, на другой — солдат в кителе, какой носил еще и Карташов; рядом солдат в нынешней форме, при галстуке, а на крайней фотографии — сплошной туман, ни черта не разобрать. Карташов нагнулся над кроватью, чтобы рассмотреть получше. Несколько молодых женщин. Перед ними гробик. Карташов с трудом различил среди женщин Лизу.

Карташов выпрямился, глянул направо, на перегородку, и обомлел: на булавке с голубой головкой висела картинка. Недаром что-то мельтешило все сбoku, пока он разглядывал карточки.

Облокотившись на кувшин, из которого с шумом и брызгами падала струя воды, загорелый, с мускулистой спиной мужик смотрел на голую белую дородную бабу. Она же, вложив свою ручку в его могучую волосатую руку, умильно молчала, приоткрыв с пухлыми губками рот. А внизу в луже плескались их пацанята.

— Курить-то можно у тебя?

— Кури, что с тобой сделаешь.

Карташов надорвал пачку, щелчком вышиб до половины папиросу и хотел прикурить, но прошел на кухню, где Лиза резала хлеб, открывала банку сайры и ставила все это на круглый, расписанный сказочными цветами поднос. Карташов прислонился к печке и, приоткрыв дверцу, пускал дым в дымоход.

— Пачкает она, увозишь свитер.

— Увозишь. Дров-то за зиму много у тебя уходит?

— Машина.

— Машины всякие бывают.

— По мне все одинаковы. Дрова-то еще покупать надо. Иди, иди, не дыми тут.

— Так и ты, дернем пивка вместе. Чего мне одному сидеть? — Карташов, стряхнув с плеча побелку, сунул папиросу в дырочку в дверце печки и вернулся в «залу», — улыбаясь, сказал он себе.

— Ты сегодня на работу?

— Да.

— Денек-то прогуляй. — Карташов из бутылки прихлебывал пиво.

— Глазунью хочешь? — из-за перегородки спросила Лиза.

— Хочешь, — перекинул ей назад слово Карташов и еще раз взглянул на картинку. Ай да Лизавета!

В комнату с подносом вошла Лиза. Ее густые темные волосы, прищипленные над белыми висками, открывали небольшие с розовеющими мочками уши, в которых, как две капельки, были вкраплены голубые сережки. Она сняла с подноса на стол еще шипевшую, дымящуюся глазунью, выдвинула ящик комода, достала тонкий стакан и две высокие зеленые чашки с толстыми доньшками.

— Как насчет денька-то? — Карташов взял Лизу за запястье, когда она ставила чашку.

— За день-то ты мне заплатишь?

— Хочешь, так заплачу. Сколько?

У Лизы дрогнула щека, она слегка побледнела, вынула свою руку и села напротив.

— Пиво-то не будешь, что ли? Свежее, сегодняшнее.

— Пива твоего нажучишься, еще уволят с работы. За пьянство. По статье. — Лиза засмеялась, сложив руки под грудью. — Ты свое пей, а я свое. Люблю чаек! Покрепче, — прихваливая, с бабской сердечной интонацией сказала она.

— Дров-то купи у меня, — сказал Карташов, наливая пиво, — я сейчас богатый дровами. Дом рядом ремонтируют, я натаскал вечерами много.

— От старых домов дрова-то, говорят, пустые, — обсыпая глазунью зеленым луком, сказала Лиза. — Да ты, поди, дорого возьмешь.

— Не дороже денег. — Карташов, поднявшись вместе со стулом, пересел к Лизе. — Бутылку поставишь, и хорош.

— Кто за бутылку продает, — с легкой улыбкой, поглядывая за окно, отвечала Лиза.

— Кто? Я, — сказал Карташов и положил ей руку на плечо. — Лиза, — шепнул он, обнимая ладонью ее теплую шею.

— Не надо, — сказала она и, качнув головой, освободила шею. — Посидим поговорим лучше.

Карташов откинулся к перегородке, добродушно рассмеялся. Не в его привычках было разводить лишние, никому не нужные разговоры, но, с другой сторо-

ны, почему бы и не посидеть, не поговорить. Всему свое время. И он остался, не ушел, хлопнув дверью, как хотел сделать, когда она сняла его руку.

Карташов просидел у Лизы до трех часов, выпил все пиво и чаю еще напился. Он узнал, что живет она в этом доме всю свою жизнь, только раньше она с отцом и матерью жила в большой комнате с другого конца коридора, а как осталась в 16 лет одна, соседи и ухлопотали ее в эту клетушку. Отец ее, одноногий инвалид войны, трезвый — душа человек, под пьяную лавочку бил мать и выгонял их из дома. По пьянке отец и погиб. Его задавило поездом. Мать рассказывала, что нашла в кармане его шинели сплюснутое яблоко. Нес домой. С питанием-то тогда совсем худо было. Лиза сперва работала на швейной фабрике, а потом перешла на кирпичный. Была у нее дочка, но шести месяцев померла. Лиза ушла мыть лестницу в соседнем доме, где она прирабатывала, в спешке рано закрыла печь, и девочка угорела.

Рассказывая это, Лиза помотала слегка головой и вышла на минутку на кухню. А Карташову было отчего-то неловко, как человеку, которому оказывают незаслуженное доверие. Почем она знает, может, он прохвост какой, а она перед ним душу свою открывает.

В четвертом часу Лиза собралась на работу. Карташов проводил ее до автобуса.

— Смена-то у тебя во сколько кончается? — спросил он на остановке. — Я приду.

— Не придумывай, — сказала Лиза, обегая взглядом лицо Карташова, его орехового цвета веселые и смелые глаза, светлые волосы, небритую щетину на подбородке и всю его свободную, ловкую и сильную фигуру. — Ночью спать надо, а не в гости ходить.

— Так я не в гости, — сказал он, смеясь и пытаясь поймать своими глазами, остановить ее бегающий, скользящий по его лицу взгляд.

* * *

«Хорошо бы сегодня кончить пораньше», — думала Лиза, выйдя из автобуса и направляясь к заводу, труба которого, состоявшая из двух частей — круглой верхней и квадратной нижней — виднелась за домами.

Завод был построен очень давно, когда технология изготовления кирпича почти целиком основывалась на физическом труде. Технология со временем претерпела изменения, но и сейчас еще довольно проста.

Глина с определенной добавкой опилок и воды перемешивается в громадных чанах. Затем густая глиняная масса подается в насос, который выжимает ее толстым глянцевитым брусом на конвейер. Механический нож, напоминающий лук со стальной проволокой вместо тетивы, энергично, без усталости сечет движущийся брус на сыро поблескивающие плоскостью отруба прямоугольные плашки. Их ставят рядами в вагонетки, похожие на кубические этажерки с множеством полок, и везут в сушильные камеры. От камер мужики-катальщики катят вагонетки к печи для обжига — широкому, высотой более двух метров кольцевому туннелю, в котором сухо и горячо пахнет кирпичной пылью.

А Лиза работала садницей. Сажала сырец в печь. Вчетвером — это было их звено — они закатывали вагонетку в печь и быстро и сноровисто, оставляя лишь промежутки напротив газовых горелок, выкладывали из сырца высокую решетчатую стену.

Они отойдут далеко от этого места, когда здесь включится газ. В печь ворвется свистящее пламя, а через несколько часов темно-коричневый глухой сырец превратится в красный, звонкий, с острыми царапающими краями кирпич. Сколько домов в Вологде построено из него, старых и новых, уже давно умерли те, кто строил этот завод, кто строил из прежнего кирпича дома и церкви, торговые ряды и купеческие амбары, дымовые трубы и бытовые печи, а старик-завод, подкрепляясь время от времени ремонтом, все несет свою службу.

Работа шла хорошо. Катальщики бесперебойно подкатывали вагонетки к печи. «Часам к десяти норму сделаем, а в половине одиннадцатого, если автобус не запоздает, дома буду», — прикидывала Лиза, вместе с товарками закатывая в печь очередную вагонетку.

Но в седьмом часу работа застопорилась. Вагонеток с сырцом не было. Они стояли у сушильных камер, метрах в двадцати пяти отсюда.

— Эй! — закричали все хором. Вагонетки не трога-
лись. Постояли еще немного, подождали. Лиза накин-
нула на плечи фуфайку и по рельсам быстро зашагала
к сушильным камерам.

За камерами был закуток — курилка катальщиков.
Еще издали Лиза услышала их голоса. Она подошла
тихо. Катальщики в первый момент оба изменились
в лице, и Васька Жуков, который бессчетное количест-
во раз увольнялся и вновь поступал на завод, что-то
сунул за железный ящик.

— Черт! Лизка! — в следующую секунду сказал он,
увидев, что беспокоиться было нечего. — Думал, мас-
тер. Напугала.

Лиза заглянула за ящик.

— Ой вы, — она покачала головой, — мы ждем,
а они... Неужели вам времени мало, надо и на работе
еще?

— Лиза, покурить-то можно.

— Начальник тоже нашлась, — махнул на нее ру-
кой Митька Крылов, недавно вернувшийся с череповец-
кой «химии». — Торопись, так катай сама.

— Покурить, покурить... — Лиза подошла к ваго-
нетке и резким толчком, напрягшись, вкатила ее на
поворотный круг.

— Да посиди-и, Лизок, — звал Васька, — успеешь
до конца смены.

— Некогда мне конец смены ждать.

— А чего, ни мужика у тебя, ни ребенка, куда то-
ропишься-то? На танцы, что ли?

— Не твое дело.

— И не в свою смену тем более. С кем подмени-
лась-то?

— С Симой.

— Вроде вы разругались с ней на днях, я слышал.

— Ума у тебя нет, — сказал Митька, — все с кем-
нибудь подменяешься, просят тебя, дуру, все кому не
лень.

— Чего мне с ней ругаться, это она завела. С му-
жем неладно у ней.

— Постой, постой, — говорил Васька, доставая из-
за ящика бутылку. — Анфиса, мать-то твоя родная, я
слышал, грозилась: в лепешку расшибусь, устряпаю
Лизку замуж. Такая девка, говорит, ни за что пропа-
дает.

— Какая уж она, поди, девка, — дернув нижней губой, сказал Митька.

— Давайте вагонетки! — Лиза повернула на поворотном круге тяжелую вагонетку, упираясь руками, столкнула ее с места и повезла вагонетку вперед. Поравнявшись с печью, она услышала, как сзади, постукивая по рельсам, с шумом приближался караван вагонеток.

Кто-то верно сказал, что обстоятельства сильнее человека. Он не пришел к ней ни после смены, ни завтра, ни даже послезавтра.

Вернувшись домой, он нагрел воды и начал мыть посуду, оставшуюся с вечера. За этим занятием и застал его Женька Колесников и двое Женькиных корешей. Ладно, Женька — свой человек, а эти-то двое? И чего он их смутился? Вроде наплевать, на каждого посмотреть — самому не жить, один человек живет, кому какое дело, но вот картинка: стоит он у таза, рукава засучены, в руках тарелка, и трет он ее тряпкой. Передник еще — и будет чистая баба. Не хотел он ни пить, ничего не хотел, а тут сдвинул посуду в угол, закрыл от стыда газетами — и понеслось! И ведь держал он в голове: приду к ней, приду, а сам — мужики давно ушли — задремал на стуле.

Где-то хлопнула дверь, повеяло свежим, и оказалось — он у Лизы. Сейчас дрогнет занавеска, войдет она. Он с изумлением видит, как все вокруг него заливает высокий дрожащий свет.

— Ты еще спишь? — нежно прошелестел ее голос.

— Сплю, — смиренно ответил он, и вся его взрослая жизнь, за исключением отдельных, редких дней, показалась ему сном. Проснуться бы от этого сна, но как? Нет, поздно мне просыпаться, — подумал он и очнулся у себя на кухне.

Второй час ночи. Куда пойдешь. С утра тогда сразу к ней.

А утром, он еще спал, пришел сосед со второго этажа, Галин муж Колька. Надо привезти лодку с лодочной станции. Он не уважал Кольку, хвастуна и пропойцу: что за человек — утюга самому не починить, но раз просят помочь, отказать вроде как-то грешно.

На лодочной станции повстречались старые друзья — где их только не встретишь! То да се, слово за словом, рублем по столу, как с друзьями не трахнуть. И пошло и поехало. День за днем. Закрутилась такая карусель, насилу он из нее вырвался.

Отворяя знакомую дверь, Карташов почуял парной запах варящегося супа. Правда, пока варилось одно мясо, а Лиза чистила картошку и крошила ее в кастрюлю.

— Пришел, — как бы самой себе сказала она. — Где пропадал-то?

— Дела. — Карташов повесил кепку на проволочную вешалку, стал у печки, закурил. На щеке Лизы лежал розовый отсвет, на лбу блестело несколько капелек пота, а губы и глаза поигрывали скрытой и рвущейся наружу улыбкой. Казалось, так было всегда: пришел, стоит у печки, курит. И так же когда-то варился суп, он даже знает наперед, что сейчас скажет или сделает она.

— Миша, — сказала Лиза вполголоса.

— Что? — отозвался Карташов.

— Ничего, ничего, — поспешно, как будто боясь проговориться, сказала она. Ей хотелось спросить о многом: и почему его долго не было, и женат ли он, и где работает, и почему сегодня не в свитере, и еще о чем-то, но она не решалась.

Поворачивая картошину, Лиза быстро спускала с нее неровную двуцветную ленточку кожуры.

— Лихо у тебя получается, в армию бы тебя. Там бы ты дала шороху. Вот у нас в части на 600 человек надо было картошки начистить.

— А как же вы чистили?

— Мы? Ну, у нас картофелечистка была. ГАЗ-69 с передним ведущим мостом. Затаришь в нее два мешка, картошины оттуда, как гильзы отстрелянные, вылетают.

Лиза внимательно посмотрела на него.

— Ой ты, пустомеля. Врешь ты все. — Она докрошила последнюю картошину и собирала ложкой накипь, бурными ошметками бурлившую у края кастрюли.

— Почему все? — метнув в ведро зашипевший окур, сказал Карташов и шагнул к ней.

— Стой, где стоишь.— Лиза выставила навстречу ему руку.— Лучше чего-нибудь ври, а не подходи. Не дашь обед сварить.

Карташов отвел ее руку и левой рукой обнял со спины, пониже лопаток, чувствуя, как шерстинки на кофте цепляют за мозолистую кожу ладони.

— Миша, а ты с женой не живешь? — вдруг спросила она.

Карташов правой рукой увернул фитиль керосинки.

— Не сошлись характерами.

— А со мной, думаешь, сойдешься? — насмешливо и твердо сказала она и вывернула фитиль обратно.— Не просят тебя.

Карташов молча сильнее привлек ее к себе и, чувствуя, как безмолвно и сразу она прижалась к нему, осторожно поталкивал ее в залу.

Лиза забыла, что кровать близко, робко охнула, наткнувшись на нее, присела на край и выронила ложку, которую все еще держала в руке. Карташов приблизился к ней, чтоб поцеловать, и заглянул в запрокинутые, с чуть вздрагивающими веками глаза. Они смотрели на него пристально, с серьезным, вопрошающим и жалким выражением. Что-то вздрагивало в них и вновь появлялось, словно глаза что-то говорили ему, а он не мог понять.

— Что? Скажи,— шевельнул губами Карташов. Лиза испуганно пожала плечами.

Никогда раньше не мог он и подумать, что можно столько увидеть в глазах.

— Нет, нет,— вдруг громким, грубым голосом сказала она, встала и, поправив юбку, отошла к окну.

Карташов долго молчал, молчала и Лиза, лишь слышно было, как булькает на керосинке суп.

— Лиза.

Она недоумевающе, будто видела его в первый раз, взглянула на него и опять отвернулась к окну. Хоть бы слово сказала.

Надо мотать отсюда. А думал, что она ждет его. Надеялся. Ему вспомнилась та унижительная сцена, когда он, как клоун, бежал, торопился за ней с дурацкой выскальзывающей бутылкой. Сидел тут, пиво распивал, разглагольствовал. У-у!

Карташов за четыре шага дошел до двери, помедлил секунду, снял с вешалки кепку, пнул дверь и вы-

шел. Постоял в коридоре. Вернуться? Чего она, ведь взрослая баба. Нет. Нечего тут ловить, пусть ломается, сколько хочет. И, выругавшись, громко топая — слушайте соседи! — он пошел прочь.

Только затихли его шаги, Лиза составила горшок с фикусом на пол, табуретку придвинула к окну, открыла широкую форточку и долго смотрела, как уходит он, мелькая среди прохожих.

Как странно и удивительно началось их знакомство. Как будто кто подстроил их встречи. Разве не удивительно, что они встретились в магазине. Ведь и раньше встречались, наверно, сталкивались в дверях, стояли в очереди в кассу, но, как в потемках, не замечали друг друга. Удивительна была и встреча на картошке. И странный сон, который приснился ей накануне.

В этот день была годовщина смерти дочки, и снилось ей, что она шьет дочке распашонку и видит, что шьется у нее мужская рубаша. Сроду она не шила мужских рубаш, а получается хорошо. Отворяется дверь, кто-то вошел. Она спросила, ей не ответили. Она взяла ножницы, вышла на кухню, выглянула в коридор. Никого. Она вернулась в комнату и замерла от ужаса: в комнате, у кровати, стоит мужчина. Она замахнулась, но в руке у нее не ножницы, а цветок. Чудный летний цветок — длинненький мохнатый стерженок с зеленовато-розовыми бледными лепестками.

И когда на картошке она увидела Карташова, хоть он и был как все: так же пил, курил и ругался, она вспомнила сон. Но у того мужчины были злые, потемневшие глаза, а Мишка веселый, озорной.

У двери послышалась возня, шум. Лиза спешно поставила фикус на место, оправила кровать. Он?

— Заходи, заходи, Костенька, — говорил у открывшейся двери молодой смеющийся голос, — заходи, холод ведь идет. Тетя Лиза тебя забранит.

Это молодые соседи, Аня и Николай, опять вели к ней своего сына, полуторагодовалого Костю.

— Не забраню, не забраню, — коротко улыбнувшись, сказала Лиза кудрявенькому, на толстенных кривоватых ножках Косте. Но Костя закапризничал и не хотел перешагивать порог.

— Тетя Лиза,— попросила Аня,— посидите, пожалуйста, с ним, у нас культпоход в театр. Мы бы раньше зашли, да у вас был кто-то.

— Посижу, посижу,— покраснев, ответила Лиза.

Аня переставила маленького упрямца через порог и, не слушая его рассерженного рева, несла в комнату и ставила на столе бутылочки с кефиром, игрушки, на угол положила две большие фланелевые пеленки, несколько сухих колготок и клеенку.

— Тетя Лиза, так вы его и спать положите. Одну бутылочку полвосьмого дадите, а половинку перед сном, около девяти, он и заснет. Вот ключ.

— Нет, я в чужой комнате хозяйничать не буду. Укладу у себя на кровати, а вы потом перенесете к себе.

Лиза не раз сидела с Костей, бывало, и маялась с ним, когда спокойный веселый мальчик начинал капризничать и плакать. За труды Аня с Николаем подарили ей картинку, что теперь висела на перегородке. Что-нибудь другое она отказывалась взять.

Только мать с отцом ушли, Костя сразу успокоился и полез к Лизе на колени, чтоб она играла с ним. Лиза рассказала ему «Сороку-ворону», и Костя заранее ежился и забавно, тоненько визжал. Наигравшись на коленях, Костя попытался засунуть Лизе палец в рот, но Лиза, смеясь, отворачивалась, и Костя с коленей перебрался на кровать. Лиза встала и ходила у кровати, оберегая шалуна.

Всю жизнь она была с детьми. Когда мать умерла, на руках у нее остались брат и сестра. В детдом она их отдать не могла, а из интерната они на третий день прибежали в слезах: «Лизочка, сестричка, мы тебя всегда, всегда слушаться будем, не отдавай нас! Нам без тебя скучно». И пришлось ей быть им за мать, а вскоре она и сама стала матерью. Накорми всех, одень, постирай, в баню своди, проследи, как уроки сделаны, помири, когда поссорятся, поиграй с ними, повесели. А какое тут веселье... Сядешь, задумаешься. Одна. Денег не хватает. То дочка заболит, то молоко пропадет. Солдат, отец дочки, уехал и с приветом. Чего только он ей не обещал, чего не сулил. А после его отъезда стали к ней было захаживать его друзья. Вроде как по старой дружбе. Выгнала она их однажды и весь вечер ревела. А потом вот дочка умерла...

Всю свою жизнь хотела она рассказать ему, все, что залежалось в душе за долгие годы одиночества и тоски. Не было у нее подруг, не сходилась она с ними. А как хочется встретить человека, которому легко рассказать о себе, не боязно и не стыдно довериться. Не все забывается и, обессиленное временем, безвредно оседает в душе: не разделенные страдания томят чуткую душу и резкими возвратными уколами ранят ее. Надо человеку отворить свою душу, скинуть тяжесть гнетущих воспоминаний, чтобы можно было мечтать о будущем и жить настоящим.

*
* *

Отпуск шел своим чередом. Заглянули на днях к нему мужики с бутылкой. Он провел их на кухню, сготовил закусить, а сам пить не стал. Есть неотложные дела по хозяйству. Одну стопочку, правда, выпил, как говорится, для запаха, чтоб мужики не подумали чего. И хватит! Надо успокоиться, передышку взять. А то и спиться недолго. Как Алик Тихонов. Вместе в школе учились. Деловой человек был — инженер, институт закончил, а сейчас дошел до ручки: кочегаром вкалывает. Конечно, и кочегар — работа нужная, кто-то должен котлы топить, но если можешь быть хорошим инженером, не штаны в конторе протирать, а дело настоящее делать, зачем же губить себя.

Он вставил два стекла в зимние рамы — в конце марта была катавасия, зашли какие-то алкаши насчет стакана, он дал им, а они вместо благодарности оборзели, пришлось вышибать их с боем из квартиры; перекрыл сарайку, починил половицу на крыльце, съездил на кладбище, изобиходил там могилы отца с матерью. На обратном пути с кладбища разговорился он в автобусе с женщиной — воспитательницей из детсада. Посетовала она: не удается им песка для детей привезти. На другой день скатал он на работу, договорился с одним шофером и привез в детсад самосвал чистого речного песка. Пришлось, конечно, шоферу свою пятерку отдать, да не жалко, не столько в другой раз пропи- вавешь.

Думалось: за заботами и трудами привычно проте- чет время, но минуло всего три дня. Ну и что, а к ней ни ногой!

«Ох, Лизка, Лизка!» — вспоминал он ее. Теперь его особенно бесило и возмущало то, что она угощала его глазуньей. Заманивала. Думала, бич бездомный, пьяница горе-горький, накормлю, и Вася! будет похаживать, куплю глазуньей.

«Что я, ее глазуньи дешевой не едал?!» Он с грохотом вытащил из духовки сковородку. Вскоре растопилось, зашипело и забрызгало масло. Только бы тюкать яйцо боком о край сковородки и, разламывая его на половинки, выпускать на горячее скользкое сковородное дно упругую массу белка и желтка.

А яиц-то нет, не куплены!

Он в сердцах затолкнул сковородку назад в духовку.

Все! Довольно, наплевать и забыть! Но забыть было не просто, за что ни примись, воспоминания окольными путями приводили к ней. Вставляет он те же стекла и думает: кажись, у ней правое верхнее стекло растреснуто. Перекрывает сарайку, а в голове: интересно, у нее сарайка не течет?

Даже принявшись за мытье недельной посуды и отскреба ногтем намертво приклеившуюся рыбную кость, он не мог уйти от мыслей о Лизе. Хорошо ему воду на газу греть: пять минут — и чайник готов, а ей-то с керосином каково?

В детстве он бегал с трехлитровым бидончиком в керосинку к пристани. Сейчас на ее месте четырехэтажный дом с хлебным магазином. В керосинке постоянно был грустный, одуряющий керосиновый запах. Почему-то думалось, что так должны пахнуть пальмы, нарисованные на коробках, продававшихся тут же в керосинке. А сколько всякого другого добра было на полках! Мотки фитилей разнообразнейшей ширины, бокастые, с длинными трубчатыми шеями стекла к лампам, страшные бутылки денатурата с черепом того, кто его пьет, ведра, лопаты, напильники, гвозди, заманчивые и недоступные перочинные ножички, фонарики, даже вкусно пахнущий новыми ботинками хомут.

И откуда у плешатого дядьки берется столько сиреневатого, пахучего керосина, что сколько он его ни черпает литровым черпаком, керосин никогда не кончается? Воображение рисовало что-то необыкновенное, фантастическое, но, зайдя однажды за керосинку, он

увидел отпотевшую ржавую цистерну на чурбаках и подходившие к керосинке трубы.

Часто потом так бывало в жизни: заранее радуешься чему-нибудь необычайному, мечтаешь, ждешь, а в конечном итоге получается, что ничего нет, из-за чего стоило бы волноваться, все сводится к ржавой цистерне и знакомым неизбежным трубам.

Но, вспоминая керосинку, Карташов незаметно для себя вспоминал сумрачный коридор, кухню, запах супа, ее глаза, картинку, весенним пятном светившуюся на унылых обоях перегородки.

Пойти, что ли, к ней? И чего тогда расфуфырился, разозлился, убежал? Не вытерпел, надоело. Подумаешь, нетерпеливый какой. Больно горяч! Да что она, одна, что ли!

Дохлый номер все это. Никуда ходить больше не следует, не мальчишка бегать за ней. Но ведь он пообещал привезти дров. И не привезти нехорошо, болтуном окажешься, подумает — спьяну намолол и в кусты; а с другой стороны, с какой стати везти, если больше туда не пойдешь?

Нет, отвезу, после хоть сорвать с нее можно. Кому-то платить ей надо, все не чужому, своему. — Карташов невесело усмехнулся. — И где она дров сухих теперь купит, проволынила до осени. Тоже мне...

Домыв посуду, Карташов сходил на лесотаску, что была неподалеку, нашел машину. В обед они с Колькой накидали дров: потолочных балок, половиц, бревен, отвезли и свалили к ее сарайке. О сарайке пришлось спрашивать у соседей, Лиза работала. И хорошо — не объясняться с ней. Кольке он соврал, что дрова для двоюродной сестры, сочинил, почему сама не заготовила, и повел его на веранду, угощать за помощь пивом.

На веранде — обширном зале с бетонным полом и крышей из цветных волнистых листов — несмотря на середину дня, у высоких, по грудь, столиков пило пиво, разговаривало, курило и ругалось много взрослых мужчин. Под столиками бродила собачонка и, помахивая хвостиком, попрошайничала. Сквозило: ветерок шевелил на полу мятые комки бумаг.

— Не климат, — поеживаясь, сказал Карташов.

— Да, — согласился Колька и намекнул: в баре, дескать, в тепле. Но у Карташова были еще слишком свежи воспоминания о баре, да и не намерен он был поить Кольку. Перебьется, кружки четыре — и хватит с него.

За три столика от себя Карташов увидел Эдку Быкова. Года четыре назад они в одной бригаде вкалывали грузчиками в порту. Карташов там надорвал себе спину, и с того времени зимой стали мучить его приступы радикулита. Хотел на спор какую-то хреновину от земли оторвать, да не так взялся.

Пока шли обоюдные разговоры о житье-бытье: за работках, знакомых мужиках — Колька, чутко уловивший перемену обстановки, обернулся до магазина.

По веранде прохаживался участковый. Карташов знал его хорошо, однако в компании на знакомство рассчитывать не приходилось, и во избежание недоразумений, отхлебнув пива, водку разлили прямо в кружки.

С веранды открывался вид на реку: на том берегу стеной желтели тополя, вдали виднелся белый Петровский домик; глава церкви, недавно покрытая оцинкованным железом, вспыхивала белым блеском в лучах прорывавшегося сквозь облака солнца, а внизу, у переправы, шумно бурлил винтом катер и с плота доносились звуки полоскаемого белья.

Карташов, невнимательно слушая Эдку, рассеянно поглядывал по сторонам и улыбался, сам не зная чему. Как будто что-то ждало его впереди, ну не сегодня, так завтра или вообще. Ведь каждый надеется, что случится и с ним что-нибудь хорошее, и вся тусклая, как невымытое окно, жизнь повернется иначе.

— Клавка, Клавка, — суетливо зашептал Колька, по лицу его пробежала жадная и жалкая гримаска. — Мишка, секи момент.

Слегка откинув крупную, с высокой копной черных пышных волос голову, лениво и хитро посматривая на улыбавшихся и задевавших ее мужиков, среди столиков плавной вызывающей походкой шествовала девушка. С добросовестно накрашенными губами, с глазами в синячных полукружьях теней, слегка под хмельком, она играла в этом балагане перед самой собой роль Кармен, которая может с уверенностью смутить и увести любого.

Друг подавал мне водку в стакане.
Друг говорил, что это пройдет.
Друг познакомил с Веркой по пьяни,
Мол, Верка поможет, а водка спасет, —

затянул сзади хриплый магнитофонный голос.

Карташов посмотрел в спину Клавке.

— Что за баба у тебя? — спрашивал Эдька. — Женился опять?

— Иди ты.

— Кроме шуток. Неделю назад едем с холодильника, вижу, идешь с какой-то.

— Не женись, Михаил. Ты что, — решительно вступил уже совсем окосевший Колька.

— Есть тут у меня одна. Похаживаю изредка, чтоб не зазнавалась, — начал было Карташов и замолчал. Что попусту языком молоть. Не о чем было рассказывать. Обнял-то один раз. И то она позволила. Мужик называется!

«Ну, рассказывай, рассказывай! О картинке, о глазунье, что дрова сегодня за спасибо привез. О глазах Эдьке расскажи, чего ты в них увидел. Какое кино. Посчитает он тебя за дурака. И правильно сделает. Что в бабских глазах увидеть можно? Уловку одну. И что такое, по сути дела, глаза? Студень, и стеклышко внутри».

Карташову были приятны эти мысли, было приятно, что в пьяном озлоблении перечеркнул он все, что необъяснимо влекло его к Лизе, словно вернулся он в ту удобную обошенную одежду, в которой ходил столько лет, обтерпелся и привык к ней. Что с ним такое случилось, блажь какая-то. Ведь, бывало, и раньше давали ему от ворот поворот. А он только присвистнет, и аля-улю... рулю! А тут? И за кем? Фря какая нашлась, сырец-то в печку садит, а туда же — выкобенивается, порядочную корчит. Видал он всяких. Не живой человек она, что ли!

— Вот так, Эдик. Прощай! — сказал он угрюмо, с размаху припечатав ладонь к тяжелой мраморной плите столика.

«Если сразу зауркает, скажу, что за деньгами пришел».

Обшарив всю дверь — ручка куда-то пропала — Карташов рванул за край мешковины у притвора и вошел.

Все здесь было то же, только конторка застелена новой цветастой, еще распространявшей острый запах клеенкой, на полу раскатаны мягкие домотканые половики, а под умывальником не старая, с серым хоботом жестяная раковина, а нарядная, белая, эмалированная.

«Ждала», — подумал Карташов.

— Кто там? — Занавеска колыхнулась, и на кухню вошла Лиза. На лице ее играла улыбка, глаза сияли.

— Я и оклеить хотела, — сказала она.

— Зда-рово, — икнув, сказал Карташов и достал из-за пазухи бутылку вина и большую шоколадку. — Это вам, моя дорогая, — сказал он вежливо, как говорят хорошие кавалеры в кино, и хотел даже поклониться, но поостерегся.

Лиза не ответила. И так же быстро, как на лице ее выразилась радость, глаза ее потемнели, и что-то отгородилось в них от него.

— Как оно ничего-то? — расплываясь в довольной ухмылке, сказал он и хотел пройти в комнату.

— Куда? — холодно сказала Лиза, — нечего делать.

— Ну, ладно, Лиз. Подумаешь, выпил малость.

— Малость.

Лиза ушла в комнату. Ее долго не было. Карташов отогнул край занавески. Лиза, неподвижно глядя перед собой, стояла у комода.

— Не заходи, — строго сказала она и вышла на кухню, сжимая в руке перед грудью деньги.

— Дрова сколько стоят?

— Кончай ты, какие дрова. Волоки лучше чего-нибудь занюхать.

— Я говорю — сколько? Сколько? — повторила она дрогнувшими губами, и слезы брызнули у нее из глаз.

Карташов опешил. Ему было и лестно, что она плачет из-за него, и жалко ее, и в то же время сейчас бы в самый раз обнять ее.

— Тридцать рублей тебе хватит? — сказала она, поднимая на него покрасневшие глаза.

— Да кончай, чего ты неродная какая?

— С чего родной к тебе быть?

— А чего я сделал-то? — смерив ее взглядом, сказал Карташов.

— Ты! — вскрикнула Лиза и, раскрыв конторку, стала быстро выставлять на новую клеенку блюда с тонко нарезанной копченой колбасой, сыр, вазу с яблоками, конфеты, домашнее печенье.

— Выпьешь? — с восхищением спросил Карташов, сорвал пробку, разлил, хотел чокнуться, но Лиза схватила стопку и выпила.

— Ну чего ты? — виновато сказал Карташов и взял ее за руку.

— А то, — сказала Лиза вначале глухо, а потом громче и запальчивей, — а то. Один раз как человек пришел. Ты за кого меня принимаешь? Ты, может, думаешь, что я... я, может...

Как ни был он пьян, из этого потока слов ему было ясно, что она, чужая ему, с которой он знаком без году неделя, баба, заявляет на него властные, каких ей никто не думал давать, права, возмущается, кричит. Да кто она выговаривать ему?

— Чего ты кричишь на меня? Пьяный, драный — не нужен? Скажи спасибо, что такой пришел.

Лиза вырвала руку, презрительно сжатыми губами показала на деньги.

— Забирай, коли надо, и...

— Чего?

— Что слышал.

— Лиза! — крикнул он, придыхая, и шагнул к ней. — Лиза!

— Нечего, нечего, — сказала она, сведя брови, — только посмей.

Нет, нахрапом ее не возьмешь, перед ним была не та милая и нежная Лиза, какую встречал он в ней всегда, а твердая, ершистая баба, которая не даст себя в обиду.

— Эх ты, — сказал он сквозь зубы, и все, что он думал о ней на веранде, чем тешил себя, выпивая с ней, мутной яростью подперло к горлу. — Да заведи ты их, что я, на тебе зарабатывать буду? — остановившись взглядом на деньгах, взорвался Карташов и, не желая больше сдерживать себя, вырвал у нее деньги и швырнул их на пол. Он кинулся к двери, но всегда легко отпиравшаяся дверь не открывалась. Он толкал ее плечом, бешено пинал коленом, пока Лиза не

откинула перед его лицом крючок. Он едва не упал, но удержался за ручку.

Он посмотрел последний раз на Лизу, и так ему хотелось сказануть что-нибудь такое, чтоб утолить все, что накипело в душе, да в голову ничего не шло. Он горько и жалко улыбнулся, увидев ее ситцевый тонкий халат, белые ноги в стоптанных тапках, глаза, и бросился вон.

— Миша, Миша,— крикнула Лиза вдогонку, но он не слушал ее.

Лиза подобрала деньги, положила их в комод и достала из ящика спичечный коробок, который он оставил, когда был в тот раз. Коробок был старый, с отодранной наклейкой, между корытцем и нижней стенкой несколько горелых спичин.

«Пойти догнать его, поговорить с ним. Он успокоится. Нет, сейчас бесполезно. Не поймет, не услышит».

В коробке было три спички. Лиза зажгла одну и смотрела на ярко-желтое, по низу с голубоватой и фиолетовой кромочкой пламя.

«Но и так все оставить нельзя, невозможно...»

Карташов дошел до веранды и, пока шел, все оглядывался, грозил кулаком. «Хватит надо мной издеваться!»

На веранде народу было не впрокорот, он направился к «Поплавку», там вообще не протолкаться, и он пошел по набережной куда глаза глядят.

«Домой идти? Забираться в пустую, одинокую квартиру? К друзьям податься? Опротивели все, эсточертели. Не друзья — собутыльники, нет у него ни одного настоящего друга. Скоты, скоты все. Скотская, собачья жизнь. Нет никого, кто бы, расставшись с ним, подумал, вспомнил о нем».

Обленившись, остыв душой, привыкнув с годами жить только своими побуждениями и привычками, с каким мучительным трудом человек открывает вдруг, что встретила на пути его, назначенная неисповедимым жребием судьбы, открытая, добрая и светлая душа, которая простит ему все, которая будет любить не за что-то, а только потому, что он есть. В любом человеке жива потребность женской, семей-

ной заботы и доброты, ласки, того, чем держится весь этот мужицкий мир.

Карташов шел по лужам, не замечая сторонившихся прохожих.

— Куда прешь! — Встречный толчок в плечо остановил его.

Карташов поднял голову. Навалившись спиной на перила набережной, в куртке с бахромой по поясу, на него безразлично смотрела Клавка. Та, с веранды.

— Это мне, что ли? — спросил Карташов у стоявших рядом с Клавкой двух парней.

— Тебе, тебе. Дёргай отсюда, — выпячивая нижнюю губу, говорил парень с огибавшими рот, каких Карташов терпеть не мог, усами.

— Неясно? — нехорошо улыбнувшись, сказал второй парень в очках. — Можно пояснить, — и он играючи пошлепал Карташова по щеке.

Карташов, слегка покачиваясь, со скорбным, задумчивым выражением лица, прищулив левый глаз, долго смотрел на этих сосунков. А парни, уже забыв о нем, в два голоса пели Клавке какую-то чушь.

Карташов левой рукой мотнул с размаху парня в очках на железные перила набережной, схватил усатого за плечи, крутанул спиной к себе и, толкнув что было сил вперед, послал вдогонку пинок. Ноги парня не поспевали за туловищем, и после нескольких безуспешных попыток совладать с непослушным телом усатый, ссаживая в кровь ладони, полетел на дорогу.

— Пошли, Клава. Я вина куплю.

Клавка подхватила Карташова под руку.

Парни, обескураженные столь решительной и скорой расправой, опомнились не вдруг, и Карташов с Клавкой прошли порядком, пока услышали торопливую дробь настигавших их шагов. Клавка занервничала, заспешила, но Карташов не давал ей идти быстро.

— Отстаньте, ну, — обернувшись, сказала Клавка.

— Замри, курва, — оборвал ее дрожащий, прерывистый голос.

Карташов резко остановился. Усатый с искаженным от злобы лицом сунул руку в карман. Карташов прыгнул к нему и, запнувшись за чью-то ногу, растянулся на асфальте. Встать он не успел, его пнули снизу под грудь. Долгое, ужасное мгновение,

когда все в нем остановилось, перешибленное этим пинком, он стоял на четвереньках. Страшным усилием воли Карташов все же поднялся. Парни били его со всех сторон, однако свалить его снова и скорей начать пинать, никак не могли. Обливаясь кровью из разбитого носа, прижимая голову к груди, уворачиваясь, Карташов медленно восстанавливал дыхание. Усатый наконец вытащил из кармана вентиль водопроводного крана.

— Милиция!

От дивизиона дорожной милиции сюда бежало несколько человек в развевавшихся как крылья кителях.

Карташов левым крюком подцепил зарвавшегося очкастого и, набычившись, ринулся на усатого. На этот раз тот не отскочил. Правда, вентилем он его все же двинул, но в ударе уже не было силы, да и пришелся он в грудь.

Забежав во двор, они с Клавкой спрыгнули в неглубокую траншею, пробежали по ней под забором и через другой двор, где в песочнице играли дети, петляя между поленниц и сараек, выбежали на другую улицу, уже далеко от набережной.

Клавка подвела Карташова к колонке и, оставив ноги, чтоб не забрызгать чулки, вымыла ему лицо.

Клавка жила в крупнопанельном доме. Три двери на лестничной клетке. Клавкина средняя. «Двухкомнатная, значит», — машинально подметил Карташов. Он около двух лет проработал на ДСК сначала в формовочном цехе, потом на стройке, и хорошо знал планировку домов этой серии.

Дверь им открыла старуха.

— Бабка моя, — сказала сразу Клавка. — Старая, Ольга где?

— Уроки готовит, тише, — сказала похожая на мышку бабка.

— Нечего «тише», пусть привыкает. Да не копайся ты, ну! — Клавка ткнула Карташова длинным маникюрным ногтем. — Иди в башмаках, старая затрет, все равно ей делать нечего.

А он решил развязать шнурок. В пятом классе учили они по истории, как какой-то там греческий

царь не мог распутать узел и рассек его мечом. Надо же, царь! Он не распутал, а я распутаю! Нужно только очень, очень внимательно вникнуть, куда шнурок повернул, ведь по сути дела поворачивается-то он всякий раз вокруг самого себя. Потерпеть, и все выйдет. «А с Лизкой-то не вышло!» — вдруг тихонько шепнул ему чей-то голос.

— Заснул там, что ли, эй! — звала Клавка.

— Не вышло, так выйдет, — зло сказал он и, рванув, оборвал шнурок.

— Конечно, заснул, — сказала Клавка, входя в прихожую. — С кем это ты тут болтаешь? Вставай, вставай.

А он устал сегодня — и от драки, и от всего. Какой длинный, сумасшедший день. Зачем еще вставать да куда-то идти, посидеть бы тут, подремать в уголке.

Дверь, за которой скрылась бабка, скрипнула, и в прихожей появилась девочка. Большая, в чистеньком платице, в туфельках. Девочка внимательно осмотрела Карташова, взглянула на мать и пошла к бабушке.

— Куда? — вернула ее Клавка. — Как я тебя воспитываю? Почему не здороваешься?

— Здравствуйте. — Девочка подошла к Карташову. — Это мой новый папа?

— Да, да, — хрипло захохотала Клавка, — поцелуй его.

Оля с беззастенчивостью попрошайки забралась на колени Карташова, поцеловала его в щеку, глянула на мать и, видя ее в том состоянии, когда она не злится по всякому поводу, а, наоборот, все разрешает, снова поцеловала Карташова, удивляясь, отчего же этот дядя не дает ей шоколадку.

— Фу, дядька, — сказала Оля, слезая с коленей Карташова, и хлопнула его ладонью по щеке. Клавка засмеялась.

— Оля, Олюшка, — шепотком звала ее из комнаты бабушка, но Оля не шла: если бабушка и осердится, мать заступится.

— Фу, дядька! — Оля вновь подошла к Карташову и попятилась: Карташов плакал.

Очнувшись на миг, он увидел Олю, ее тонкие нежные волосы на лбу и висках, ее тонкие ручки, ножки в коричневых рубчатых колготках, губки, целовавшие

его, и ему стало отчего-то тяжело и грустно. А глядя на Клавку, хохотавшую покрашенным ртом, он совсем не к месту вспомнил Лизу, как вышла она из сарая, над которым застыло большое, так удивившее его тогда облако.

У Клавки в квартире был натуральный шанхай: чуть ли не каждый вечер сюда закатывались компании пьяных парней и девок, и начинался гудеж. Снизу прибегали соседи, их встречали руганью и хохотом и только при угрозе позвать милиционера ненадолго стихали.

Казалось, чего бы еще желать: веселая жизнь, не заскучаешь, но ему здесь быстро надоело. Как и обычно на всех временных, которые он скоро забывал, пристанищах. Надо было сматываться отсюда, а он все медлил, чего-то оттягивал. Может, из-за Оли? Они подружились с нею, раза два он читал ей единственную в доме старую истрепанную книжку. Оле очень нравился рассказ о льве и собачке.

— Дядя Миша,— спрашивала она,— почему же лев одну собачку разорвал, а другую нет?

Карташов усмехнулся.

— Полюбил ее, видно.

— А почему ты не полюбил?

Карташов пожимал плечами. Как он мог объяснить Оле, если и сам не знал. Знать, судьба ее такая.

Клавка, наблюдавшая эту сцену, посмеивалась.

— Ты еще в куклы с ней поиграй. Иди-ко я тебе бантик завяжу. Иди.

Оля была смышленная, избалованная и хитрая девочка, умело пользовавшаяся выгодами своего двойственного положения. Бабушка, как могла, учила ее добру, а мать старалась все делать наперекор. Карташов видел, что Клавка портит девочку, а что он мог поделать? Не оставаться же тут навсегда.

И ушел он отсюда из-за Оли.

В понедельник Оля ушла в школу, Клавка отправилась добыть опохмелиться, бабка уползла на рынок, а Карташов хлебнул из заварного чайника горького холодного чая и сел у окна ждать Клавку.

Так сидеть было тошно. От нечего делать он стал прибираться: выполоскал в ванне метелку, подмел

езде, намочил тряпку и стер пыль с телевизора, полированного шкафа, серванта, полного посуды. Обстановочка, нечего сказать, не сравнишь с Лизкиной, только здесь, как в гостинице, а у Лизки хоть и убого по нынешним понятиям, зато привычно и уютно, как в гнезде.

За чайным сервизом он увидел темно-сиреневый альбом с вытисненным в правом верхнем углу оленем. Карташов достал альбом, полистал, хотел положить назад — какое ему дело до жизни незнакомых, чужих людей, но перевернул еще листок. Перед большим тенистым кустом, опустив руки вдоль легкого, расширившегося книзу платица, стояла девочка лет десяти. На лице ее было выражение удерживаемой улыбки, будто ей сказали не улыбаться, и она старается выглядеть серьезной, но не только губы и глаза — все светится в ней, лучится полной счастливой улыбкой детства.

Как была далека эта светлая девочка от той, с кем ночует он здесь. Отчего же, как получилось, что девочка сделалась Клавкой? Но на этот вопрос нет ответа. Как и на тот, почему люди пьют. Вернее, ответ был, и ученые весьма подробно вскрывали причины, по которым человек пил или делался Клавкой. Только ответы не меняли дело, они не уничтожали зла.

Что-то часто стали посещать его эти новые мысли, которые он считал давно похороненными вместе с куцыми, быстро промелькнувшими мечтами юности.

«Зачем я здесь? Если б я не пришел...»

— Эй, чего носом клюешь? Ночь-то где был? — прервал его мысли голос Клавки.

Карташов положил альбом в сервант, прошел в прихожую.

— Не достала ничего. Сволочи проклятые, — злилась Клавка. — Видела, что мужику какому-то сунула, а мне нет. Стерва, спекулянтка проклятая.

Скоро пришли Оля с бабушкой. Карташов помог Оле выпростать руки из ремней ранца.

— Как училась? — увидев дочь, для порядка спросила Клавка.

— Учительница сказала, я плохо пишу, — бойко ответила Оля: кажется, сегодня мама в хорошем настроении.

— Тетрадь! — рявкнула Клавка, и Оля поняла, что

промахнулась. Дрожащими ручками Оля расстегивала ранец.

— Долго ждать? — Клавка вырвала тетрадь из ранца, перелистала, сунула Карташову и сняла с гвоздя ремень.

В тетрадке были рядки закорючек, над которыми в свое время пыхтят все первоклассники. Карташову закорючки понравились, ему бы сейчас так не нарисовать.

— Что ты, собака, — попыталась вступить за Олю бабушка. — Ребенок не разделся еще.

— Заткнись, старая вешалка!

Карташов, как взрослый человек, понимал: не надо соваться не в свое дело, но и равнодушно слышать визжащий Олин плач он не мог. Может, правда чего девчонка не поняла, устала, вечер опять до полночи глумились.

Оля вырывалась, но мать держала цепко, и всюду девочку настигал черный, вероятно, оставшийся от одного из пап ремень.

Карташова в детстве отец порол почем зря, но, не смотря на это, Карташов не считал, что битье прибавляет детям ума.

— Хватит, хватит. Хорошо, Клавдия. — Он подставил руку под ремень.

— А-а! — радостно взвизгнула Клавка и огрела его ремнем по щеке. Карташов вздрогнул, но при Оле ударить ее не смог. Перехватив Клавкину руку, он вырвал ремень. Клавка, как кошка, кинулась на него, плевала в лицо, пиналась. Карташов, краем глаза увидев, как трясется в рыданиях, обнимая бабушку, Оля, заломил Клавке руки к лопаткам, затолкал ее в уборную и запер там. Хотел он дать ей хорошую плюху, чтоб не издевалась над ребенком, да пожалел ее.

Вечером этого же дня, помывшись в бане, он пил у себя на кухне чай.

Отпуск кончался. Осталась неделя. И, как всегда, отпуск — одно только пьянство. У Клавки просадил он оставшиеся отпускные: поил всех ее гостей-пьянчуг, а сегодня подал ей последнюю пятерку. Жалко Олюшку, влетит ей за его заступничество.

Карташов ополоснул кружку кипятком, вытер, поставил в буфет.

Придется или раньше из отпуска выходить, или на халтуру идти. На Товарный двор, а то в тот же порт. Или загнать чего-нибудь на барахолке.

В окно легонько постучали. Карташов отдернул занавеску.

— Это я, я, Миша,— говорила за окном Галя.— В дверь стучусь — не слышишь, а вижу, что дома. Дай, Миша, на ночь твоей кошки, крыса вторую ночь за обоями скребется, спасу нет.

Карташов сходил в комнату, взял за шиворот спавшую на диване Буфку, принес и подал в окно Гале.

— Муська-то где у вас?

— Задавили. Весной еще. Машин-то теперь, носятся как бешеные.

— Чего ж ты мне раньше не сказала? Эта притвора,— Карташов погладил по голове норовившую спрыгнуть с рук Гали и удрать кошку,— пятерых нынче принесла. Трех-то я кое-как пристроил, распи-хал по знакомым...

— Миша,— перебила Галя, которой, видимо, не терпелось сказать об этом,— на днях женщина тебя какая-то спрашивала. Я как раз белье развешивала. Она и спрашивает: живет в вашем доме Миша? А фамилии не знает. У нас двое, я говорю, один Миша-художник. Она говорит — какой художник, работяга он, в земле колуется.

— Утюг-то как, ничего? — уходя от разговора и ничем не удовлетворив любопытство Гали, спросил Карташов.

— Хорошо, хорошо, спасибо, Миша.

Еще днем, уходя от Клавки, он хотел зайти к ней. Можно бы, конечно, сделать наглую рожу и закатиться, но после скандала, после Клавки...

Выходит, не одно пьянство, было и хорошее в отпуске. Да чего уж хорошего, ходил к ней, как кобель, только для себя, а о ней не подумал. А она ведь тоже человек, а не машина для... С чего он взял, что она такая, как все, то есть как он сам, в первую очередь?

В тот вечер она что-то кричала. Надо было вер-

нуться, поговорить по-хорошему. Да какие уж тут разговоры, когда так налился.

Днем он не зашел. А сейчас идти поздно, ночь уже на дворе. «Ну так что, хоть мимо дома пройти», — подумал Карташов и усмехнулся. Он, тридцатилетний путаник, который развелся с женой, пил и шатался где попало, сейчас был совсем как мальчишка, которому и мимо дома Лизы пройти в радость.

В ее окне горел свет. Карташов походил под окном, хотел заглянуть, но окно было высоко: полезешь, услышит. Он закурил, прошелся по проспекту до «Золотого Якоря» — магазина через два дома от Лизы.

Он любил этот укромный, в центре города, с лепными гирляндами по потолку магазинчик. В послевоенные голодные годы, когда и за хлебом приходилось выстаивать очереди, упросил он мать, и она купила ему здесь 100 граммов фруктового сахара.

Карташов зашел в магазин. В кондитерском отделе и прилавков был еще тот, прежний, с лучистой дыркой в гнutom стекле витрины. Улыбнувшись, Карташов выгреб последнюю мелочь из кармана — 28 копеек. Как раз на 200 граммов фруктового сахара, словно знал он, что зайдет сюда.

Потом он поднялся в знакомый, в котором не было столько дней, коридор, крадучись, подошел к ее двери и, едва прикасаясь ухом к холстине обивки, прислушался. Сначала в ушах была шумящая тишина, затем сквозь нее просочились один за другим звуки, сливаясь в приглушенную, словно у него в голове звучащую мелодию.

Пусть осень проходит,
Зима-а-а пролетит.
Зи-и-има-а-а пролети-и-и-ит. —

еле различимо звенел комариный голосок.

А ему вдруг показалось, что за дверью стоит Лиза и тоже прислушивается. Но как она могла узнать, ведь он стоял тихо, не скрипнул половицей, не прислонился к двери. И чем сильнее он об этом думал, тем явственнее ощущал это; ему даже казалось, что он слышит ее настороженное горячее дыхание.

И правда — Лиза стояла за дверью. Она разделась, чтобы лечь спать, и уже хотела выключать радио, как вдруг ей стало невыразимо страшно. Как

будто кто-то стоял за дверью. Она сняла тапки, подошла к двери и, стоя на пороге, прислушалась. Ничего не слышно. Но страх не проходил. Она хотела открыть дверь и посмотреть, чтобы успокоить себя, но не могла. Она отошла от двери и с захолонувшим сердцем слышала шорох. Замерев, она медленно вернулась к двери, постояла, приотворила ее и выглянула. Никого. Что-то упало с легким стуком. Лиза с опаской подняла небольшой кулек.

Карташов прибежал домой, лег сразу спать и, улыбаясь, как школьник, сделавший незлую проказу, радовался, что утром она найдет кулек и будет гадать: откуда он?

И припомнилась ему его недолгая, нескладная семейная жизнь. Женился он, можно сказать, на спор, сразу после армии. Друзья сказали ему про одну девушку, что она не пойдет с ним после танцев. Он побился на литру водки, и она не только пошла, но и вскоре стала его женой.

С первых же месяцев начались ссоры, ругань, что домой пьяным приходит, денег мало дает, по дому не помогает. А ему хотелось с друзьями гулять. И ведь все, кого он знал, жили так, и пили, и деньги от жен утаивали, случалось, и погуливали, и это считалось нормальной жизнью, все как-то устраивались, свыкались.

Последняя ссора, в которой вылилось все накопившееся за год совместного житья, была из-за пустяка. Из-за дверных петель. У них уже был ребенок, а дверь в комнату так скрипела, что ни зайти, ни выйти: ребенок просыпался и начинал верещать. Жена не раз говорила ему о петлях, он обещал и забывал тут же, но однажды, он только вошел в дом, она завелась и понесла на него. Он пришел пьяный, с мужиками, и ему было не до петель и не до ребенка, и чтоб она замолчала, он ударил ее. Несильно, так, для вида, чтоб отвязалась. Жена разревелась, вызвала милицию, и его посадили на 15 суток... Короче говоря, они разошлись и договорились только, что на алименты подавать она не будет, он станет высылать сам.

Но если многие так живут, значит, нужно жить не так. Нужно отойти от прошлой жизни и подумать

о себе. Если верить в жизнь, как спорили Юра с Женькой, то только в добрую жизнь. Но что такое — добрая жизнь?

Карташов приподнялся над подушкой. Кажется, в дверь стучатся? Может, послышалось? Нет, стук не умолкал. Карташов соскочил с постели, вышел в прихожую. В дверь колотили без передышки, крючок так и прыгал. Карташов, нахмурившись: кто еще дурачится тут, открыл дверь.

На крыльце стояла Лиза. В руке она держала кулек, и глаза ее, как тогда на остановке автобуса, бегали вверх-вниз по его лицу. Холод осенней ночи пахнул ему по ногам. Батюшки, он же стоит перед ней в одних трусах!

— Ты! Проходи, проходи, Лиза. Проходи на кухню, выключатель у окна, проходи, я оденусь.

Лиза вошла в прихожую, но на кухню не пошла, а следом за ним в комнату.

— Чего ты? Дай одеться-то мне. Иди на кухню,— говорил Карташов и, стесняясь, поспешно натягивал брюки, отвернувшись, застегивался.

— Дров-то не пилила еще?

Лиза молчала.

— Ну, что делать будем?— одевшись, сказал Карташов и, опустив руки, смотрел на нее.

— Чай пить. Сам звал.

— Когда?

— Забыл, что ли?

— А когда? Ну, ладно, пошли тогда чай пить.

Карташов шел впереди ее узким коридорчиком между стеной и нетопившейся русской печкой.

— Я пилу свою принесу, у меня хорошая, сама тонет. Надо расширять тебе поскорей, пока дожди не начались,— говорил он.

Лиза потянула его за рукав. Он обернулся. Она обвила его за шею рукой и поцеловала. Карташов обнял ее.

— Давай, вместе жить, Лиза.

Она глядела на него исподлобья.

— Ну, так чего?

— Чаем-то будешь меня поить? Где со слонем-то твой, хваленый? — Она прошла мимо него на кухню и, включив свет, высыпала на стол сахар, цветные сладкие кубики.

ДОЛГИ НАШИ

1

Дорога всегда возбуждала в нем какое-то застарелое чувство тревоги, и родившееся теперь желание ощутить ее вызвало за собой массу других впечатлений. Вот он спускается по лестнице, шаг за шагом приближаясь к двери подъезда, и уже внутренние готсвит себя вдохнуть запах улицы, увидеть крыши домов и узкие полоски света в окнах, от которых расползаются по земле удлинненные тени... И он поднялся, пошел, хотя мог бы сидеть дома, по крайней мере, еще с полчаса — рано было идти на работу, — но что-то толкало его вперед, не давало сегодня сидеть спокойно — что-то важное должно было совершиться сегодня с ним...

Фомин шел по дорожке, держа в руке на весу плащ. Тихо шелестел, путаясь в листьях, ветерок, по тротуарам в оба конца разметало тополевы пух. Легкий, похожий на цвет одуванчика, он крутился выюном на асфальте, собираясь валками вокруг серых стволов деревьев. Натужно кряхтя, проползла по улице поливочная машина и смыла его с обочин. Потемневший от грязи, смешанный с дорожным хламом, пух сморщился и перестал петлять.

Последняя волна подгулявших горожан разбредалась по домам, покидая улицы. Изредка слышался смех и запоздалое, словно гром после дождя, бренчанье гитары. В окнах гасили свет.

На трамвайной остановке собиралась ночная смена. В бледном отсвете фонарей передвигались тени, темнея пятнами на мощеных дорожках.

...Тихо в трамвае, сумрачно. Только слышно, как похрустывает на рельсах песок да скребется вверху о проволоку трамвайная дуга.

Кто-то в передних рядах встряхивает в кармане спичечную коробку, готовясь на выходе закурить, кто-то шелестит газетой. Между собой почти никто не переговаривается — мало знакомых.

Но вот вагон качнуло в последний раз, дверцы переломились, и зашаркали ботинки по решетчатому настилу — вниз по ступенькам и на асфальт. Теперь можно закурить...

Прогретьшаяся за день и не остывшая до сих пор земля, по которой он шел, напоминала Фомину, что смена для него началась. Вернее, началась не сама смена, а тот внутренний рабочий процесс, который свяжет его с мартеном до семи утра. Стоило ему только оказаться вне трамвая и поднять голову, чтобы посмотреть, какой над трубой дым, как он тут же чувствовал, что уже приступил к работе.

Трубы для мартеновцев — это что-то вроде барометра. Все дело в том, какого цвета из них валит дым. Бурый — значит, идет завалка металлолома, выгорает железо.

Сегодня дымок еле заметный — доводка плавки. Через час, самое большее полтора, десятую печь оставят на ремонт. Разберут ее ремонтники, разломают так, что страшно будет глянуть в ее обезображенное нутро. Правда, потом все сполна окупится: свод выложат новый, наварят броневые листы — только знай пошевеливайся.

Фомин представил, как крутится сейчас его сменщик Бобров: неумелой рукой подрисовывает на диаграмме красные зигзаги и полукружья, чтобы оправдаться перед сменным теплотехником; как подручные Боброва, уверовав в собственные слова, втолковывают дежурному наладчику, что приборы на десятой действительно оказались с изъяном...

«Прохвосты,— думает про них Фомин.— Кто же вам так поверит? Дураки нынче перевелись. Опять же, если с другой стороны, зачем сталевару голова дана? Соображать надо: диаграмму наладчик и сам

подрисует, его ведь по головке за простой тоже не погладят. Уж это надо бы знать...»

Однако Бобров сегодня выглядел на удивление веселым. Облокотясь на массивный, приваренный к полу бортик, Бобров стоял возле пульта, утирая лицо рукавом рубахи. Белый, довольный оскал зубов говорил о том, что плавку сделали на совесть и даже, возможно, при установленной для всех норме кислородного дутья. Хотя в последнее верилось с трудом — если не с кислородом, так с чем-нибудь другим обязательно намудрили, — но печь была на доводке, и в том, что плавку все-таки сделали, сомнений быть не могло.

Фомин знаком попросил приподнять крышку и подошел к печи. Заслонясь от огня рукавицей, глянул внутрь. Разбрызгивая искры, ошалело бросаясь на кирпичную кладку, металл пузырился у перевала.

Обратный взмах руки и — на пульте сигнал приняли: крышка поползла вниз.

— Доконал грыжу, — нагоняя на себя удаль, похвастался Бобров, показывая рукой на печь.

— На каком принял? — спросил Фомин.

— Что? — не понял сталевар.

— Печь, говорю, на каком периоде принял?

Чтобы отгородиться от шума и не так кричать, Фомин поманил сменщика за собой. Дверь изнутри прижал ботинком.

— На завалке?

— На завалке, — кивнул сталевар.

— Долго удержишь.

— Плавку, что ли? Десять часов... Я при чем? — уже не слушал, о чем его спрашивают, оправдывался Бобров. — Железо в трех составах, одна стружка. Тяжеловесные составы все ушли на шестую.

— Это в честь чего?

— Ты откуда упал? Не оттуда? — Бобров указал на цеховую крышу. — Тут такие дела творятся! Прожогину на лацкан идет! — Покрутив перед собой пальцем, сталевар поднял его вверх.

— Куда идет? — не понял Фомин.

— На лацкан. Соображаешь?.. Нужны рекорды, иначе ему крышка.

— Да ведь он не тянет.

— Ну и что? Тяжеловесные дадут — потянешь.

— Так-так... А тебе, значит, три состава стружки?

— Если бы в стружке дело, еще ладно. А дело-то в том, что Лукич наш, с четвертой печки, это пронюхал и тоже туда: «Я чем хуже?» Ему говорят: «Не Прожогин». А он опять: «Чем хуже?»

— А и верно: чем хуже? — поддакнул Фомин.

— Но ведь и не Прожогин? — за кого-то ответил Бобров. — Слушай дальше. Чтобы шуму не поднимать, Лукичу что-то пообещали. Выгорит или нет — дело темное. Только, вишь ты, что выходит...

И в это время, как напоминание о том, что сталевар увлекся, загудел тепловоз, проглотив окончание бобровской фразы. Несколько секунд, когда был слышен только гудок, оказалось достаточно, чтобы покончить с историей Прожогина.

— Значит, гляжу, свод у меня блесит, — опять тараторил Бобров. — А я состав с железом завалил.

— То есть как блесит? — не понял Фомин.

— На пережиге. Прогорел!

— Подожди-подожди: левый?

— Левый!.. Только бы мне второй состав валить, гляжу — воздушные насадки у меня не тянут. Я туда-сюда, звоню в диспетчерскую...

— А как же свод?

— Теперь не блесит. Между составами ребята дырку заткнули. Пробу отослал...

И опять наверху щелкнул цеховой селектор: «На десятую печь углерод шестнадцать», — сообщил женский голос.

— Порядок, — обрадовался Бобров. Он враз как-то оживился, посветлел лицом. — Шестнадцать так шестнадцать! Ребята, давай!..

Натягивая на ходу куртки, подручные Боброва уже шли навстречу огню. Фомин понял, что сейчас Боброву не до него, — пора уходить...

II

Минут за пять до смены, запыхавшийся от быстрой ходьбы, Славка Горшков влетал в душевую. Скинув с себя чистое белье, вытаскивал из шкафчика суконные, в заплатах, штаны и начинал их натягивать. Так повторялось изо дня в день. Разница была только в одном: за сколько секунд оденется.

Сегодня штаны налезать не хотели. Правая штанина волочилась по полу, собирая пыль. Серая, тоже в заплатках, куртка валялась у батареи.

Славкин напарник, третий подручный все с той же десятой печи Женька Лузин стоял рядом, уже одетый в суконную и не менее драную, чем у остальных, робу, и советовал, как лучше управиться со штанами.

— Ты, Горшков, не по инструкции надеваешь, вот они и не лезут.

— Это по какой еще инструкции?

— А по такой,— оживился Лузин.— Ты залезай на шкаф, а я штаны подержу. Прыгнешь сверху — как раз угадаешь.

— Стратег,— хмыкнул подручный,— вали отсюда! У них срок годности вышел, а ты инструкцию. Новую спецуру гони! Начальник я для тебя или нет?..

Штаны удалось все-таки натянуть. Закрыв на крючок дверцы шкафчика и затягивая на ходу широкий флотский ремень, Славка направился к выходу. Женька стоял и ждал его у окна.

— Здорово, допризывник!

Женька в ответ сделал рукой приветик:

— Наше вам с кисточкой.

Поравнявшись, подручные вцепились друг другу в рубахи. Каждый норовил непременно схватить другого за ворот, чтобы удержать на расстоянии вытянутой руки и не дать хорошо ухватиться. Брызнули у обоих на груди пуговицы. Первым не выдержал и завопил Славка:

— Э, хорош! Выходную рубаху испортил. Конфисковую премию!.. Ну вот: самая большая лопата теперь твоя. Так и запомни: самая большая!

— Сам возьмишь,— пререкался Женька.

Оба они, раскрасневшиеся, опустили на теплый цементный пол. Через открытую форточку долетали гудки мартеновских тепловозов. От батареи несло ржавчиной. Поминутно, пропуская все новые партии металлургов, хлопала дверь душевой.

Надо было беречь силы: впереди целая ночь...

Тяжела была для него совковая. Как посмотрит на нее, так и тошно станет. Будь проклят тот день, когда решил стать металлургом. «За что,— думал

он,— за какую провинность такая мука? По семь потов каждую смену!..»

Временами, когда становилось совсем немого, в короткие передышки между работой, ему вдруг начинало казаться, что вроде бы и не было никогда обыкновенного парня Вячеслава Горшкова. Не было школы, технического училища, не было занятий в классах, учебников и чертежей на ватмане — ничего этого не было. А с самого рождения, как только себя помнит, был и есть второй подручный сталевара мартеновской печи номер десять Славка Горшков. Это он помнил...

Чтобы подняться на одну ступеньку вверх, нужно вакантное место. Это место должен уступить первый подручный Савельев. Но пока работает в смене Фомин, Савельева сталеваром никто не поставит, даже если тот и окончил техникум; хотя Савельев и хороший металлург, опытный. Когда Фомин уходит, например, в отпуск, за него остается Савельев, и ни разу еще за два года не бывало, чтобы при нем бригада сорвала график или выпустила холодный металл. Даже наоборот: когда Савельев остается за сталевара, у подручных не выкраивается времени, чтобы передохнуть, потому что Савельеву хочется непременно выпустить плавку раньше срока. Отчего это? Может, он хочет показать, что умеет варить сталь лучше и быстрее других? Или хочет потеснить Фомина, занять его место?..

«Значит, все ниточки ведут к Фомину, — размышлял Славка, — и пока Фомин не уйдет, все останется на своих местах. Это и без чертежей ясно. Но зачем тогда чертежи были, если, кроме лопаты, ты все равно ничего не видишь? А кстати, лопата имеет самое простое устройство. В одиннадцать вечера берешь ее в руки, в семь утра передаешь сменщику, а в одиннадцать получаешь снова...»

А когда-то Славка думал, что выпустит плавку, и все бросят его поздравлять. Будут тискать в объятиях... Все оказалось иначе: простая работа, от других отличается только тем, что рядом металл в полторы тысячи градусов. И рубаха к телу липнет, и некогда ее скинуть. Попробуй лопату бросить, если шлак пороги забил! Шлак ползет на площадку, разъедает пол и подошвы ботинок. Попробуй бросить лопату, когда

рядом стоит сталевар, которого можно почитать за бога...

«Пора идти, — решил он. — Фомин не любит, когда опаздывают».

В ожидании встречи сменных бригад мартеновцы делились новостями. Сталевары по праву старшинства сидели в передних рядах.

В комнате появился начальник смены, поздоровался, тем, кто сидел ближе, подал руку. Приладив с краю стола каску, опустился на черный от грязи фанерный стул. Выждав с минуту, пока утихнет в дальнем конце гул, открыл журнал.

Журнал этот, разрисованный разноцветными квадратами, каждый из которых означал определенный период плавения, имел магическое действие. На подручных у стены цыкнули, они притаились, и тотчас стало слышно, как где-то под потолком бьется о стекло муха.

Сухим, чуть надтреснутым от мартеновской гари голосом начальник смены зачитал график:

— На первую печь — кипящая сталь. Время выпуска — два тридцать.

— Час тридцать, — поправил сталевар первой.

— Что? — не понял начальник смены.

— В час тридцать выпущу, — повторил сталевар.

— Уверен?! Хорошо, исправляю на час тридцать. Вторая печь...

Фомин график не слушал. Он знал, что, когда очередь дойдет до него, будет сказано всего два слова: холодный ремонт. Сегодня ему завидуют. Но он и сам понимал, что подручные устали, им нужен отдых. На новой печи они будут наверстывать упущенное.

Окна были открыты, с улицы несло теплом ночи. В черноте казавшиеся теперь совсем близкими, отливали медью огни мачтовых надстроек. Где-то внизу, потерявшись в жиденькой траве суглинка, трещал кузнечик-полуночник.

— На девятую экспортная сталь, — звенел в ночи голос. — График плавения возьми в диспетчерской. Выпуск в пять сорок.

— Не сварить, — отозвался сталевар девятой.

Начальник смены оторвался от журнала и поднял

голову. Карандаш, которым он водил по затертой ру-
ками бумаге, застыл на одном из квадратов.

Мартеновцы насторожились: всем им показалось странным, что нормальный человек отказывается от такой марки. За экспортную сталь платили надбавку. Если отказывается, значит, есть на это причины. Или хитрит, чтобы набить цену и выговорить условия, или что-то задумал еще...

— Почему? — Начальник смены посмотрел на сталевара.

— Я железо вчера пять часов плавил. Не дают газу — один мазут. А на мазуте у меня печь за неделю сгорит.

Собравшиеся зашевелились. То в одном, то в другом месте послышались вздохи, кто-то не сдержал улыбки. Всем стало ясно: сталевар хитрит, хочет вырвать побольше топлива.

«Не даст тебе сменный газу, — подстраиваясь под общий лад, думал о сталеваре Фомин. — Конец месяца! Не проскочит номер. Если будешь тянуть еще, дадут обычную марку. Не отказывайся, бери. Охотников на экспортную много. Вон их сколько сидит, любой возьмет».

— Меняю марку, — делая ударение на слове «меняю», отчеканил начальник смены. — Бери кипящую.

— Не возьму, — по-мальчишески обиженно процедил сталевар.

— Тогда сталь три. Когда выпустишь? — Это была самая никудышная марка.

— От меня не зависит. В следующей смене выпустят. В десять часов. А может, в двенадцать. Когда-нибудь выпустят.

«Корчишь обиженного. — Фомин не одобрял поведение сталевара. — Нехорошо и стыдно. Значит, будешь тянуть плавление? Тяни, парень, тяни. Накажешь себя, больше никого не накажешь».

— Значит, в десять?

Сталевар промолчал, всем своим видом изображая обиду.

— В десять так в десять, — согласился начальник смены, — ставлю десять. Передумаешь, позвони. Ладно... Одиннадцатая печь...

У Фомина внутри что-то оборвалось. Отлетели на задний план огни надстроек, пропало ощущение яс-

ности и покоя. Он подался вперед, стараясь издали разглядеть в сменном графике цвет квадратиков. «Почему он пропустил десятую? А вдруг экспортную предложит? Вытяну или нет? Если бы только предложил!.. Вытянуть, конечно, можно, если будут условия. В первую очередь нужно железо. Отменное железо! Нужен газ, кислород, много всего нужно. Ладно, там будет видно...»

— Двенадцатая печь по особому графику. Вопросы нет? Тогда по местам.

Начальник смены закрыл журнал. Никто не шелкнулся.

— У меня все, ребята. Можете расходиться. Арсений Матвеевич, задержись!

Отодвинув стулья, прилаживая на ходу каски, первыми поднялись сталевары. За ними, словно цыплята за наседкой, потянулись подручные. Послышался какой-то шум, потом голос сталевара девятой печи:

— Ну что вы, ребята, ей-богу... Зря вы так... Я ведь не против... вообще-то... И не о себе я думал... Зря вы так...

Отпустив своих подручных в цех, чтобы не томить ожиданием бригаду Боброва, Фомин вместе со стулом перебрался к столу. Его одолевало любопытство.

В глубине коридоров, за дверью, медленно угасали шаги мартеновцев. Один за другим они выбирались на галерею, оставляя за собой звенящее эхо.

А здесь, в комнате, молча сидели двое, и каждый из них чувствовал, о чем думает в эту минуту другой.

— Арсений Матвеевич, твою когда остановят?

— Ночью. Часа полтора еще.

— Ремонт придется отложить до утра. Понимаешь?

С большим искусством разыграв сцену, Фомин сделал вид, будто он ничего не понял. Однако он понимал, что сегодня ему предоставлена возможность еще раз сразиться с Зыкиным, старшим мастером печного пролета, у которого Фомин принял в свое время печь. Зыкин был странным человеком: даже получив место старшего мастера, он почему-то так и не смог понять, что теперь границы его владений значительно расширились; что они, границы эти, уже разрослись до размеров печного пролета, а не остались замкнутыми в пределах рабочей площадки десятой мар-

теновской печи. И он по-прежнему ревностно следил за ее работой, чаще других придирался — иногда по сущим пустякам — к Фомину, будто он, Зыкин, а отнюдь не Фомин, все еще был ее сталеваром.

И это бесило Фомина: он хотел самостоятельности. В конце концов, он не мальчик — ему пятьдесят, а в этом возрасте человек не терпит над собой опеки. Сегодня Зыкин должен будет наконец понять, что не ослабла еще у Фомина рука, и он может не только варить сталь, но и постоять за себя. Нет, он не стыдится себе признаться, что немного побаивается выйти с Зыкиным один на один, но ведь когда-то это должно все равно произойти — а сегодня такой удобный случай...

План созрел у него за минуту. Прием, который он пустил в ход, в свое время приносил ему успех.

— Ты чего, хочешь меня под монастырь подвести? Работать на такой печи? Ты понимаешь, чем это грозит?

Ничуть не смутившись, начальник смены выдержал паузу.

— Понимаю. Да видишь, тут дело какое, Арсений Матвеевич: мы раньше подсчитывали, все выходило точно. А тут Прожогин ввернулся, ну и — шесть-сот тонн браку! Выпустил холодную сталь...

— В прорву, значит? А теперь не хватает до пла-на? Одной плавки?.. Да-а...

Фомин понял, что он должен согласиться. Этого ждет от него весь цех. Поступить иначе он просто не имеет права.

— Какую марку?

— Сталь три, — не задумываясь выпалил начальник смены.

— Не пойдет. У меня насадки не тянут. Свод опять прогорел. Давай экспортную!

В первую минуту Фомин и сам не поверил, как это у него повернулся язык сказать такое.

— Арсений Матвеевич, ты меня не обессудь, но экспортную я в любом случае отдам на девятую. Надо ребятам дать заработать, у них и так выходит за месяц меньше всех.

— Это последнее слово? — допытывался Фомин.

— Но пойми, что я прошу именно тебя. Знаю, что

другому, может, будет и не под силу, а ты ведь сможешь. Возьми на свой страх и риск. Возьмешь?..

— Ладно, сколько дашь кислороду?

— Две тысячи. — У начальника смены, видимо, было продумано даже это.

— Две тыщи кубов?.. Ты хоть соображаешь, что говоришь? Я чего, металл-то буду ртом продувать? Давай четыре.

— Мы не на базаре. Две с половиной!..

— Ну, еще тысячу, — канючил Фомин. — Чтобы три с половиной. Ведь я могу не успеть выпустить металл к утру.

— Три!

— Пойдет! — согласился Фомин, решив, что тысячу кубометров кислорода, за которую он торговался, придется все же добавить самому.

III

В форменной сталеварской робе, размахивая в такт шагам суконными рукавицами, Зыкин быстро шел по цеху. Прокоптелый, вытянувшийся как на параде ряд печей, словно желая ему хоть чем-нибудь угодить, услужливо тянул свои огненные языки. Летели навстречу чугуновозные составы и завалочные машины, мелькали сбоку кирпичные будки операторских пультов. Сталевары, заметив его издали, почтительно приподнимали каски и уступали дорогу.

Ни на одно приветствие он не ответил. Сосредоточенный на какой-то своей мысли, он вообще не замечал никого и ничего вокруг. Словно отлитый из той же мартеновской стали, он гордо шел вдоль железнодорожных путей, уверенно ставя на рифленый пол ногу. И от этой его уверенности сильного, собранного человека, не выдерживая натиска, казалось, хотелось свернуть в сторону даже тягачи-тяжеловозы.

Старший мастер печного пролета Константин Зыкин был сегодня в дурном настроении.

Все началось с автобуса, в который он с трудом втиснулся. Едва захлопнулась складная дверца, как на него тут же навалились, оттеснили в самый угол. Но возмутило Константина Павловича совсем другое:

несмотря на то, что добрая половина сидящих в автобусе были мартеновцами, никто из них даже не шелохнулся, чтобы уступить ему место. Такого не бывало еще ни разу в жизни.

Потом выяснилось, что он забыл дома пропуск и с грехом пополам, понося в душе и вахтершу, и им же самым насаждаемые порядки, миновал проходную. В довершение всего он поскользнулся на галерее и чуть не упал.

В диспетчерской, словно сговорившись, дотошно и зло трезвонили телефоны. Диспетчерша не успевала поднимать трубки.

— Да, да — убежденная в том, что ее слышат сразу в нескольких местах, кричала она. — Что? Теплотехника на шестую? Сейчас передам.

И тотчас из множества вмонтированных в стол рычажков один отскакивал в сторону.

— Сменный мастер-теплотехник! — неслось по цеху. Динамик над дверью дублировал ее голос. — Сменный мастер-теплотехник, пройдите к шестой печи.

Успокоившийся только что аппарат начинало лихорадить снова. Опять щелкал рычажок, мигали на контрольном щите лампочки.

Зыкину этот ритм нравился. Он чувствовал себя здесь как дома. Ему нравились и мигание лампочек, и динамик-дублер над дверью, и расположение столов в комнате, и даже цвет штор на окнах. Но больше всего нравилось ему то, что вся эта большая и отлаженная как часы машина мгновенно слеpla и теряла свою самостоятельность, как только, хотя бы на одну секунду, затихала диспетчерская. А он причислял себя к ее организму...

Склонившись над листом бумаги, Зыкин сидел за столом и писал рапорт. Расшатанное и потемневшее от грязи деревянное кресло скрипело под ним. «Начальнику мартеновского цеха Красовскому, — писал он. Шариковая ручка скользила по бумаге. — Мною, старшим мастером печного пролета Зыкиным, двадцать восьмого числа сего месяца была проведена проверка обдувки сводов мартеновских печей. В результате проверки установлено...»

Он отложил ручку, вспоминая, что же именно бы-

ло им установлено двадцать восьмого числа сего месяца.

В рапортах, которые он добросовестно составлял почти каждую неделю, кроме него самого, никто не нуждался. Но писать их заставляла какая-то непреодолимая тяга к аккуратности. Рапорты хранились в письменном столе на дне ящика. Зашнурованные в картонную папку, они лежали там, чтобы однажды, в нужный день, вдруг появиться на свет. А он был уверен, что такой день наступит.

Ручка лежала на столе, а Зыкин сидел и ждал, когда же, наконец, устанут трещать телефоны. Под ногами дрожал пол, и отсюда сквозь назойливые гудки он слышал, как за стеной лихорадит мартен.

Зыкин скомкал недописанный рапорт и швырнул его в угол, надеясь попасть в мусорную корзину. Диспетчерша, позабыв о том, что она не одна, испуганно обернулась.

— А-а, это вы? — вспомнила она о Зыкине. Ей явно хотелось спать, и она, не стесняясь, зевнула. — Шли бы вы домой, чего здесь делать?

— То есть как домой? — не понял он. — Через полчаса должны остановить на ремонт десятую печь, а это моя обязанность — быть здесь, когда начинают ремонт. Я за него отвечаю.

— А разве вы не знаете?.. На десятой готовят плавку! Я думала, вы знаете... мое дело сказать... — оправдывалась диспетчерша.

— Это какую они такую готовят плавку? — насторожился Константин Павлович.

— А вот такую! — Озорные глаза диспетчерши вдруг сузились. Ее это все явно забавляло. — Ремонт отложен до утра. Только, пожалуйста, не кричите, мне нужно работать. Разбирайтесь с Фоминым и с начальником смены без меня, это они так решили.

— Что? — не утерпел Зыкин. — Кто позволил?.. Постойте, кто им позволил ломать график? Почему я узнаю об этом последним? В конце концов, вся эта затея грозит взрывом печи! Где начальник смены?

Дальше Константин Павлович уже собой не владел. Хлопнув дверью, он выскочил из диспетчерской. «Понятно, все понятно, — не в силах остановиться, распалялся он. — Никак не хотят со мной считаться.

Ишь, выдумали! Не выйдет, это вам Зыкин говорит. И никто вам не поможет, никто, если за вас возьмется Зыкин... А начальники смен, они того... им только дай волю, они тебя вмиг скрутят. Ничего, найдется и на вас хомут, заставлю любить...»

Расчет у Зыкина был верный: он прекрасно понимал, что никто не может заставить сталевара вести плавку, если его печь нуждается в ремонте. «Взять хотя бы тот же свод на десятой, — размышлял Зыкин. — Какая у него толщина... Нет уже той толщины, сгорел свод. Вылетел вместе с дымом через кирпичную трубу. Значит, что-то во всем этом деле гается другое, вот интересно узнать — что? Фомин, конечно... Нет, он не так прост!.. Черт знает, это все-таки Фомин, с ним шутить нельзя. Вон как у него подручные крутятся: только пыль столбом! Нет, он своего места никому не уступит, не пойдет, как я, в почетные мастера. Да и что хорошего в этой должности: следить за ремонтами, когда еще мог бы вполне самостоятельно варить сталь. Все-таки лучше, когда чувствуешь себя хозяином. Правда, Фомин помоложе меня: на пять, что ли, или на шесть лет. Вот чертовщина, как это я об этом сразу забыл: ведь он меня моложе?..»

Во всем цехе не было сталевара, который бы решился спорить с Зыкиным — вот разве что только один Фомин... Сталевар на десятой оказался крепким орешком. По крайней мере, Зыкину этот орешек был не по зубам. И Константин Павлович обходился с Фоминым деликатно, однако держа все время ухо остро и стараясь встречаться с ним как можно реже.

Впрочем, уважал он сталевара десятой за сильный мужской характер, за сдержанность и немногословие, и считал его здесь единственным человеком, за которым было бы не стыдно признать победу. «Этого не сшибешь, — думал он, — крепко стоит. Одно слово — мужик! А силищи сколько! Да и попробуй с ним потягаться, если десятая работает как аптекарские весы. Ну ничего, я еще себя покажу, придет мой день! Дай только срок!..»

В такие минуты он всегда сожалел, что ему не тридцать лет, а уже пятьдесят пять и что свою силу он почувствовал слишком поздно...

На десятой закрывали сталевыпускное отверстие. Подручные работали за броневой загородкой. Фомин стоял у печного порога и разгребал шлак.

От сталеварского пульта отделилась фигура в черной, как флотский бушлат, куртке и направилась вдоль пролета, но, не пройдя и нескольких метров, вдруг остановилась, качнула недовольно каской и возвратилась на место.

В свою очередь Зыкин тоже заметил того, кто хотел от него улизнуть, и прибавил шагу. Начальник смены стоял к нему боком, навалясь плечом на стену пульта — очень ему хотелось, чтобы Зыкин прошел мимо. Но Зыкин не прошел. Ухватив его за отвисший на спине хлястик, он потянул куртку к себе.

— Плавку вести запрещаю! — Константин Павлович накручивал на кулак хлястик. — Ты понял меня, Лисицкий? Запрещаю!

— Что-о? Что ты сказал? — У начальника смены повело на сторону рот. — Кто запрещает, ты? Давай сюда Фомина, разберемся.

Но Зыкина это ничуть не обрадовало. С Фоминым ему встречаться при свидетеле не хотелось. И он тут же пожалел, что растратил свой пыл в диспетчерской. «Не сберег, дурак! Сейчас бы приструнить да крикнуть на парня, возможно, и вышло бы дело. А этот, вишь, защитника зовет, за чужую спину прячется. Ладно, пусть зовет!..»

По-мальчишески озорно засунув два пальца в рот, начальник смены коротко свистнул и поманил к себе сталевара.

Покачиваясь, Фомин направился к пульту. На ходу отбросил ногой лопату, оставленную посреди дороги подручными, выругался и погрозил кому-то кулаком. Но кому именно, Зыкин не понял, да и ругани, приглушенной свистом мартеновских печей, он тоже не расслышал. Недовольное было лицо у Фомина, злое, опухшее от жары. Брови на лбу сдвинуты, глаза, как потухшие угли, темнеют из-под синего стекла на козырьке пластмассовой каски.

«Черт их всех разберет, — думал Константин Павлович, — когда у них бывает хорошее настроение...»

— Сейчас ковши отгонят, можно будет начинать завалку. — Не оборачиваясь, Фомин махнул через плечо рукавицей.

— Слышь, Арсений Матвеевич, — наклоняясь к нему, но громко, чтобы слышал Зыкин, шумел начальник смены. — Генерал к нам имеет претензию.

— Не к вам, а к тебе, — поправил Зыкин.

— Какую еще претензию? Я начинаю железо валить...

— Не будет железа! — отрубил Зыкин.

— То есть как не будет?

— А вот так! Плавку вести запрещаю!

Он почувствовал, что сейчас от него потребуют объяснений.

— Как ты сказал? Повтори! — На лице Фомина снова выступил пот.

— Я сказал, что плавку вести запрещаю. Ты не глухой.

Зыкин ждал, когда у Фомина начнет дергаться правое веко — верный признак, что тот должен вот-вот сорваться.

— Да, запрещаю, — повторил он. — И никакой завалки! Положен по графику ремонт — и все! Пока еще я здесь старший мастер и не могу допустить, чтобы работали на такой печи. Существует инструкция!..

— Ладно, Зыкин, подожди, — попробовал остановить его Фомин. — Инструкцию я знаю, но нужна одна плавка. Цеху нужна, понимаешь? Я сделаю плавку, и утром остановим печь. Идет? Подумай.

— Нет, не идет! Я же тебе объяснил. Да и кроме того свод! Не вычищен свод, а это тоже нарушение инструкции. Опять же против тебя!

Да, печной свод — уязвимое место. Свод обдували воздухом последний раз в дневной смене. Даже Бобров, всегда исполнительный и аккуратный, когда дело коснулось обдувки свода, побоялся послать своих подручных наверх: неровен час — обвалится печь, ну и прощай белый свет, — и свод не обдувался вот уже вторую смену.

— Говоришь, нужно обдуть? — Фомин скинул с руки широченную рукавицу. — Согласен, что нужно. Значит, ты возьмешь шланги и полезешь наверх. Так? Дальше: Лисицкий пойдет к себе, а я начну завалку, так?

Для Зыкина это было неожиданностью.

— Ты мной не командуй, я не подручный. И говорю тебе русским языком: никакой завалки!

— Тогда переиграем, — снова предложил Фомин. — Ты никуда не полезешь, а пойдешь домой. Но пойдешь прямо сейчас, немедленно. Печь остановим утром. Подходит?

— Нет, не подходит! — Зыкину показалось странным, что Фомин до сих пор не сорвался.

— Ты знаешь меня давно, Зыкин! И знаешь, что со мной сладить трудно, если я что-то задумал. А задумал я плавку, и эту плавку я выпущу. Не вставай поперек дороги. Остановим печь утром. Ты все понял?

— Нет, Фомин! — не сдержался и первым крикнул Зыкин. — Десятую остановим на ремонт сейчас! Немедленно!

— Вот что, Зыкин: а ну, иди отсюда! — вдруг рывкнул Фомин. — Чтобы духу твоего здесь не было! Хватит играть: я не мальчик и ты — тоже! Отыгрались!..

— Как отыгрались?.. — не понял Зыкин. Он задыхался и ловил ртом воздух. Лицо у него было какое-то обмякшее и безвольное, от виска к подбородку стекал ручеек. Прогромыхала упавшая на пол каска.

И Фомин вдруг понял, что Зыкин начал сдавать. «Это старость! — подумал он. — А ведь он всего на пять лет старше меня...» И какая-то непонятная жалость захлестнула Фомина: во взгляде Зыкина уже не было прежнего упорства — только одна усталость.

— Костя! — придвинувшись, позвал Фомин. — Я тебе обещаю: все будет хорошо... все сделаю как надо... Иди, Костя, домой, иди... Ни о чем не думай... — и он тут же отвернулся, начал теребить рукавицы.

У Зыкина что-то оборвалось внутри, перехватило дыхание: «Все, все, конец!» — выстукивало сердце, и какой-то удушливый ком то отпускал, то снова подкапывал к горлу. Он вдруг как-то враз сник и, обернувшись к начальнику смены, по привычке громко, но уже не с той уверенностью, что прежде, бросил через плечо:

— Давай составы! — и пошел прочь.

Каска валялась на полу, а ее хозяин шел вдоль цеха, сторонясь печей и еще недавно подчиненных ему сталеваров, и, казалось, никто теперь не хотел его замечать. Только в конце пролета, где сходились стрелки железнодорожных путей, кто-то из сменщиков тепловозной бригады вдруг остановился на мгновение, посмотрел,

но тут же опомнился и побежал дальше. Зыкин зло плюнул ему вслед...

На рабочей площадке показались трое подручных. Они подождали, когда проползет мимо чугуновозный состав, и пошли дальше. Двое из них — Славка Горшков и Женька Лузин, — сбросив на ходу рубахи, скрылись за углом, где была приделана сваренная из листового железа раковина с водяным фонтанчиком, а третий — Савельев — задержался в пролете.

— Порядок! — крикнул он осипшим от жары голосом и помахал рукавицей.

Слов Фомин не расслышал, но по одному виду подручного понял, в чем дело: они закрыли сталевыпускное отверстие — можно было начинать завалку.

IV

В пролете, расчищая рабочую площадку, грохотали завалочные машины. Они отгоняли порожние составы и принимали взамен другие, с железом.

— Которые мои? — нагнувшись к начальнику смены, спросил Фомин.

Начальник смены развел руками.

— Позвони в диспетчерскую...

Массивная трубка диспетчерского телефона разразилась противным хрипом. Фомин подергал за рычаг и, гремя толстенной, как якорная цепь, подвязкой, снова набрал номер.

— Составы, говорю, какие? Алло!.. Составы!..

— С третьего пути, — разрешил голос. — Ваши стоят на третьем, найдите сцепщика...

На шихтовом открылке зеленый тепловозик гонял взад-вперед составы с металлоломом. Дотащив их до стрелки, он пыхтел синим выхлопом дизеля, потом отрабатывал задний ход и возвращался уже на свободный путь. Где-то там, в двадцати метрах, гудел разъяренный мартен, ухали огневым столбом янтарные наросты плавок, и в этот гул врезался грохот завалочных машин. Ни минуты покоя, ни передышки. Мартен давал сталь. Десятки разливочных ковшей, мульдовые, предназначенные для металлолома, и чугуновозные составы — все было подчинено одному: сталь! сталь! сталь! Сотни, тысячи тонн стали...

А здесь, на шихтовом, была ночь: короткая и

тихая, как на лесном озере... Фомину вдруг вспомнилась одна из таких ночей.

Тень вековых деревьев скрывает воду, слышно, как скребется волна о помятый борт лодки, стрекочет кузнечик, и кричит утка, устроившаяся на ночлег в камышах. Утром выпадет на траву роса, туман окурит озерную гладь, и прибрежный камыш опухнет прохладой. Утка проснется, крикнет, согреваясь собственным голосом, хлопнет по воде крыльями и улетит неизвестно куда.

Утром он выпустит плавку, если завалку начнет сейчас. Чугун на десятую подадут через два часа, когда в печи, словно жиром, оплывет железо. Но где это железо?..

Натужно крихтя, тепловоз толкнул состав, и тотчас отозвались ему скаты на рельсах, закрипели: «чух-чух-чух...» В пролете состав подхватила завалочная машина. Грохнув по литой платформе хоботом, потащила его дальше...

Чугун на десятую подогнали через два часа. Сам Фомин стоял на площадке с поднятой вверх рукой, требуя, чтобы крановщик приподнял ковш с лафета. Ковш поднялся и поплыл к печному порогу, туда, где подручные крепили для него сливной желоб. Внутри что-то недовольно заклокотало, ковш накрепился. Стрельнув янтарными брызгами, первый пласт чугуна ухнул вниз и залил площадку светом. Подручные бросились врассыпную.

Опорожненные ковши снова установлены на лафеты. Лязгнув скатами, тепловоз потащил обратно состав. Лихорадочно, как от грохота барабанов, задрожал под ногами мартеновцев рубчатый пол.

На десятой начался новый период плавки. Над смотровым стеклом операторской будки-пульта вспыхнул матовый плафон, обнажив два ряда красных букв: «Опасно — плавление!»

Гудит мартен, исступленно бьется-мечется в печи белый факел. Тесно ему в четырех стенах. А выхода нет. Толстый нарост металла, словно растравленный в клетке зверь, ошалело бросается на стены, отыскивая в них хоть какую-нибудь лазейку, чтобы выплеснуть жар наружу. Где-то вдалеке ухает о печной порог мультяшная чаша, свистит наверху запертый в шланг кислород. И черная, как воронье перо, стрелка прибо-

ра ползет вниз: встречная струя газа разрушает насадку.

Рука сталевара отыскивает трубку телефона, стрекочет металлический диск:

— Таня, теплотехника на десятую!

— Что у вас?

— Встречный газ идет справа! Пусть посмотрит, разберется.

И тотчас цеховой селектор вклинивается в грохот составов и отстраняет на второй план цеховой гул:

— Сменный мастер-теплотехник, подойдите на десятую печь! Сменный теплотехник, подойдите на десятую...

Щелчок в динамиках снова возвращает мартен к прежней жизни...

Вот здесь-то для Фомина и наступала всегда самая сладостная минута, он забывал о доме, семье — обо всем на свете. Сталевары других печей обычно терялись, когда просачивался в печное нутро встречный факел газа. Два газовых факела — справа и слева — могли поднять всю плавку в воздух: поднять вместе с кирпичами и печными конструкциями! И появления этого факела боялись все — но только не Фомин... За много лет работы он рассмотрелся всякого, но ничто не проходило для него бесследно: из всего он умел делать для себя выводы. Так, однажды он открыл, что правая боковая стена нагревается гораздо медленнее, чем левая, и поэтому встречную струю газа на какое-то время можно даже использовать: она поможет вскипанию шлака и выходу его из печного пространства — так всегда быстрее шло плавление металла. И пока теплотехник выяснял, какой из отсеčných клапанов не сработал на этот раз, Фомин тем временем начинал прогревать плавку и выгонять из печи шлак. Главное было — не просмотреть, когда начнет подниматься сама сталь. Иначе — особенно в период плавления — она разнесет всю печь...

А на десятой как раз начиналось плавление металла.

Нагретая до полутора тысяч градусов плавка поддвинулась к газовому факелу, булькнула, как вода в чайнике, и заухала пузырями. Вдоль задней стенки прокатился व्यюном пузырящийся шлак, но летку не

нашел, двинулся к порогам. Нашарив в завалочном окне щель, обдал огнем рубчатый пол, вывалился наружу.

— Ребята, — сквозь зубы свистнул Фомин, — вперед!..

Подручные выскочили из-за угла пульты. Поплевав на ладони, взяли за лопаты. «Ну, родимая, не подведи», — мысленно обратился к лопате Славка. Хруст щебня, рывок на себя — и добрых полпуда сидит на лопате. Теперь не выпускать лопату из рук. Широкий взмах, как перед прыжком в длину, левую ногу вперед и груз туда же. Снова рывок на себя — и-эх! Щебень летит точно в шлаковую струю. Еще раз!.. И еще!..

Пряча от огня лицо, он повторял весь цикл заново. «Не беда, что шлак пошел на площадку, главное сейчас не дать ему двинуться дальше — так учил всегда Фомин. Лязг лопаты о щебень, захватить побольше да бросить подальше. Покажем всем, на что способен второй подручный!»

Огненная лава все же продвинулась еще на несколько метров, и движения подручных стали более расторопными. Женька сжался, как пружина, первый подручный Савельев — тоже, но Славка все равно их опережал. Как заводной механизм, он летал взад-вперед, взад-вперед. Рубаха на спине намокла, от виска к подбородку стекал пот, но смахнуть его было некогда.

Казалось, еще минута — и не выстоять больше. Подогнулись ноги, выскользнет из рук лопата, и не сможет он сдвинуться с места. «Эх, упасть бы сейчас и не вставать. Лежать просто так и ни о чем не думать. Нет, только бы не упасть. А куча серого камня не убывает. Нет больше сил, пропали силы, улетели вместе с грудой щебня. И руки гудят, разгибаются. Вон появился Фомин, что-то крикнул. Все, конец, шлак ушел». И лопата сама выскользнула из рук, стукнулась о борт железного ящика. У Славки снова появилось непреодолимое желание упасть и забыть обо всем на свете...

Расставив широко ноги, опуская их на полную ступню, чтобы не покачнуться, он пошел к пульту...

— Савельев, давай пробу! — Фомин показал на сталеварскую ложку.

Первый подручный понял, что от него требуют, и ничего не ответил. «Странный он сегодня, — подумал Славка, — всю смену молчит». Но Фомина не проведешь, знает он, какой груз лежит на сердце Савельева. Если лоб морщит и стыдливо, как нашкодивший ученик, прячет глаза, значит, опять ходил показывать свой техникумовский диплом: старая история! И опять отказал Савельеву начальник цеха. Что поделаешь, если сталеваров в мартене полный комплект! Ничего не остается, как сидеть и ждать у моря погоды...

— Слава, ты пробу отнес? — наклонившись к самому уху подручного, спрашивал Фомин.

— Как в аптеке, Арсений Матвеевич, — отозвался Славка.

— Ну, добро, отдыхай пока. Светлый ты у меня парень. Отдыхай...

В выпущенной поверх толстых суконных штанов рубаше Славка растянулся на полу, бросив под себя куртку. Анализ последней перед выпуском пробы объявят через десять минут, и у подручного есть время малость передохнуть.

Через отворенную дверь пульта тянет теплом, и от духоты сейчас негде спастись. Разве что цементный пол не дает окончательно раскиснуть. «Ох, уж этот июль! Хоть совсем не вылезай из-под душа. Надо не забыть потом намочить под краном рубаху, а то и двух минут не выдержать...»

Сквозь рифленое стекло шихтового открылка ударил оранжевый зайчик, скользнул по рельсовым путям и осветил зеленую обшивку толкача-тепловоза. Веселым гудком откликнулся зайчику тепловоз, пыхнул отработанной гарью дизеля и, казалось, стал веселее толкать состав.

В мартене начиналось утро.

Уставший за ночь Фомин стоял посреди пролета. Славка полоскал под краном свою рубаху. На десятой печи готовились перешагнуть последний рубеж: выпуск плавки. Но Фомину почему-то не было от этого радостно. «А может, мне и правда не надо было соглашаться на эту плавку? Может, прав Зыкин-то? — думал он. — Вот интересно, а взялся бы за это Славка?.. Или Савельев, например?.. Они оба с понятием, толковые будут со временем сталевары. Вот хотя бы Савельев!» Сейчас Фомин вдруг вспомнил, что однажды, когда он

отлучился минут на тридцать в диспетчерскую, вот так же, как сегодня, прорвался встречный факел, и Савельев, не позвонив ему и даже не сказав ничего потом, решился сам прогреть плавку и выпустить шлак. И интересно, что способ был тот же самый, которым действовал обычно только один Фомин. Значит, и Савельев умел тоже подмечать, потому что разговора у них об этом ни разу за все два года не было. Странно, но он вспомнил об этом случае только сейчас, а ведь прошло уже несколько месяцев... Хотя была в этом и еще одна особенность: Савельев выпускал шлак через летки, как и положено по инструкции, а не через печные пороги, как это делал обычно Фомин, — иначе бы Савельев, наверное, не рискнул прогревать плавку... «Ну что ж, правильно, — думал Фомин. — Наверно, он будет просто умнее меня...»

— На десятой печи анализ пробы на углерод — ноль тридцать три процента, — сообщили по селектору.

Фомин вздрогнул. Подручные стояли на рабочей площадке, смотрели на него.словно собираясь кому-то давать старт, он поднял руку и коротко рассек ею воздух:

— Ребята, давай!..

Опередивший всех Савельев уже разматывал у бронебойной загородки шланг; Женька, подхватив ломик, полез на другую сторону выпускного желоба.

Славке досталась пика. Откуда-то снизу, как ременной плетью, шибануло в нос коксовым газом, и тотчас на смену ему брызнула струя вентиляторного воздуха. Можно было начинать.

Половчее ухватив пику, Славка ударил в стенку. Женька на удар отозвался ломиком.

— Давай!.. — одними губами, подбадривая себя, прошептал Славка.

Под рукавицей прокатился тугой комок, толчком отскакал в предплечье. От желоба и справа от печи припекало. Как роса на траве, собрались на Славкином подбородке мутные капельки. Вентиляторной струи он больше не чувствовал. «Капризничает вентилятор, ни к черту не годится... Давай!»

Удар пикой сверху, удар пикой снизу. Женькин ломик в такт пике повторяет удары. Сзади наготове стоит Савельев. Раз удар, два!.. Послушные руки раз-

бывают кладку. А в Славкиной голове — свист и грохот трибун. Недовольные, с перекошенными лицами. болельщики не жалеют голосовых связок: «На мыло! Горшков, давай гол!..»

Славка бежит на месте левого крайнего, прыгает перед глазами зеленое поле, катится по полю пятнистый мяч. Справа — на середину, потом назад и снова вперед. Ноги сами несут Славку к воротам. С правого края мяч полетел к центру. Около Славки никого нет, но мяч по-прежнему в центре, за мяч идет борьба. В кучу влетел защитник и забрал мяч. «Эй, защита, накати на правую, половчей накати, дай ударить по воротам!» — Мяч пошел на левый край, прямо на Славку. — «Накати, накати, ребятки! Удар, раз!» Пятнистый мяч, как пойманная щука, затрепыхался в сетке...

Но ничего этого не было. Ни свиста на трибунах, ни довольных болельщиков, вскочивших с мест, — только над самым ухом был восторженный Женькин крик:

— Пошел!

Подручные сиганули наверх, прикрыв от огня рукавами лица. Белый нарост плавки стрельнул из отверстия, лизнул языком кирпичную кладку желоба, высветил бурое облако под цеховой крышей, опачнув горячим валом подручных, и, вдруг разломившись на два потока, ухнул внутрь разливного ковша...

БЕЛЫЙ БАКЕН

Когда он бывал один, но только не раздраженный — немного усталый, еще не остывший после работы и весь обращенный в себя, — шел по улице, по привычке запрятав руки глубоко в карманы, или стоял возле какого-нибудь киоска, с поразительным безразличием разглядывая газеты в витрине, обложки журналов и книг; когда покупал сигареты, но не нагибался к окошечку, смешно и неловко выкручивая шею, а стоял прямо и смотрел, и спрашивал через стекло, уверенный, что его глуховатый и насквозь прокуренный голос должен быть обязательно услышан, — его вполне можно было принять за школьника, за подростка, наивно уверившегося в своей взрослости, сво-

евольного и циничного, привыкшего уже никому и ни в чем не доверять, напролет прожигающего жизнь в ресторанах, на танцплощадках, в компаниях таких же, как он, переростков-друзей, — столько самоуверенности, тупого упрямства, горячества и зазнайства было во всех его жестах, в самой этой несколько странной манере держаться и, казалось, во всем, что он говорил и делал.

Действительно, он мог, например, взять в киоске газету и, не читая, забыв, для чего брал, оставить ее на прилавке; мог битый час распечатывать сигареты, как будто не знал, чем больше заняться, куда себя деть. Он и в одежде, — в том, как носил пальто и шляпу, как узлом повязывал поверх ворота шарф, — похоже, нарочно старался иметь тот же странный, нескромный и заносчивый вид. Нескромность, заносчивость сквозили в общении с малознакомыми людьми; с ними он держался подчеркнуто независимо, даже гордо и важно: слушал рассеянno, лениво и неохотно цедя в ответ какие-нибудь необязательные слова, мог перебить вдруг на середине или же, не дослушав, просто взять и уйти. Он словно хотел подчеркнуть всем своим видом, как невыносимо ему скучно; что вокруг какой-то неинтересный и малозначащий мир, и он не имеет к нему отношения.

Но насколько обманчивы были его внешность и первое впечатление о нем, настолько неузнаваемым становился он, когда попадал в круг привычных ему людей, будь то в мартене, в цехе, где он работал теплотехником, в гостях у родных, живущих в дальнем поселке, или на вечеринке у сослуживцев, друзей. Тогда становился он очень естествен, сердечен и прост, мог много шутить и смеяться в силу своей молодости, достатка, устройства, а главное — свободного холостяцкого положения, дающего право нравиться женщинам и никуда не спешить. Был он высок и хорош собой, носил аккуратные стриженные усы, как нельзя больше шедшие к его пронзительным серым глазам, пел под гитару и умел заразительно и легко говорить, так что одно уже это везде заставляло обращать на него внимание.

И отличие его домашнего, искреннего и мягкого от того неприкаянного, одиноко слоняющегося после работы по улицам, было настолько разительно, что

оставалось лишь удивляться, как не похож он бывает сам на себя.

Но был он собран и весел, когда, например, возвращался из долгой командировки и вновь попадал на свою улицу, в самом конце стрелки городских трамвайных путей, где лепились один к другому двухэтажные рубленые дома, погреба и подвалы которых каждую весну заливало талой водой, и в ней, размокшая, плавали кадушки с соленьями и картошка. Весной на окраине города всегда развозило дорогу, в огородах и вдоль тротуаров тонули в грязи дикие яблоны и черемуха, горько пахло сжигаемой картофельной ботвой, налипала слоями к подошвам ботинок красная глина, и при ходьбе смачно и жутко хлюпало под мостками.

Выросшему в поселке, в деревянном райцентре, ему нравились и эти мостки, и черемуха, ярко, буйно зацветающая в конце мая, отсутствие асфальта и сама разноликость старых, в резьбе, домов, давно предназначенных к сносу, но все еще стоящих, хотя и геснимых новым высотным микрорайоном. В этом уголке города снимал он второй год комнату и сюда же часто ездил обедать в недорогой и уютный ресторан, никогда не приглашая никого с собой, предпочитая одиночество шумным компаниям.

Из окна ресторана видны были улица и спешащие по ней трамваи, грузовые фургоны и переполненные автобусы. Сидя в тепле ресторана, приятно было смотреть, как вползают с улицы в открываемую дверь морозные клубы сухого шуршащего воздуха, слышать фыркание моторов, скрип тормозов — весь этот разноголосый уличный шум. Правилось, что в вестибюле, невидимый снаружи, стоит у дверей швейцар в диврее: в старомодном картузе с лимонным околышем, в черном форменном пиджаке и брюках с лампасами, прошитых по краям карманов и швам желтым выпуклым кантом; между столиками бойко снуют вертлявые официантки в коротких фартучках, меняющие на столах скатерти, привычно и ловко расставляющие цветочные фазы, чистые пепельницы, посуду, — одно это настраивало на то, чтобы вкусно и с аппетитом поесть. Наконец, нравилось, что всегда звучала в зале музыка, создавая непринужденную обстановку; можно было никуда не спешить, сидеть спокойно, по-

тягивая из запотевшего фужера холодное пиво, курить сигарету, стряхивая пепел через край, на дно квадратной стеклянной пепельницы. Потому, наверное, и не брал он никого с собой: пришлось бы обязательно говорить, отвечать на вопросы, словом, делать все то, что никак не вязалось ни с его состоянием, ни с самой этой ленивой размеренной обстановкой.

Из всех знакомых только она видела его здесь, та, которую каждый из нас встречает однажды, но всю жизнь потом помнит.

Одно время он вспоминал о ней часто. Даже слишком, может быть, часто, чтобы трезво во всем разобраться, понять, как случилось, что она столь надежно и прочно утвердилась вдруг в нем.

Они познакомились в ресторане во время обеда два года назад, когда он только еще начинал в этом городе жить. Потом он перестал там бывать: мучительно было видеть и стол, за которым они тогда сидели, и разложенные в неизменном порядке приборы, встречаться с официантками, одинаково равнодушными и к нему, и к тому, что он пережил,— но однажды все же зашел: сам не знал, как его занесло. Шел по улице, думая о чем-то постороннем, и не заметил, как поднялся на крыльцо, миновал маленький коридорчик и оказался уже в вестибюле. Разделся, сел за столик в освобождающемся от посетителей, быстро пустеющем зале, где среди редкого звона посуды, среди затухающих говоров и табачных, оставшихся от обеда густослойных клубов дыма темнел при входе прямоугольник занавешенной шторой двери и тянуло холодом в форточку, надувая на окне парусом занавеску.

Обед давно закончился. На столах меняли к вечеру скатерти. К нему подошла официантка, молоденькая и стройная, прибранная: в белом чистом передничке и накрахмаленном до упругости, жестком белом кокошнике, заколотом шпилькой на голове.

— Вы выбрали?

— Да, да,— сказал он и стал заказывать, глядя на ее мелко вздрагивающую при письме руку.

Записав заказ, официантка убрала карандаш и ушла, и ему вдруг стало не по себе: тоскливо, дико и пусто. Захотелось тотчас подняться и выбежать на улицу, на холод, без шапки, мимо развешанных по

стенам огромных зеркал в рамах, мимо администратора в вестибюле, встречающего при входе посетителей, жадно глотнуть морозного свежего воздуха, увидеть грязь и наледь на мостовых...

Тихо играл на эстраде проигрыватель, струился через окно бледный свет. Старый швейцар сидел в углу за служебным столиком и размеренно ел из тарелки суп; в одной руке — ложка, в другой он держал на колене, прижимая, боясь уронить, картуз.

Слева от стены шумно поднялись, собираясь уходить, трое молодых парней. Они выпили, и это было по ним заметно. Но удивительно: от выпитого лица их не стали неприятными, скорее даже наоборот. Вслед за ними ушел и швейцар. Только он один сидел по-прежнему в зале, уже отобедав, не зная, куда идти и что дальше делать.

Он пытался понять, что его держит тут. «Зачем я здесь?» — думал он — и не мог понять. На душе было одиноко и скверно, и все раздражало: и потолок в зале с нелепыми кубическими расцвеченными люстрами, и шнурком стянутые внизу занавески на окнах, и отвратительно желтые стены, и даже то, что как нельзя некстати ушли швейцар и те трое парней, сидевшие по соседству, все время о чем-то спорившие, что-то доказывающие друг другу и вот оставившие его совсем одного.

«И черт с ними,— решил он,— пришел и пришел, буду сидеть. Назло!» Но опять не знал, не мог опять объяснить, чему «назло» собирается сидеть, как будто нельзя было встать и тотчас уйти.

Возле кухни, в проходе, соединявшем ее с залом, сбившись в кучу, стояли официантки. Они подсчитывали дневную выручку. Стучали костяшки на деревянных засаленных счетах.

Несколько раз хлопнула в вестибюле дверь. Начали появляться вечерние посетители. А он все не уходил. Сидел настойчиво, выложив на стол деньги за обед и думал о том, что все-таки надо идти. ...Резко дохнуло в окно мокрым снегом, и тотчас заволновалась, пришла в движение на двери штора: надулась, вспучившись пузырем, и отъехала на скользящих кольцах, обнажив скрытую часть стены и дверной косяк, легко скользнув по ним и по стоящему рядом стулу. «И те же снег и ветер были тысячу лет назад,

и тоже несло холодом», — почему-то подумал он, и ясно вдруг, очень просто и ясно понял, что удерживает его здесь.

«Да нет же, тогда было лето, откуда же снег и холод? — снова подумал спустя минуту. — Дурак!..» — выругался про себя, глядя на молодую пару, среди прочих посетителей входящую в зал, отмечая и про них все с той же издевкой: «Конечно же, муж и жена и, конечно, он благополучный, надежный, из тех, кто сполна приносит зарплату, ходит по воскресеньям по магазинам». Оба с мороза, озябшие, — он — с возбужденным и еще не остывшим от быстрой ходьбы лицом, она — полная противоположность ему: спокойная и уверенная в себе, с надменно и прямо поднятой головой, с решительным низким лбом и прямым носом, со вздернутым пушком над верхней губой, с выбившейся из-под прически прядкой, прилипшей к мокрой от снега щеке, — они постояли в дверях, оглядывая зал, шурясь от яркого света, потом прошли к свободному столику.

Ну да, нечто похожее помнилось и ему: те же мокрые от дождя и ярко вспыхивающие на свету ресницы, та же прядка, свисающая вниз от виска и разматывающаяся из двойного колечка, когда неожиданно наклоняла она, смеясь, свою маленькую головку. Только не было той надменности и решительности во взгляде и внешних чертах, которые выдают недалеких, с мужским характером женщин.

Нет, все-таки невозможным казалось ему сравнивать, ставить ее рядом с кем-то, все у нее было приятней и лучше, даже платье, простое и легкое, летнее, ладно подогнанное по стройной фигуре, округло обтянувшее грудь и живот, — это платье больше всего шло ей.

...Стоял теплый ласковый день, щедро светило в окно закатное солнце. Зал ресторана, где он сидел, собираясь обедать, был поначалу совсем почти пуст: воскресный день, пыль и жара, раскаленный и мягкий под солнцем асфальт — люди старались уехать из города, уехать на дачи, вообще на природу. Но по мере того, как заметнее, ощутимей накрапывал дождь и надвигалась гроза, обложившая небо свинцовыми тучами, стал заполняться и зал, оживленнее стало за столиками.

Она появилась, когда дождь вовсю уже, размашисто и свободно хлестал по оконным стеклам, бешено пузырилась, стекая из-под стрехи, вода, лопались, пенясь, пузыри в лужах: вдруг встала в дверях, откинув со лба прилипшую прядку, оглядела скучающий зал, отыскивая свободное место. «Если она сядет за мой стол...», — загадал он, но так и не решил, что же тогда сделает, потому что она опередила:

— Здесь не занято?

— Да. Нет, — совсем растерявшись, пробормотал он и не услышал, как она отодвинула стул.

Смутившись, он начал нарочно смотреть в сторону, но все-таки видел, как она положила на скатерть руки, видел эту распутившуюся прядку, свисающую от виска к щеке, и злился на себя, что все вышло так глупо, и он выглядит сущим дураком. «Хоть бы поскорее проглотить какую-нибудь котлету и уйти», — думал он, замечая, что уже совсем расхотелось есть. Но официантка как назло все не шла.

И она снова выручила его:

— У вас еще не взяли?

— Нет, — сказал он и почувствовал, как сразу прилила, бешено заломилась в висках кровь. — Вы не смотрели, возьмите.

Он протянул ей слюдяной, с клеймом фирмы картон и впервые решился задержать на ее руке взгляд. Рука у нее была загорелая, тонкая и холеная, с длинным запястьем и ямочкой на том месте, где кончалась ладонь.

«Спасибо», — молча, одними ресницами поблагодарила она, принимая меню, и столько под этими ресницами таилось неподдельной искренности, что он, не колеблясь, мгновенно простил себя за оплошность, которую допустил вначале.

Обедали молча, не поднимая от скатерти глаз, каждый раз стесняясь и вспыхивая, когда нужно брать хлеб из тарелки. Он особенно чувствовал себя скованно и неловко, боясь стукнуть невзначай ложкой, ненароком задеть цветочную вазу или солонку, уронить на пол салфетку, вообще что-то сделать не так. «Вот уж поистине наказание, сущая мука, — нервничал он, — но ведь должен я первый начать...» И тотчас же, испугавшись, представив, что сейчас все закончится, и она встанет, пойдет куда-то по улицам,

дальше, не оглянувшись, быть может, ни разу и не вспомнив о нем, и он тоже пойдет, один, — не важно, домой ли, на пристань или просто слоняться по городу, — он решительно вскинул голову и спросил:

— Как вас зовут?

Он увидел, как вздрогнули и замерли у нее на лице ресницы и как она слегка покраснела, опуская ресницы вниз.

— Вера, — чуть слышно прошептала она.

— Вот мы и познакомились. Вы всегда здесь обедаете?

— Нет, — снова тихо и уже, как ему показалось, увереннее сказала она.

Сдерживая в себе волнение, но уже напуская на себя некоторую развязность, он потянулся к ней и положил ладонь на ее руку. И она не убрала свою.

— Давай попросим, чтобы нам принесли чего-нибудь выпить холодного? — предложил он. — Дождь кончился, самое время в такую жару.

«Да, — опять сказали за нее ресницы, — да, да...»

И он понял это по-своему: что она свободна и никуда не спешит.

— Будьте любезны! — позвал он.

Распорядитель мелкими шажками подбежал к столу и учтиво перегнулся в поясе, сверкнув гладко выбритыми щеками и замечательно-круглой розовой лысиной; весь отутюженный, пахнувший дорогими духами, он был любезен, этот распорядитель.

— Я вас слушаю...

— Принесите вина, — попросил он.

— Какое угодно? Есть масандровские крепленые, сухие, грузинское цинандали...

— Все равно. Давайте шампанского.

— Понимаю, — растворив в улыбке лицо, распорядитель снова отвесил учтивый поклон. — Сейчас принесут.

Как странны, глупы подчас бывают наши поступки, когда хотим мы понравиться женщине; точно какое затмение находит на нас... Белизна скатерти и ее руки, ямочка на запястье, эта льняная прядка, колечком свисающая к щеке — все казалось в ней удивительным. Такого он не испытывал потом никогда в жизни.

— Отчего это с вами так легко? — спрашивала через некоторое время и она. — И почему мне все время хочется сказать вам «ты»? Должно быть, мы много выжили. Я с ума сошла. Давайте же прекратим.

— Да, да, — соглашался он, совершенно не понимая того, что говорит, и еще больше пьянея от того, что говорит она. — Конечно, довольно, надо идти:

— Но куда?

— Все равно. Просто отсюда, на улицу.

— Но мне надо зайти предупредить. Я в гостях, мои тетушки очень будут беспокоиться, — сказала она.

— Да, конечно, — тотчас же поддержал он, с удовольствием отметив, что она не здешняя и, значит, вряд ли еще успела кем-то обзавестись. — Вы знаете, у нас здесь богатейшие дачи, давайте заберемся в чей-нибудь сад? Вы никогда не лазили по чужим садам?

Она весело рассмеялась на его шутку, и эта веселость не покидала ее ни по пути к ее престарелым и представлявшимся ему почему-то сварливыми теткам, ни весь день и вечер потом.

Часа два они просто слонялись по улицам, были на пляже, купались, от нечего делать зашли даже на какую-то выставку, где показывали свои работы местные художники, — при входе в зал там висел большой яркий холст, написанный маслом: чудовищно выпуклый тракторист в чистом комбинезоне вытирает замасленной ветошью руки, глядя неестественно голубыми глазами на дверь, — причем оба без умолку смеялись, вставляли едкие замечания, отчего на них постоянно оглядывались; гуляли по набережной на пристани, ходили мимо всяких киосков, ларьков, бойко торговавших по случаю воскресенья; в одном из них с удовольствием съели по черствому беляшу, запивая его теплым приторным квасом, снова гуляли и снова ходили на пляж.

И так было весь день и всю последующую неделю, пока оформлял он положенный отпуск и ждал в бухгалтерии отпускных. Успел он познакомиться и с ее одинокими тетками, оказавшимися на редкость покладистыми, премилыми старушками, без ума любящими телевизор, просматривающими подряд все передачи, о которых они с большим удовольствием рассказывали ему, непременно спрашивая и его мнение относи-

тельно того или иного вопроса, очень ласково его принявшими, но неодобрительно смотревшими на ее поведение, — «мы тоже были молоды, но нельзя же быть столь легкомысленной», — сказала одна из них, — и тем не менее беззаветно ее любящими.

В один из дней уговорились съездить в ближайший райцентр, — «если не испортится погода» — поставила она условием, — город запущенных яблоневых садов и старины. Он обещал заехать за ней в пятницу утром, предварительно выяснив, когда пойдет «Ольгино» — небольшой пароходишко местных линий.

В пятницу стоял такой же теплый и чистый, без облачка, день. Он ждал ее около дома в такси. Она вышла, одетая по-дорожному, с легкой сумкой, — сказала, что «все устроила, тетушки ни о чем не догадываются», и, садясь на заднее сиденье, поцеловала его в щеку.

— Ужас как люблю все эти дороги, — сказала она. — По-моему, ничего нет лучше: вокруг тебя незнакомые люди, а ты сидишь на палубе или в вагончике и смотришь по сторонам. Мне кажется, я с ума сойду, когда у меня появятся дети и я не смогу высказывать на вокзалах и покупать в киосках минеральную воду и сок. Мне даже все эти местные разговоры так нравятся, будто все они мне родные и я росла сразу во всех этих местах. Как сильно у вас ударяют на «о», и слова какие-то круглые, аппетитные, так прямо и хочется их съесть. А сколько всего наслышишься, пока доберешься сюда от Новороссийска!..

И всю дорогу, пока ехали в машине, теперь уже не умолкала она, рассказывая, какие у них в Новороссийске поразительно теплые ночи и как хорошо ходить перед сном по пирсу среди чугунных, отполированных канатами кнехтов, когда дурманяще пахнет яблоневыми садами, акацией, морем и дует с него легкий бриз. И он удивлялся, с каким пониманием, легкостью говорит она о садах, цветущих акациях, море и как свободно, словно заправский моряк, вставляет в свою речь сугубо морские термины «пирс», «кнехты», «бриз», как вообще умудряется запоминать эти слова.

— Когда живешь вблизи моря и дома поминутно только и слышишь о нем, они входят в тебя так, будто с ними ты уже родилась, — сказала она, напоми-

ная тем самым о их неизбежной разлуке и о том, что в Новороссийске ее ждут.

— О да, понимаю, — поддержал он, однако теперь уже с напускной, искусственной веселостью, решив, что не стоит сейчас загадывать наперед. «Лето только началось, может, все образуется», — подумал он.

Потом была речная, с плавающим зеленым домиком пристань, крутой спуск к реке, деревянный, без поручней, трап, запахи зацветшей сирени, воды, свежей рыбы, серый галечный камень, шуршащий от легкой прибойной волны. Шофер такси, который привез их на пристань, был тоже молод, весел и говорлив, он помог открыть дверцу, подал стоящий с ним рядом на переднем сидении портфель и ни за что не хотел брать сверх положенной таксы больше рубля.

Очередь за билетами вытянулась во всю длину дебаркадера. Ночью ушли пароходы на Углич и дальше, вниз по реке, и на пристани оставались теперь те из пассажиров, кто ждал посадки на пароходы местных линий. Везде стояли или сидели люди с чемоданами и узлами. У двухэтажного большого плавающего здания было шумно. Две старушки в теплых не по сезону платьях и черных платках громко жаловались друг другу на жизнь; конопатый парень в кирзовых запыленных сапогах, с давно нечесанной головой, стоял, облокотясь локтями на леер, и грыз подсолнух, сплевывая шелуху на дощатый настил.

С огромным трудом он все-таки протолкался к кассе местных линий — низенькому окошечку в стене — и купил два билета. Она, дожидаясь его у сходов, стояла, подставив солнцу лицо, прикрыв веки, и ее маленькая головка с постоянно выбивавшейся из-под шляпки прядкой, бронзовеющие загаром открытые плечи и руки — вся ее фигурка в ситцевом, с бантом, платье отчетливо вырисовывалась на спокойной глади воды. Белый бакен тихо покачивался внизу на фарватере, отбрасывая полосу тени...

Захудалый парходишко, поднимая со дна муть, с разбегу стукнулся о резиновый валик-кранец причала. На палубу высыпал говорливый люд, начал толкаться, готовясь к выходу; с дебаркадера навстречу ему повалили отъезжающие; где-то в толпе завизжал вдруг поросенок.

— Ой, скорее, ой, не успею,— суетилась какая-то старушка.

— Не толкай, тетка, не толкай, — кричал ей с палубы вахтенный матрос. — Не толкай, говорю, места всем хватит. Осади!

Оттесненные, они оказались сзади, не рассчитывая уже на места.

— Проходите. Сюда, пожалуйста, сюда, — указал матрос. — Ну что, все, что ли? Григорьевна, отдай концы.

Прошуршал чалочный канат, продергиваемый в отверстие стального борта. Вслед за тем пароходик сипло прогудел, весь задрожал, оттолкнулся от дебаркадера и, снова подняв со дна муть, загребая винтом, заваливаясь на бок, пошел в створ между бакенами.

Пахло железом и краской, выхлопом от дизеля. На верхней палубе все места оказались занятыми. Они прошли на корму и устроились на коротком диванчике рядом с пожарным ящиком.

Рискованно-низко носились за кормой чайки. Они то взмывали вверх к мачте, едва не касаясь антенны и выцветшего флажка на ней, то снова, припав на одно крыло, вытягивая и кривя шеи, бросались к воде. Чистая кромка неба светлела, лучась, на востоке, и ничто пока не предвещало грозы.

А где-то на западе уже начинал темнеть горизонт. Тучи, наливаясь синевой, неуклонно двигались к середине неба. Оттуда, с запада, должно было пригнать ветром волну и нанести сыпучую колкую хмарь.

Но было до этого далеко. Еще сияла, убегая расширяющимся клином, свободная легкая даль, и легко взмывали в нее крикливые и чувствительные к погоде чайки, неотступно следующие за маленьким пароходом.

Уже два часа вскипала, пузырясь, за бортом вода. Обшивку парохода трясло и обдавало брызгами, под глухой и однообразный, идущий снизу рокот машины дремали на деревянных диванчиках пассажиры. Вахтенный матрос, устроившийся у складного бортика в проходе на мотке канатов, тоже несколько раз ронял на грудь голову, но тотчас вздрагивал, недоуменно и испуганно тараща по сторонам глаза, и принимался ходить взад-вперед по палубе, гоня от себя дремоту.

— Смотри, аист! — вдруг сказала она удивленно и радостно.

— Аист! Ты видишь?

Он вскинул голову и посмотрел вверх, отыскивая то, что она называла аистом. «Что за наваждение, откуда здесь аист?» — подумал он.

Какой-то старик в соломенной шляпе, сидевший неподалеку, тоже поднял голову и тут же опустил ее.

— Улетел.

— Аист, аист, — все твердила она, и лучистые, чуть раскосые по-татарски глаза ее, похоже, полны были близких слез. — Ты знаешь, что они приносят счастье?

— Может, это все-таки был не аист? — сказал он. — Откуда здесь аисты? Цапля какая-нибудь...

Уже в следующую минуту он понял, что зря это сказал. Черные, большие глаза ее остановились, гася в себе свет. Она смотрела, сузив зрачки, как будто не видя его, и от этого еще заметнее проступала в ее глазах татарская степная косина.

Пароход вдруг загудел, круто повернул влево и стал бортом подходить к пристани. По палубе забегали вахтенные матросы, снизу из трюма начали выносить наверх чемоданы, корзины, узлы.

Наконец смолкла дизельная машина. Пароход причалил. С палубы полетел на берег канат, гулко щелкнул засов на складном переламывающемся бортике, и железные сходни, скрипя и прогибаясь, медленно поползли вниз.

Они едва успели пройти причал, как встречный поток пассажиров хлынул на пароход.

— Вот и приехали, — сказал он, когда поднялись от реки и вошли в первую улицу.

В районной гостинице, бывшем купеческом полукаменном двухэтажном особняке, им отвели комнаты. Этот построенный на средства какого-то неизвестного купца дом, по-всему, стоял никак не меньше двух сотен лет. Недавно еще здесь помещалась какая-то контора, и нижнюю половину занимали склады. Потом где-то решили, что склады и контору лучше выселить, на крыльце и на окнах подправили резьбу, покрасили крышу. На том и успокоились, решив, что в таком виде особняк вполне ответит моде на русский стиль

и запросам многочисленных туристов, приезжающих сюда.

Летом от туристов просто не было отбоя. Они ходили по деревням, выторговывали старые иконы, рукояйники, прялки, енды; все тащили в гостиницу и там упаковывали в чемоданы, ящики и мешки.

Наступало какое-то суматошное время. Гостиничной прислуге приходилось трижды, а то и четырежды на день мыть полы, застилать постели, каждый раз пересчитывать графины, одеяла, простыни и наматрасники. И так продолжалось до осени, пока не начинались нудные северные дожди. Холод и слякоть лучше любых слов о порядочности действовали на туриста, парализовывая его предприимчивость, выживая не только из деревень, но и из городка тоже.

И вот в этой единственной в райцентре гостинице, где за ненадобностью с осени не отворяли форточек, им отвели две смежные комнаты: ему общую, на пять человек, ей — отдельную. Номер ее был совсем крохотный: пять-шесть шагов в длину, с единственным окном, выходящим на улицу, крашеной под глазурь железной кроватью, такого же цвета тумбочкой и ковриком на полу. Он боялся, что ей не понравится, и уже собирался спуститься вниз, чтобы просить другую комнату, но все вышло как нельзя лучше. Она, казалось, только о том и мечтала, чтобы номер оказался именно таким: маленьким, тихим и не загроможденным мебелью.

— Ой, какая здесь прелесть! — по-детски восторженно вскрикивала она и смеялась, трогая руками тумбочку, коврик, кровать.

Искренность и неподдельность всего, что она говорила и делала, ее заразительно звонкий смех, эта ее детская восторженность и готовность удивляться, довольствуясь тем малым, что теперь есть, постоянно поражали его. Стоило только взглянуть на нее, увидеть благодарность в ее степных раскосых глазах, услышать ее смех, как он тут же и сам становился точь-в-точь, как она, и ему тоже хотелось все перевероршить и не ходить спокойно, а летать по комнате, ни минуты не находясь в покое, но зачем перевероршить и куда лететь — этого он не смог бы объяснить.

— Как хорошо, что ты придумал эту поездку, — говорила она. — Ты даже не представляешь, как это

все здорово! Ты уже решил, куда мы сейчас пойдем? Ведь у нас так мало времени, чтобы осмотреть все.

И он вдруг вспомнил, что приехали они всего на один день, и два часа уже, по крайней мере, из того дня недоставало. Он поднялся и начал без дела ходить взад-вперед по комнате.

— Будь добр, посмотри, пожалуйста, в сумочке пудреницу. — Она сказала это, как говорят мужу, — просто, ничуть не стесняясь.

Когда спускались по лестнице, он подумал о том, что надо бы съездить к отцу, тем более, что половину пути он уже проделал. Но тут же забыл об этом. В вестибюле пожилая горничная приняла их за первых туристов и посоветовала сходить в какую-то деревню, где недавно умерла старуха.

— Недалече, недалече, — объяснила она, — верст пять или шесть, не боле. Пешком-то не знаешь? Ну так Мишка свезет, он сегодня с машиной. У сельпа-то поспрашивай Мишку, машина большая, с кузовом. Говорит, много всего осталось, никого к себе не пускала.

Узнав, что они не туристы и вовсе этим не интересуются, она сначала не поверила и даже обиделась, подозрительно оглядев обоих. Но когда спросили про монастырь и можно ли туда сейчас пройти, вдруг опять подобрела:

— До восьми, милой, до восьми. Когда много-то съедутся, до темна держат открыто, а так до восьми. Значит, как выйдешь, держи по леву руку, потом заулком иди, до башни, а там ворота, ворота-то найдешь. У нас вон девушка все жила, прислали нынче новенькую. Видать, шибко грамотная, а то бы парня, ловчее бы парня-то. А раньше другой был...

Горничная завелась, по всему, надолго. Не дослушав, а главное, так и не поняв, кто был этот «другой», они вышли из гостиницы. Стоял чистый янтарный день. Гуляли по улице не пуганные никем куры, вздымались, покачивались в пыли у заборов колючий татарник и сухой метляк. Откуда-то глухо, утробно доносило ветром стук отбиваемой на железе косы.

— Как это все же печально, — вспомнив про предложение горничной, сказала она. — Тащиться за сотни километров, загружать собой поезда, и ради чего? Чтобы натаскать с чужих чердаков дырявых руко-

мойников и потом расставить их по квартире как украшение? Но ведь не ради же украшения делали их!.. Лишь бы не отстать от моды, быть современным, теперь это очень важно. Да, что-то сместилось в нас.

Мимо, оттеснив их на обочину, промчался грузовик, обдавший их вонючим бензиновым выхлопом и поднявший густую пыль.

— Вот, пожалуйста, — улыбнулся он. — Ты думаешь, шофер нарочно? Нет, он просто не подумал, что кому-то может доставить неприятность. А ведь это не частность...

На монастырском подворье было пусто. Музей оказался почему-то закрытым, висели везде на дверях замки. Лишь у входа в прилегавший к музею скверик, на лавочке у стены глубоко вросшей в землю кирпичной башни одиноко сидел какой-то мужик с помятым опухшим лицом. В растоптанных башмаках, без носков, в изрядно потрепанном пиджаке и такой же кепке он смотрел на них как-то подавленно и беззвучно шептал себе под нос, едва перебирая губами.

Они уже почти прошли мимо него, но в последний момент он обернулся и, на ходу вытащив из кармана какое-то серебро, неловко суетясь, подал мужику. Тот принял и снова зашептал что-то, заерзал на скамейке, крепко держа мелочь в руке.

Она терпеливо ждала его все на том же месте, где он оставил ее минуту назад. За минуту, казалось, ничего не успело произойти, но глаза ее стали еще теплей и мягче. Глаза, как он успел заметить, всегда выдавали ее в первую очередь. Когда он вернулся, она, как-то особенно благодарно взглянув, незаметно, будто желая опереться, прижалась к нему, взяв под руку. И он понял, но засмутился еще больше.

— Ты знаешь, я сейчас подумал, — сказал он через некоторое время, когда сидели, отдыхая, на скамеечке у стены. — В сущности ведь неважно, чем человек счастлив. Каждый выбирает, как ему легче, но мы удивительно стали нетерпимы и злы.

Она не ответила, только чуть дрогнули и застыли ресницы на ее лице. В какой-то момент почувствовала вдруг холод, сильнее стала прижиматься к нему.

— Отчего это? — спросила. — Неужели так все действует?

— Пойдем покажу, — ответил он и повел куда-то вглубь двора, в кельи.

Каменные ступени, по которым они спускались, были на треть стерты; они уступами уводили то вправо, то влево, в щелях между ними росла какая-то трава. Кованая дверь с распоротым и изъеденным ржавчиной боком была вдвинута вглубь и косо висела на одной петле.

— Понимаешь, меня почему-то все время сюда тянет, — говорил он. — Вот я думаю: жили здесь люди, о чем-то ведь тоже думали, чем-то мучались, любили и ненавидели. Но что осталось от них во мне? Не может же быть, что просто так вот взяли и исчезли?.. Мы, кстати, напрасно возомнили, будто поумнели, если стали летать в космос и смотреть телевизор. О том же космосе, убежден, сидя вот здесь, они знали не меньше нашего. Потому что больше чувствовали себя одним живым организмом со всем тем, что вокруг. Была у них какая-то цельность, ощущение единства, что ли. Как знать, быть может, нам никогда уже того не достичь. Вот про одного князя недавно вычитал в летописи: «не искать вновь московского стола», это было ему заказано, и он убежал сюда. А зачем?

Прозрачный сухой воздух обволакивал купола церквей и раструбы высоких стен. Большой медный шар, разрезанный напополам слоистым седым облачком, висел на закате над башней. Солнце светило теперь сбоку, медленно оплывая, сочась на купола и на крыши, на вращающийся на башне жестяной флюгер-флажок.

В ресторане, куда они зашли пообедать, горели на столах свечи. Ресторан помещался в бывшей келье, было здесь уютно и светло. За обедом она была не в меру оживлена, даже беспечна, говорила о всяких пустяках, много смеялась и со всем соглашалась, что бы он ни предлагал. И он, поддавшись ее настроению, зараженный веселостью, тоже много смеялся и рассказывал, хмелея от обычного пива и радуясь, что ей понравилось здесь.

— Через неделю кончается мой отпуск, — сказала она на улице. — В следующую пятницу надо уезжать.

Больше она ничего не сказала. Он посмотрел на нее как-то странно и сразу сник, ссутулился. Шел,

спрятав руки в карманы, глядя вниз на мостки, до самой гостиницы не проронил ни слова.

Ночь пришла сначала сухая и теплая. Светились в комнате стены, пахло с улицы цветами, листьями и травой. Дождь начался часов около двух. По карнизу и крыше крупно захлестало тяжелыми каплями, было слышно, как стекает с козырька вода. И несколько раз изломанно, жутко сверкнула молния.

Но дождь скоро кончился: часто-часто застучал по стеклу, сбиваясь на дробь, и стих — гроза прошла стороной.

Лежа в темноте номера, он вспоминал весь этот день. Противно и беспорядочно, как отошедший за город дождь, стучала в висках кровь. Ему казалось, что все-таки что-то сегодня он не успел еще сделать, что-то очень важное, главное, может быть. И пытался вспомнить, не веря, что прожил счастливейший день, в который раз думая: «Да-да, все как приснилось... как будто случилось, но с кем-то другим». Но нет, она была здесь, рядом, лежала тихо, прижавшись к его плечу. Он слышал ее дыхание, видел темнеющий на подушке смуглый овал лица. «Нет, не приснилось, — думал снова, — но неужели случилось это со мной?..»

Придерживая край одеяла, боясь ее потревожить, он осторожно поднялся и пробрался к окну. Щелкнул шпингалетом на раме, открыл. С улицы легко дохнуло ветром. Пахло шиповником, мокрыми деревянными мостками, листьями и травой. Светлел вдали горизонт, и одна звезда горела сейчас на востоке — голубая звезда Венера; напротив окна высился купол колокольни, шатер церкви и взмывающий вверх, словно вонзившийся в небо, острый шпиль крепостной башни.

Он стоял у окна и видел, как быстро, один за другим, освещаясь, вспыхивают на крыше, на крепостных стенах листы новой жести, ограда на звоннице и распятый цепями большой медный колокол с повисшим неподвижным языком; как исчезает в лучах восходящего солнца Венера. В какой-то момент он ясно вдруг понял, что ждать осталось недолго: чуть-чуть еще — и звезда растает, исчезнет, а вместе с нею исчезнет и то ощущение счастья, что он испытывал в последние дни.

Засыпая, он видел, как возвращаются они с пер-

вым автобусом в город, — взметается над дорогой пыль и долго, пока видно глазом, стоит неподвижно в воздухе, — и успокоенный, сам не зная чему, улыбался во сне.

Свет падал с улицы, розовел за окном восток...

Так продолжалось еще неделю. И всю неделю, уже в городе, они не расставались. У родственников она почти не бывала, охотно ходила с ним везде, куда бы он ее ни таскал: по всяким выставкам, набережным и окраинам, часами лежала на пляже на теплом речном песке. За неделю они обошли и увидели все, что только можно было здесь обойти и увидеть. Лазали даже на колокольню и были в порту... Однажды на выставке она долго рассматривала старинную утварь: все эти ендовы, ступы, бадьи. И, повернувшись к нему, откидывая со лба волосы, вдруг сказала:

— Знаешь, я начинаю тебя понимать. Мне вот сейчас тоже захотелось пожить где-нибудь в самой лесной глухомани и по утрам пить парное молоко, выходить босиком на росу.

Он улыбнулся про себя этой неожиданной прихоти и все-таки удивился тому, как она это произнесла: просто и очень естественно, как будто бы сожалела о невозможности своего желания и в то же время радуясь, что живет совершенно другой жизнью. И подумал: «Никогда не узнаешь, что выкинет она через час...»

Потом все кончилось одним днем.

В четверг, сославшись на то, что нужно побыть с тетками, она велела ему прийти в шесть вечера. Он пришел на час раньше и слонялся около дома, чувствуя, как накапливается внутри раздражение, и пересиливал себя, чтобы не повернуть обратно. Она вышла всего на несколько минут, уже какая-то чужая, далекая, и сказала, что завтра уезжает к родственникам в Углич.

— Иначе нельзя, — сказала она, — я давно обещала.

И, видя, как он весь сжался, как начал пугливо озираться по сторонам, уже не щадя, добавила:

— Поеду на пароходе, вспоминая ту пристань, откуда начинался мой самый счастливый день...

Он вернулся домой и не раздеваясь бросился на диван и проспал почти до обеда следующего дня. Про-

снулся, когда уже солнце ярко светило в окна. Долго лежал, соображая, какое сейчас время суток, вспомнил, что нужно бы идти по разным делам — и никуда не пошел. Поднявшись, долго и тщательно брился, сменил рубашку, брюки, пиджак. «Что же, этим должно было все кончиться, я просто увлекся, забылся», — твердил он вслух и удивлялся, что нет внутри раздражения — одна пустота.

Вечер пришел тихий и ясный, с легким шуршанием придорожной пыльной травы, с медленным оплыванием закатного желтого солнца, с шипением о галечный камень на берегу волны от проносящихся по реке моторных лодок. Светилась огнями пристань, и горели огни возле маленького причала местных линий. На другой стороне, в бухте, тоже было светло — там работал, размахивая стрелой, порталый высокий кран.

Она ждала его у причала, в проходе, под крышей большого ярко освещенного вокзала дальних линий. Была в том же платье, в котором он увидел ее в первый раз, высокая, стройная, с темными кругами возле глаз — должно быть, не спала ночь.

— Как ты долго, я все выходила на берег, ждала...

Он не ответил.

Угрюмый, в фуражке и парусиновой грубой рубашке матрос стоял у сходней и безразлично, тупо смотрел на них.

— Вещи уже там, в каюте, — неизвестно зачем сказала она и попыталась улыбнуться, но улыбка вышла какая-то неестественная, вымученная и жалкая.

Прозвенел первый звонок. И так же, как в тот раз, но протяжно, басом, загудел пароход, где-то на фарватере отозвался ему другой, третий... Мигали вблизи два красных бакена.

И вдруг она вся задрожала, схватила его за руки, прижалась, целуя его глаза, губы и лоб.

— Еще две минуты, скажи же что-нибудь... скажи...

Он наклонился и сухо поцеловал ее руку.

— Скорей, скорей, — торопил отвязывающий причальный канат матрос. Он задержал сходни, подождав, пока она пройдет, и чему-то грубо, про себя, ухмыльнулся.

И тотчас, едва успела она пройти, сходни поползли

вверх. Вспенивая под собой воду, весь напрягшись, пароход оттолкнулся от дебаркадера и, гребя под себя винтом, отработал обратный ход.

Она стояла у борта на палубе, и было видно, как раздувает ветром ее волосы, легкое платье. Пароход, наконец, развернулся и начал выбираться на фарватер, оставляя за собой вскипающий след, пристань и берег — все, что еще недавно так близко связывало его с ним. И долго толкалась о дебаркадер вода, лопались пузыри и горели вдали огни в каютах.

Тянуло с реки холодом, мигал внизу, вспыхивая, белый бакен...

С неделю он ходил как в тумане. Дома почти не бывал. Весь остаток отпуска пропадал у каких-то случайных знакомых, просаживая с ними последние деньги, совершенно перестав следить за собой. Однажды, позвонив на работу, узнал, что на его имя получено письмо. Среди прочего она писала, что никогда не вернется в этот город и уезжает в Новороссийск к мужу, которого она никогда не любила и теперь уже никогда не сможет любить, но что в этом состоит ее долг: «Помнишь, тетушки говорили, что я несвободна и что есть обязанности, которые я должна выполнять. Я поняла сейчас, как они были правы...»

Дочитав письмо, он только вскинул и свел вместе брови и облокотился на стол, отчего вдруг заметнее обострился его подбородок, и сильнее проступила складка на лбу, появившаяся в последнее время.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Выходить на работу в ночные смены Федору Павловичу становилось все труднее и труднее. Он уже едва выстаивал до утра, чувствуя, что еще немного, еще какой-нибудь час, — и ему не дойти будет даже до душевой. Гудели в ногах суставы, плечо разламывало от жары.

Плечо болело постоянно, и от этого постоянства Федор Павлович иногда забывал о боли. Он старался позабыть о ней и вообще, но боль не давала, возвращаясь вдруг с удвоенной силой, и тогда становилось совсем плохо — перед глазами расплывались оранжевые круги.

Надо было что-то делать, но он не знал, что, и поэтому не мог решиться.

Началось это недавно, в последний год. Раньше он только чувствовал, как слегка покалывает в ключице, если перетрудит руку, но рука не немела, не было такой противной и тупой боли. И потом, раньше он об этом просто не задумывался, иногда по месяцам не вспоминая о ключице, а если и задумывался, то ненадолго — пока видел в зеркале шрам. В общем, время в конце концов сделало свое дело, постепенно приучив его к мысли не обращать внимания на ранение, и он успокоился решив, что так будет всегда...

Днем работать в цехе было еще можно. Одно сознание того, что где-то там, за стенами и крышей литейного двора стоит день и видно небо, в которое уходит, подпирая его, округлая, проросшая сквозь крышу громадина-домна, вселяло какую-то уверенность, придавало спокойствия и решимости. Днем, как правило, работа клеилась: почти без перебоев подавали в печь шихту и кокс, редко когда задерживали составы с ковшами под чугуном, обслуживающие и ремонтные бригады тоже были рядом.

Ночью же вдруг все наваливалось разом: ковши постоянно запаздывали, и распирающую стены плавку иногда по целому часу приходилось сдерживать в печи; подъемное устройство шихтоподачи вдруг тоже начинало капризничать, но вместо ремонтной бригады в цехе теперь оставались только два-три дежурных слесаря, которым не под силу было выполнить работу за десятерых; перегретая за день печь бесперестанно откашливала серу, и ее густой ядовитый выхлоп, напоминающий по запаху иодоформ, желтым облаком застилал весь литейный двор. Горновые в такую плавку едва держались на ногах.

Впрочем, когда человек молод, все эти выхлопы и задержки с ковшами не причиняют ему особого беспокойства. Потому что организм у него еще крепок, а ковши рано или поздно, но все равно подадут. Даже разламывающую боль в суставах и пояснице он переносит довольно легко, забывая обо всем почти тотчас, как только кончится его смена.

Но когда человеку пошел шестой десяток и, кроме того, у него перебита ключица, пусть и минуло тому целых тридцать лет, — тогда все это не так просто.

Тогда выясняется, что малейший и, может быть, незначительный вовсе пустяк в состоянии вывести человека из равновесия...

Он мог давно уйти на пенсию, но почему-то не уходил, боясь и самого этого слова, и того, что вдруг нарушится его сложившийся за три десятилетия привычный мир. Весь день сидеть наедине с женой — для него было трудно даже представить это. Он мечтал лишь о том, чтобы перейти работать в дневную смену. Но для этого была нужна справка о состоянии здоровья, которая бы подтвердила, что физически он уже не в состоянии работать по ночам в горячем цехе. Когда-то у него была справка о ранении, выданная ему врачами военного госпиталя. Если бы он тогда мог знать, что со временем в ней возникнет такая необходимость, он бы, конечно, приберег ее, сохранил бы до этого дня. Но тогда он об этом и не думал, потому что не мог даже знать, что произойдет с ним через час.

...Справку пустили тогда на самокрутки... Смешно было теперь ему об этом вспоминать, но обычного листа бумаги или обрывка газеты почему-то ни у кого тогда не оказалось — впрочем, с бумагой там было всегда плохо. И справка пришлась как раз кстати, словно и назначение ей было предписано именно такое — для самокруток...

Он только что вернулся из госпиталя, и справка о ранении, сложенная вчетверо, лежала у него в нагрудном кармане. У него и махорка была, — махорка, которой он разжился в госпитале, выменяв ее на новые сапоги. От радости, что остался жив и что снова попал в свою, а не в чужую часть, он угощал этой махоркой чуть ли не всю роту. И справку разорвали в первый же день. Ее хватило как раз на четверых. Даже края у четвертушек подравнивать не пришлось, настолько эти четвертушки оказались ладными для самокруток. Махорку все нахваливали, и при виде его расплывшейся физиономии действительно нельзя было за него не радоваться, что он вернулся к своим. А о справке и не вспомнил никто. Да и ему она была тогда ни к чему тоже. Но теперь, через тридцать лет, когда по ночам начало так сильно разламывать плечо, что порой немела, повисая, как плеть, рука, справка вдруг потребовалась, и без нее никому не дока-

жешь, что у тебя было тяжелое ранение и ты имеешь право работать в дневную смену. Оставался только один выход: выправлять справку снова.

На другой день смена Федора Павловича уходила на выходной.

Он вернулся домой вечером, с каждой минутой чувствуя, как в нем все больше и больше накапливается раздражение — натруженное плечо опять ныло. В кухне на плите он нашел ужин и съел его. Потом поставил чайник и с аппетитом выпил два стакана. Хотел выпить третий, но раздумал. Посидел, покурил. Все уже спали. Нужно было идти и ему... Он поднялся и, погасив свет, наощупь стал пробираться в спальню. Шел, придерживаясь рукой за стену, в прихожей больно ударился коленом о стул. Наконец, нашарил в темноте дверь и мысленно про себя выругался.

Жена, оказывается, еще не спала.

— Ты чего там? — Она лежала под одеялом, лицом к стене. Он ничего не ответил. Сел на край постели, начал раздеваться.

— Ну что, пойдешь завтра? — снова спросила она.

— Пойду, — ответил он. — Надо идти...

Больше она ни о чем не спрашивала. Он тоже молчал. Лежал под одеялом, осторожно растирая рукой больное место.

Свет от уличного фонаря проникал через окно в комнату, отбрасывая по углам и на стены увеличенные тени предметов. На противоположной от окна стене четко отпечаталась тень от настольной лампы. Она была в окружении каких-то размытых штрихов и кружочков, подернутых чем-то вроде сотканной наспех паучей сетки и тоже размытой, и все это вместе шевелилось, раскачивалось из стороны в сторону. На другой стене прыгал фиолетовый зайчик величиной с яблоко. Он то подпрыгивал вверх, перемещаясь на потолок, то снова возвращался на место. Создавалось такое впечатление, как будто кто-то сидел у окна с зеркалом и, собирая свет, направлял его на стену.

Лежа под одеялом, он рассматривал эти стены, и ему казалось, что в них есть что-то живое. Какая-то непреодолимая и скрытая от глаз сила повелевала ими, приводя их в движение. Так заставляют прыгать набитых опилками кукол, дергая их за веревочки.

Глядя на эти тени, он вдруг понял, что давно уже отдалился от своей семьи, и особенно в последние годы, — с большим удовольствием вспоминая эпизод тридцатилетней давности, чем то, что происходит на его глазах каждый день. Чаще всего он вспоминал ту станцию с таким коротким и несколько странным названием — Сейда. Иногда он даже видел ее во сне. Это было чем-то вроде застывшего кадра, какой-то картины, постоянно повторяющейся. Он даже не мог понять, почему ему запомнилась именно эта станция, а не другая. Ведь ничего, собственно, не произошло за те полчаса, пока стоял там их эшелон!.. Бывает, взглянешь мимоходом на какой-то предмет и тут же забудешь, а через год-два предмет вдруг всплывает в памяти, и до того отчетливо, ясно, как будто видел его всего минуту назад. И удивительно, что надобности-то в этом предмете никакой нет, а все равно не можешь от него отделаться будто уже и сжился с ним, будто предмет этот вдруг стал зачем-то необходим...

Ту станцию он видел только однажды из проема вагонных дверей. Дощатая перегородка — что-то наподобие оглобли от тарантаса, какими обычно загораживают открытые двери товарных вагонов, — доставала ему почти до подмышек и удерживала его, не давая упасть вниз. Он стоял, навалившись на нее всем телом, и смотрел на перрон, где шеренгу за шеренгой выстраивали новобранцев и, пересчитав, разводили по вагонам. Еще он успел разглядеть вокзал и пятачок площади, отделенной от вокзала решеткой, за которой оставались провожающие, мокрый перрон и паровоз на путях. Несколько таких же паровозов стояло поодаль. Все они казались новыми и мокро блестели своими воронеными боками, колесами и тендерами, готовые вот-вот сорваться с места. Перекликаясь, они беспрестанно зыкивали гудками.

В стороне от состава, у входа в вокзал, под сколоченным наспех дощатым навесом стояли музыканты. Лиц их, загороженных нотными листами и трубами, было почти не видно, лишь взлетала и опускалась, плывя по воздуху, палочка в руке дирижера. Но сами трубы, начищенные, большие и желтые, медно светились из-под навеса даже теперь, в сером и сыром воздухе. И все это время, пока на перроне строили новобранцев, оркестр громко и бодро, словно на праздни-

ке, наяривал старый победный марш. Даже свистки паровозов были не в состоянии заглушить его.

Потом состав с новобранцами наконец ушел, а через несколько минут и их составу дали зеленый свет. Из проема вагонных дверей было видно, как проплывает вокзал с оркестром, опустевший перрон и решетка ограды, прутья которой взлетали высоко вверх.

Его окликнули:

— Маркелов! Где ты? Это твоя шинель?..

Он обернулся. Кто-то сунул ему обмусоленную цигарку. Он машинально взял окурок и молча лег на солому, с головой укрывшись шинелью. Лежал на спине, позабыв про окурок, все также машинально комкая его между пальцами и не чувствуя, как сырая махорка крошится ему на лицо. Внизу на рельсах скрипел песок, качало и бросало из стороны в сторону вагон. Но ему казалось, что он так и не оторвался от того перрона и остался стоять там вместе с провожающими за оградой на станции, слушая, как оркестр исполняет теперь уже какой-то грустный осенний вальс.

Проснулся Федор Павлович часов около двух ночи. Еще не поняв, что случилось, подумал, что кто-то сдернул с него шинель, и он лежит теперь без нее на полу, вздрагивая от колесных толчков. Острый запах соломы и паровозной копоти неприятно ударил в нос. Потом услышал, как хлопнула входная дверь. В прихожей что-то зашуршало, как обычно шуршит, когда снимают плащ. Щелкнул выключатель. Тогда он понял, что лежит в своей спальне и что кто-то вошел в квартиру. Шаги были осторожными, но однако в них все равно чувствовалась тяжесть, выдавая вошедшего с головой. Это был сын: он всегда забывал, что в прихожей в одном месте скрипит пол.

«Сейчас возьму ремень и выдеру, — ворочаясь, думал Федор Павлович. — Скоро он мне, пожалуй, еще и бабу сюда приведет. Всего и осталось — шляется до утра... Завтра и у сына, и у дочери заберу ключи».

Половицы перестали наконец скрипеть: пока он собирался взять ремень, сын успел раздеться и прошмыгнуть к себе.

Федор Павлович хотел разбудить жену, но раздумал. Он выпростал из-под одеяла ноги и сел на край постели, нашаривая под кроватью тапки. В комнате было светло. На полу лежал яркий квадрат света. Раскачивались и ползли по потолку и стенам тени.

В кухне он включил свет и сел к окну. Взял папиросы, но опять раздумал, бросив пачку на стол. Захотелось вдруг махорки.

Масленка из-под ружейного масла, привезенная с фронта, хранилась в шкафу за хрустальными рюмками. Он вспоминал о ней, когда вдруг надоедали папиросы или нечего было больше курить. Переставляя посуду, жена обычно натыкалась на эту масленку и тут же убирала ее из шкафа, находя ей самое непотребное место: в ящике для обуви в прихожей или на кухне под раковиной. Но каждый раз масленка снова оказывалась в шкафу...

Стараясь ничего не уронить, он начал шарить на полках, и рюмки зазвенели, полетели друг на друга; упала на пол и разбилась кофейная чашка. Он наклонился, чтобы собрать осколки, и шепотом выругался:

— Черт знает что такое, наставлено везде. Как в муравейнике. Негде уж стало хранить. Сейчас выброшу к черту всю эту посуду, тогда узнает...

Но ничего не выкинул, даже пожалел чуть позже о разбитой чашке, ссыпая осколки в мусорное ведро. Потом все же нашел масленку и, успокоившись, начал сворачивать сигарку. Помусолил, закурил. Запах махорки снова напомнил ему о том окурке, который кто-то сунул ему в вагоне. Но он тогда так его весь и раскрошил...

После той станции эшелон болтало в пути еще несколько суток. Больше его нигде не задерживали. На стоянках паровоз отцепляли и без очереди гнали на водокачку. Все занимало каких-нибудь полчаса. На встречу попадались другие составы, но из вагонов почему-то никто не выглядывал. Лишь изредка мелькали в проеме дверей носилки или чей-то белый халат...

— Федор, восемь часов скоро. Ты слышишь? Давай вставай.

Он проснулся, как от толчка, еще не веря тому, что голос принадлежит жене. Она стояла над ним, придерживая край одеяла.

Недавнее раздражение снова вернулось к нему; оно разрасталось, готовое выплеснуться наружу. Не хотелось никуда идти. Он готов был отработать подряд две смены, но только не ходить в поликлинику — не умел просить за себя: с детства терялся, краснел, когда приходилось просить.

— Завтрак на столе,— сказала жена и вышла из спальни.

В прихожей послышались удары ботинок об пол, скрипнули половицы.

— Буди его, буди,— разобрал он сквозь дверь.— Уже девятый час, а не восемь.

Он вспомнил, что, проснувшись от скрипа половиц в два часа ночи, окончательно решил утвердить в доме свое право. Хотя бы среди собственных дочери и сына. Он поставит все на свои места, и первый шаг к этому — заберет у обоих ключи от квартиры. Это первое. Второе — заставит их приходить домой вовремя.

— В твоём возрасте я не шлялся до утра,— сказал он, приоткрыв дверь, и тут же понял, что сказал это напрасно, потому что в те годы у него вообще не было никакого дома.— Сегодня же положи ключи.

В прихожей щелкнул замок. «Характер! — одеваюсь, подумал Федор Павлович.— Теперь он может сказать, что ушел раньше и ничего не слышал. Ничего, я повторю еще раз...»

На улице было тепло, весело пригревало солнце, от газонов, от листьев, травы шел пар. Он не стал садиться в автобус и пошел пешком. Но чем ближе подходил к поликлинике, тем сильнее хотелось ему повернуть обратно. Чтобы как-то отвлечься, стал вспоминать, как угораздило попасть тогда в госпиталь. Нелепая и глупая в общем-то история...

Зима стояла в тот год морозная, со страшным ветром, разрывающим до корней кусты и деревья. По ночам было слышно, как сковывает землю льдом. Днем заметно отпускаяло.

В конце февраля роту старшего лейтенанта Жар-

кова вывели наконец на отдых. Отойдя к перелеску, решили дальше не идти, здраво рассудив, что у тыловиков никто им теплых квартир не припас, а лишний раз попадаться на глаза начальству — одни только ненужные хлопоты. К тому же у танкистов, тоже разбивших здесь свой лагерь, всегда можно было разжиться соляжкой.

Троих с термосами сразу же отрядили на кухню за супом и кашей, а сами начали промышлять на счет дров. Ломали на деревьях сухие сучья, прикатали из танкового парка дубовый кряж. Разобиженные танкисты пригрозили, правда, не давать за это соляжки, но под конец смягчились и все-таки налили канистру.

Было около пяти часов утра.

Маркелов пристроился к костру, где сидели двое: безусый солдатик, связной ротного, и помощник командира второго взвода, пожилой сержант в толстой шинели, под которую, вероятно, была поддета безрукавка. Порывшись в вещмешке, помкомвзвода-два извлек оттуда флягу и потрянул ею над ухом. В ней что-то булькнуло.

— Вчерашняя порция, — объяснил он. — Давай кружку! — и вдруг повернул голову: — Слышишь, свистит?

Неподалеку за леском упал снаряд. Сильно рвануло землю, осветив на мгновение верхушки деревьев, кусты и примятый под ними снег. Люди у костров мелькнули в каких-то неестественно застывших позах. Второй снаряд упал уже ближе, и тотчас где-то заработал пулемет.

— Вот сволочи! — выругался сержант. — Не дадут спокойно сто грамм выпить.

Автоматчики у костров тоже заругались, грозя в темноту немцам и нашей артиллерийской батарее, которая вдруг включилась в стрельбу.

— Да ну их к черту, — снова сказал сержант. — Давай, с богом!

Маркелов опрокинул свою кружку в рот.

— Эй, подожди! Чего торопишься? — вдруг окликнул сержант. — Котелок! Держи котелок!..

«Вот черт, перебил! — подумал Маркелов. — Не дал до конца допить!» — И, приподняв котелок, потянулся к голенищу за ложкой.

Он не услышал, как рвануло в третий раз. Он только почувствовал сильный удар в плечо, и все перевернулось перед глазами. И как-то неестественно тепло и сыро стало в правом рукаве. Только когда ему помогли подняться, он понял, что его ранило. Тупая боль раздирала плечо, кто-то кричал рядом. Голос показался знакомым, и он посмотрел вниз. Что-то красное было там. У костра, поджав под себя ноги, лежал солдатик. Он лежал без движения, словно окаменев. Это же красное было на нем и вокруг него. На снегу ползал на коленках сержант. Шинель у него вздулась и была вся в крови. Он кричал, зажимая руками рот, а кровь все шла изо рта, и весь снег был тоже в крови.

— Шальной снаряд,— сказал кто-то сзади.

Потом подошел ротный. Он начал что-то объяснять Маркелову, но тот не смог ничего разобрать и молча пошел прочь, все дальше, дальше от этого красного. Крик сержанта за спиной по-прежнему не смолкал.

Понемногу он начал приходить в себя. Боль в плече отзывалась тупым толчком, рука безвольно висела вдоль туловища. Наконец, Маркелов понял, что нужно искать перевязочный пункт. Дорога, по которой он шел, была безлюдна. Он шел по ней долго, стараясь выбирать, где ровнее, пока не наткнулся на санинструкторшу.

— Вот здесь в плече что-то,— сказал он ей.

Санинструкторша сняла с себя сумку и, достав из нее ножницы, принялась резать шинель. Маркелов кричал от боли, но она все резала и резала, пока не распоролла шинель от груди до плеча. Потом то же самое сделала с гимнастеркой и нательной рубахой, отстригая от них клочки и бросая их, красные, окровавленные, на снег. Туда же, на снег, один за другим летели и сырые, пропитанные кровью, тампоны. Брезентовая сумка худела на глазах. Рядом в лесу рвануло. Санинструкторша ойкнула и присела на снег. А в следующее мгновение, не успев Маркелов и опомниться, она уже была далеко от него. Он выругался, поминая недобрым словом ее и вообще всю военную медицинскую службу. Но ругайся не ругайся, а надо было искать перевязочный пункт. Он снова пошел по дороге. Боль в плече не стихала ни на

минуту. Тампон под шинелью намок, и от него стало холодно. В прореху задувало ветром.

Перевязочный пункт помещался в щитовом домике рядом с полковой кухней. Возле него уже толпилось десятка два раненых, и Маркелов занял очередь. Он устроился на крылечке и незаметно задремал, прислонив голову к стене. Проснулся он оттого, что кто-то тронул его за здоровое плечо.

— Та ты никак прикорнув? — Над ним, нависая, стоял старшина из их батальона.

Маркелов немного знал старшину, вот только не мог вспомнить, как его звать по имени.

— А я бачив-бачив, ты это или не ты, — обрадованно говорил старшина. — Та яким ветром тебя сюда занесло?

Чтобы как-то скоротать время, Маркелов начал ему рассказывать про санинструкторшу. Про то, как она разрезала шинель, а потом испугалась шального снаряда и убежала.

— Та то ж Клавка, бисова дочь, — сразу признал ее старшина. — Она ж тележного скрипу боится. Раньше у батальоне, у нас была, а потом у полк забрали.

— Ее на пушечный выстрел подпускать нельзя, — сказал кто-то из раненых.

Наконец очередь дошла и до Маркелова. Его выкликнули, и он пошел на перевязку.

Вскоре подали подводы. Тяжелораненых погрузили на них; те, кто держался еще на ногах, шли своим ходом. Дорога была уезженная, ровная. Падал снег...

В госпитале Маркелов пролежал два месяца. Боль унялась довольно скоро, но почти все время рука была в гипсе: никак не затягивало рану. Медленно срасталась ключица. Когда же гипс, наконец, сняли, то вдруг оказалось, что он не может пошевелить ни одним пальцем — рука одеревенела. Ему назначили специальные упражнения. И еще около трех недель он ходил в кабинет выстукивать дробь на военном барабане.

Наконец, наступил день, когда ему выдали новое обмундирование и выписали из госпиталя. В кармане гимнастерки вместе с документами у него лежала справка о ранении. Та самая, которую искурили потом автоматчики из роты старшего лейтенанта Жар-

кова. Он хорошо запомнил, как это произошло: их было четверо — он и еще трое. Кажется, по возрасту они все, так же как и он, подлежали призыву в сорок втором году. Правда, Маркелов ушел добровольцем раньше, но это вовсе ничего не значило, если не считать, что к сорок второму он уже был помком-звода-один. Они сидели тогда вчетвером в окопчике, и он угощал ребят махоркой, рассказывал о том, как жил в госпитале. В результате он остался без справки и не вспоминал о ней целых тридцать лет.

Но теперь справка вдруг потребовалась, и надо было что-то делать, чтобы получить дубликат...

К открытию поликлиники он опоздал. Перед окошечком регистратуры в вестибюле была очередь. Федор Павлович пропустил вперед всю очередь,ждавший, когда никого не останется.

— Вам к кому?

Регистраторша смотрела на него через окошечко — для нее это была обычная работа, и ее вовсе не интересовало, умеет ли человек просить за себя. А он действительно вдруг смутился и не знал, как объяснить ей, что ему нужно.

— Так куда вам надо? — снова спросила она.

— Да мне, собственно, не на прием,— сказал он.— Я на приеме был в тот раз. Тогда еще был полный такой терапевт, в очках. Намял мне плечо, а оно потом всю ночь болело... — Он поймал себя на том, что говорит сущую чепуху, и от этого смутился еще больше. Но язык был словно деревянный: никак не мог подобрать нужных слов.

Регистраторша отнеслась к этому сообщению без всякого интереса. Она только хмыкнула, оттянув верхнюю губу, отчего сразу же вздулся над ней пушок; и Федор Павлович подумал, что когда-нибудь из этого пушка непременно вырастут настоящие усы.

— Что вы мне голову морочите? Видите, мне некогда? Можете яснее?

— Могу,— спохватился он.— Мне нужна справка о ранении.

— Мы таких справок не даем,— отрубила она.

— Но в тот раз, когда я приходил, мне сказали... здесь сидела другая девушка... — Федор Павлович хо-

тел исправить положение, но оттого, что допустил ошибку вначале, запутался окончательно.

— Можно мне вызвать старшую? — Он попросил об этом таким тоном, словно был регистраторше чем-то обязан. «Кажется, сейчас все брошу», — подумал он.

Регистраторша скривила напوماженный рот.

— Полина Сергеевна, вас тут просит больной!

— В чем дело? — отозвался кто-то в соседней комнате. Из-за перегородки вышла немолодая на вид женщина. Федор Павлович узнал ее сразу. В прошлый раз он встречался именно с ней, точно так же долго и безуспешно втолковывал ей, что же ему нужно. Теперь старшая снова стояла, перед ним, и он чувствовал себя совсем скверно, жалея, что начал всю эту волокиту.

— Я опять по тому делу. Помните? Со справкой?

— Послушайте, уважаемый, — сказала старшая. Голос у нее был неприятный, глухой. — Что вы ко мне привязались? Обследование прошли? Ну и что вам сказали?

— Хирург сказал, что ключица действительно была перебита, — окончательно теряясь, заторопился он. — Теперь нужно запросить архив. Я знаю, где находился госпиталь. Я только забыл город, но можно посмотреть на карте. Я видел этот город на карте. Архив... в Туле...

— Но я же объясняю русским языком, — перебила она его, — что мы никаких архивов не запрашиваем. И давайте на этом простимся. Где этот архив, в Туле или Магадане, — меня не интересует. Идите в военкомат, пусть они и запрашивают. Черт знает, чего не наслушаешься за день!

Снова, как и при разговоре с молоденькой регистраторшей, больно кольнуло внутри. Маркелов повернулся и вышел на улицу.

Он шел, сняв пиджак, думая о том, что завтра снова на работу. Он решил зайти в парк, где обычно торговали пивом.

На открытой террасе у пивного ларька было почти пусто, лишь несколько человек сидели невдалеке. Маркелов заказал две кружки и сел за свободный столик. Сидел тихо, молча потягивая пиво, вспоминая ту далекую станцию Сейду, которую видел мельком

всего раз в жизни. Странно, но именно теперь Федор Павлович вдруг вспомнил, что тот самый сержант, которому угодило осколком в рот, окликнул его, когда он стоял у перекладины, глядя на духовой оркестр: «Маркелов! Где ты? Это твоя шинель?..» Так вот почему снилось всегда та станция! Значит, благодаря сержанту остался он жив. Потому что не потянулся он тогда к голенищу за ложкой или задержись на секунду — и осколок от снаряда попал бы не в плечо, а в голову. Тогда было бы все кончено — всему был бы конец...

Отсюда, с террасы, ему было видно, как за низеньким заборчиком невдалеке играют в песочницах дети. У них было весело, шумно; они кричали все разом, и от этого разобрать было ничего нельзя. Какой-то мальчуган в кепке, лихо сдвинутой на затылок, как обычно заламывают свои папахи кавалеристы в кино, оседлал скамейку и раскачивался из стороны в сторону, представляя себя всадником. Руку с зажатой в ней пластмассовой саблей он держал на отлете, размахивая ею в воздухе.

Федор Павлович окликнул мальчугана, и тот, обернувшись, слез со скамейки, но подойти не решился.

— Ну что же ты, вояка? — позвал он. — Не бойся, иди сюда.

Мальчуган поднялся на крыльцо и подошел к столу.

— Вам чего? — спросил он.

— Тебя как звать?

— Петька. А вам зачем?

— Покажи саблю, — попросил Маркелов. Мальчуган охотно протянул ее. — Хорошая сабля, — похвалил Маркелов. — Вот что, дружок, подожди-ка меня.

Он купил в ларьке шоколадку и положил ее мальчугану в нагрудный карман. Потом посадил его к себе на колени, заботливо заправил ему выехавшую из штанишек рубашонку, все время разговаривая с ним, как со взрослым.

— Вот, брат Петька, какие наши дела. Что делать-то теперь будем, вояка? Как думаешь: прорвемся?

— Прорвемся! — заверил мальчуган и указал на скамейку: — Это конь.

— Я, брат, тоже думаю — прорвемся! Во всяком случае, должны! Где наша не пропадала! Скучно тебе со мной, брат? Скучно! Ну, давай беги к своему коню.

Мальчуган слез с коленей и, придерживая рукой нагрудный карман, побежал к песочнице, где стояла скамейка.

Маркелов поднялся и пошел домой. Был полдень, весело пригревало солнце. Хлопали двери магазинов, урчали на дороге машины, пыль от них садилась на асфальт. Он шел по улице, держа под мышкой вывернутый наизнанку пиджак, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу.

«Ладно,— думал он,— попробую еще сходить в военкомат. Когда я там был последний-то раз?.. Осенью? Вроде осенью... Может, завтра что и выйдет...»

Подходя к своему дому, он еще издали заметил, что кто-то стоит на балконе. Неясная из-за расстояния фигурка расплывалась на солнце, радужные нити тянулись от нее. Но он все равно сразу же понял, точнее, почувствовал, что это жена.

Ночью он снова проснулся в два часа. Но уже не оттого, что его разбудил сын. Он проснулся, вдруг вспомнив во сне, что накануне забыл убрать масленку с махоркой. Он поднялся и пошел на кухню, надеясь найти ее опять под раковиной или в ящике для обуви в прихожей.

Но, к удивлению, обнаружил ее в шкафу, куда обычно прятал сам. И ему почему-то вдруг расхотелось курить. Он положил масленку на место и без дела сел к окну. С улицы проникал свет от фонаря, ровный, тихий свет, не отбрасывающий теней. Приятно несло ночной свежестью.

Сквозь эту серую и уже тающую мглу он опять видел станцию Сейду. Все более вырисовываясь и приобретая свои очертания, надвигался из темноты вокзал, виденный им всего раз в жизни, да и то мельком,— порывевшее от дождей здание с известковыми разводами по углам и в центре. Видно было перрон и мокрую щебенку, сереющую на путях между рельсами, масленисто мокрые шпалы и вздымавшийся от них и от насыпи клочковатый пар. За оградой, отде-

ляющей перрон от вокзала, у входа в город толпились провожающие, выкрикивая что-то через решетку.

Товарные вагоны, в которые один за другим вбегали солдаты, находились тут же, у края платформы. Офицеры-провожаемые в брезентовых накидках и с одинокими полевыми сумками бежали вдоль состава, выкликая солдат по фамилиям. Под сколоченным наспех дощатым навесом у входа в вокзал духовой оркестр решительно и громко наигрывал старый победный марш.

Наконец пробежал по перрону последний, запыхавшийся от навьюченной на него тяжести, солдат. А на путях уже давно горел зеленый свет. Прогудел паровоз и потащил за собой вагоны, без конца дергая их, увлекая к выходной стрелке, где маячил флажок семафора и можно было набирать скорость.

Вскоре он совсем скрылся из виду.

Люди за оградой не расходились еще долго, глядя в ту сторону, куда ушел состав, слушали, как под навесом играет духовой оркестр. Но играл он уже тихо, светло и грустно, и уже не победный марш, а какой-то совсем незнакомый осенний вальс.

А потом и их составу, стоявшему в тупике и задержанному до отхода поезда с новобранцами, тоже дали зеленый свет. Так же, как и тот, первый, прогудел паровоз, подышал на насыпь отработанным паром и начал медленно выбираться на главный путь. Когда же за поворотом, на выходе, мелькнул семафор, мелькнула желтая будка стрелочника и не стало видно ни вокзала с перроном и духовым оркестром, ни чугунной ограды, за которой остались люди, Маркелов забрался внутрь вагона, где была брошена охапка-другая соломы, и больше не выходил к дощатой перекладине, просунутой между двух крючков-скоб в проеме двери.

— Маркелов! Где ты? — окликнули его. — Это твоя шинель?..

Но он не ответил. В его голове все еще звучал тот незнакомый ему осенний вальс.

А состав уходил все дальше и дальше, но куда именно — этого ясно себе представить тогда еще никто не мог...

СЕРЫЙ КАМЕНЬ

1

Юрка жил в деревне Касьянка, в семи километрах от школы. Уходил рано по понедельникам, из интерната обычно возвращался в субботу, а в хорошую погоду иногда и по средам.

Дорога долгая. Чего только не встретится на пути в разное время суток да в четыре времени года! Одно и то же дерево — и то всегда разное. Вот, посмотрите, верба у тропинки от крыльца к лесу: как размокшая паутина сереет она в осеннее предвечерье, как стог сена сутулится на подлунном снегу, как золотой одувачик горит в майскую пору — вся в нежных желто-зеленых сережках.

Дальше спускается лес к Залупаихе, лес черный, тяжелый: нередко из глубины его услышишь четко трещащие или ахающие, с придыханием звуки — это с трудом, но напрочь ломается метрах в трех от комля лесина или мягко сползает набок по игольчатому меху подроста отжившая ель. Вывороченные и сломанные деревья завалили всю Залупаиху, и течет она нелюдимая и темная, хоть и воды в ней всего ничего.

На другом берегу лес светлее: осинник, ольшняк, много тополя — стояла, верно, здесь раньше деревенька, а есть и вообще солнечные участки: на много гектаров чистый березняк, лет до полусотни, высокий, редкий, как насаженный, с прямыми стволами и веселой непышной кроной сверху. На веники рубить — шкурка выделки не стоит, на дрова — рубль перевоз, вот и стоит красота нетронутая от Залупаихи до самого Портомоя.

Ох и названьеца! А и вправду: перешел Портомой — портки помой, подошел к Залупайхе, особенно в вешнюю пору, — те же портки залупай до нупа, а бабы — подтыкай подола под опояску. Под стать им и названия деревень: Баландино, Змейцыно, Шома, Мармулька, Требабово. В начале тридцатых годов образовался тут колхоз «Новая жизнь». Действительно, пошла было жизнь веселее, лучше, да вдруг война. Нечего говорить: гвоздя не вколочено было за эти годы в колхозе. Три мужика пришли с войны во все девятнадцать домов. Поднимались трудно. Многие уезжали, особенно после укрупнений, когда уехали все, кроме Юркиных отца с матерью. С фронта отец привез три ордена Славы, носил их, пока не расползлась гимнастерка. В колхозе отслужил на всех должностях: от председателя до кладовщика.

Два года назад поставили его бригадиром укрупненного колхоза. Только не над кем стало бригадирить: всех трех доярок правление вскоре перевело на центральную усадьбу работать на механизированной ферме. А к опустевшему скотному двору пригородили большой загон с кормушками, с водой из артезианской скважины, нагнали телят — и стал Юркин отец начальником летнего откормочного лагеря, а мать, как и раньше, телятницей.

Про скотину они говорили больше междометиями, понимая друг друга с полуслова, но по-доброму, ласково. На Юрку же особого внимания не обращали, да он и привык к этому.

Юрка почему-то заикался, хотя и не ушибался сильно никогда, напуган тоже не был. А вот заикался — и все! Летом, правда, гораздо меньше.

В прошлом году мать водила его на медпункт, показала молоденькой фельдшернице. Та посмотрела, послушала, заглянула в рот, подавила на язык холодной металлической пластинкой: «Скажи: а-а-а».

«Ва-а-а», — давился Юрка.

— Ничего, до свадьбы заживет, — покраснела фельдшерница от слова «свадьба». — Лекарства ему не на пользу. Вы с ним поспокойней, поласковей. Избегайте отрицательных эмоций. Сердечко бы ему укрепить надо. Побольше на воздухе, без нагрузки. Лицо порозовеет — выправится и речь.

«Серде-ечко», — ворчал про себя Юрка, возвращаясь домой. Старался вышагивать вразвалку, впереди матери. Незаметно косил глазом на левое плечо, на правое плечо. Во ширина!

«Серде-ечко... А красивая, и пахнет вкусно». Он знал многие запахи: ключевой воды, апрельского снега, осиновой коры, земляники, клеверного поля, запах дегтя, человеческого пота и телячьей мочи, особенно запах родной избы, но такого — чистой девичьей свежести — он еще не нюхал.

«Скудненький! Ишь, гусенок, вышагивает... — жалела мать. — А фельдшерница — что фельдшерница? Девчонка дак девчонка и есть... Надо бабку Авдотью поспрошать. Больно скоро песыак вылечила».

С месяц назад вскочил у Юрки здоровый песыак на левом нижнем веке. Дня три назревал. Накатился, как японский вулкан на картинке. Склоны сизые, а пик обледенел. Даже из школы Юрку отпустили. Он уже почти не видел дороги. От левого-то глаза только щелочка отсвечивала, и правый воспалился, покраснел. Голова заболела, самого разжигать стало.

Дома пролежал до вечера. А вечером, когда мать доила корову, пришла бабка Авдотья за молоком. Она не уехала на центральную усадьбу с сыном, осталась в Касьянке до осени, чтобы участок не пропал. Кур, овец, поросенка, корову — все хозяйство перевезли. Огород не перевезешь. Вот и копалась на грядках.

— Что, матушко, заболел? Ну-ко, покажи глазок-то. Повернись-ко к баушке.

Юрка любил эту маленькую добрую старушку. Никогда не пройдет без ласкового слова.

— Ну-ко, на спинку-то повернись. Вот-вот так...

Она положила ему ладонь на нос, закрыв правый глаз, большим и указательным пальцами раздвинула веки на левом — да как дунет в самую середину!

Юрка взвился. «Дура!» — заорал он, крутясь на постели, схватил одеяло и давай вытираться. Нарыв лопнул. Слезы, кровь и гной размазывал он по лицу.

— Что ты, матушко, что ты, остепенись! — уговаривала бабка.

— Дура, уйди! — надрывался Юрка.

Но дело было сделано. Через час ему стало легче, а наутро проснулся и не вспомнил о песыаке.

— Верное дело, Марьюшка, раз плюнуть — как ру-

кой снимает, — оправдывалась бабка перед Юркиной матерью.

...Всю дорогу рассказывала мать сыну о каждой кочке, о каждом кусточке, как и куда ходили они с отцом, как провожала его в армию, как да где встречала. Юрка всем видом показывал, что не очень-то и слушает. Однако ступить так старался, чтобы и слова не заглушить.

По дороге и решила Юркина мать спросить бабку Авдотью, что же делать от заикания.

— Ах ты, господи, что за напасти на парня? — сокрушалась бабка на материн вопрос. — Скоро уж гулять будет, а чем девушку уговоришь? Делать неча, что-нибудь изладим. Когда он больше заикается-то?

— О домашнем говорим — дак вроде и ничего, а как про отметки — навроде вздрагивает. Навроде пугается.

— Пугается, говоришь? Вот и ладно. Застращать надо испуг-от. Погоди, я вот ужо зайду.

Сеанс лечения проходил опять навечеру.

Бабка нарочно задержалась возле дома, выждала, пока не потянуло из трубы сосновым дымком.

«Ага, самовар наставили. Скоро за чай сядут. По-гожу, невелик уповод... Только чем бы испугать-то? Какую напраслину возвести? Морковь безо время выдергал? Мышонка в молоко спустил? Ну да ладно. Грех бы, парень-то больно хорош, такой смиренный. А и в хворости — как оставить? Возьму грех на душу, помолюсь, скажу: «Господи, все во славу твою». Размышляя подобным образом, отправилась к рядовым. Юркина семья сидела за чаем. Бабка нарочно повозилась на нижнем мосту, чтобы залаяла Динка, а когда та свою задачу выполнила, насторожила хозяев, бабка заворчала непривычно суровым, но слабым голо-сом: «Что уж и за родители такие ноне пошли! Одно дитя — и то шпаной вырастает. Слыхано ли — и на соседнем деле над старухой измываться? Морковь безо время сгубил — ладно, молчу, — она переступила порог, — в молоко то мышонка, то тараканов насадит — ладно, молчу. Драть надо. Вичка ребра не переломит, а ума даст».

Мать быстро поняла замысел бабки Авдотьи и на-пряглась, а отец начал расстегивать ремень.

У Юрки округлились большие голубые глаза, он побледнел и ждал, что будет дальше.

Бабка, согнувшись в поясице, выставив добродушное мягкое лицо, наступала, глядя Юрке в глаза.

— Говори, как на духу: ты почто это опять по гнездам лазал, ты почто это опять все яйца вытаскал? — строго вопрошала она, только как-то нараспев, будто сказку рассказывала.

Отец насторожился: что-то ему показалось не так.

Юрка ненормально захохотал, задержался, закашлял, посинел. Все с испугом смотрели на него.

— Бабушка, да ведь у тебя куриц-то давно нету! — первая опомнилась мать.

Юрка выскочил из-за стола.

— Нету-у? Ой, матушка, верно ведь, нету! Совсем из ума выжила дура старая.

— Зачем тогда мелешь не знать чего? — рассердился отец. — Я ведь его еще не парывал. То в глаза наплюешь, то... мать твою распротак!

— Как же, ангел? Попугать хотела. Со страху-то и заикаться перестал бы. Мать-та сама просила. От слова какой вред?

— Я вот вас, лекари, перебегом вылечу!.. Садись, пей чай, — еще сердясь, сказал бабке отец. — Выпадет время — к докторам свезу. Нас вон из кусков собирали... А тут — хе-й! Юрка, иди посмотри на дураков!..

...Но время не выпадало. Летом свое дело не оставишь, а зимой как Юрку от учебы оторвать?

Правда, и заикался он не всегда. Вон когда загонял телят, да сособенно без отца-матери, не до заикания было. Тут голос его был свободен и звонок, слова выпархивали легко, как жаворонки! Набегавшись вволю, часто засыпал он прямо в яслях на зеленой подкормке, а просыпался то ли от солнца, то ли от росы, то ли от капель пены с телячьих губ. Однако проходило лето, и Юрка опять превращался в ученика.

Первый звонок действовал на него угнетающе: Юрка начинал заикаться на весь учебный год.

II

Приготовления к празднику Победы были в полном разгаре. Особенно много сделали семиашники.

Все дома обошли, разузнали, кто с войны не вернулся. Списки составили, много фотографий собрали, выдержки из писем выписали.

На уроках труда выпилили фанерные звездочки, покрасили красным суриком, прибили к домам фронтовиков.

Юрка сам в прошлую субботу приколачивал звезду на своем доме. Отец подошел, посмотрел, сказал на Юркины объяснения: «Ну-ну» и добавил: «А багорик-то скинь. Теперь, кроме нас, гореть некому».

Настроение у Юрки было приподнятое уже несколько месяцев. Вряд ли он понимал, отчего так. В голове у него еще не вполне рассвело, в отношении к школьному миру не было ясности, но что-то стало нравиться ему в этом мире. Может быть, новая практикантка подействовала? А вообще-то она никак и не исхитрялась «действовать». Рыженький очкарик, кнопочка, чуть ли не с Юрку ростом, только пошире. Заводная, как волчок. На уроках незаметная. Развесит таблицы, схемы, указочкой потыкивает: сравни, докажи, почему? А то игры затеет: кто внимательней, кто сообразительней? Весело, смешно. Только хохотать надо быстро, а то прозеваешь — над тобой захохотут. А как читает — и все почти наизусть!

По вечерам в интернате торчит, задания проверяет. «Юра, я тебя спрошу, а ты подумай и помолчи. А потом всю фразу сразу. Понял? Давай...»

На дорогу и то задания. Разговаривай, кричи, ведь с любой елочкой поговорить можно.

— А я с воронами ра-разговариваю.

— Ну-ка, Расскажи потихоньку.

И Юрка шепчет, полуотвернувшись:

— Видали — у фермы воро-он! Сидят, нахохлились, редко шевелятся, голодные. Навоз окаменел, сено да солома под снегом. Вдруг одна летит. «Кар-р!» Я размахнусь и брошу корку. А та не дура: будто не видит, сделает круг, а потом — раз! — и точно над коркой. Я еще брошу — и вот еще летят. Потом соберется — т-туча. Я в столовой всегда к-корок на-набираю. Тетя Соня уже ругается: поросенку, говорит, надо. А вороны смышленные. Узнают уже меня. Сначала с-стороной летают, а как начну бросать — вот содом! Орут, кричат, дерутся, и я ору. Каждый раз до дому проводят. Но только до весны, до корму.

— Ну, молодец. Посмотреть бы!

И возьмет она гитару, и начнет петь частушки, сокольские да никольские.

— Слушайте, запоминайте, да и сами записывайте... Послали бы меня в вашу школу — мы бы сборничек выпустили. Рукописный бы. Экспедицию бы устроили. За песнями, — хохочет.

— А вы попроситесь, Зинаида Антоновна.

Задумается, все ждут, что ответит, а она: «Ладно, давайте стендом заниматься».

А что «ладно»? Приехала с зимних каникул, всех затормошила, всю жизнь от звонка до отбоя подчинила подготовке к Дню Победы. День в школе, вечер в интернате, да еще в клуб на репетиции бегаёт. Просто удивительная. Все ей тащили: фотографии, старые письма. И все это разместили на стенде. Вон как красиво в клубе висит.

Хор сколотила. Даже мальчишки поют. И Юрка поет. Конечно, он стоит во втором ряду и лишь смотрит на ее руки, как положено, а поет в Тонькин затылок. Та рукой за шею хватается: волосинки-то от его дыхания шевелятся, щекочут. Юрке и хорошо, и чего-то стыдно. Вот бы все время учиться у Тюпочки! А то снова вернется Исполина Пудовна — страх-тоску нагонит. (Учительницу, конечно, звали Полиной, но тайное имя точнее отражало ее рост и объем.) Любого зайкой сделает. Юрка помнит, как с ней познакомился три года назад. На первом же уроке, едва обернулся к Тоньке за резинкой — шоп-шоп! — а Исполина Пудовна как стукнет ладонью по столу, да как взвизгнет: «Встать!» Юрка вздрогнул. Сердечко зашлось. Он никогда и не слыхал, чтобы так орали. После этого попробуй-ка отвечать!

С Тонькой в прошлом году еще чище вышло.

Стояла у доски, да забыла чего-то, тщится вспомнить, морщится. А Исполина — руки за спину, в накинута пальто, к стенке привалилась.

— Ну... ну.., — понукает.

Тишина. Кто бы и рад подсказать, да забыли уж, о чем надо-то.

— Ты, Серякова, чем думаешь?

В классе засмеялись.

Тонька заревела, а Пудовна стала читать мораль. Кто похитрее — слушали ее с вдумчивым видом, а Юрка

видел Тонькин профиль у доски, хотя она уже села и хлюпала сзади.

...В коричневом платице с белым передником, худенькая, напуганная — такой он видел ее. Попробуй заступись — свои же задразнят. Вот была бы Тонька сестрой, вот тогда бы он показал! Ходили бы вместе в школу, он бы обе сумки носил, сидели бы на одной парте, и он бы на нее нечасто и незаметно смотрел...

Размечтался Юрка. И от волков сестричку спасал, и на войну, нет, в армию она его провожала. Выходило похоже, как мать рассказывала об отце. Он только чувствовал, что нудная мораль учительницы мешает ему, путает его мысли.

...Нет, Тюпочка бы так никогда не сказала. Про ворон и то слушает. А уж кота интернатского Тюпу с рук не спускает. Как только не назовет: Тюпик, Тюпок, Тюпочка...

III

Юркина мать под праздник почти не спала. Спину будто собаки грызли. С вечера затворила пироги, обрядила скотину, начала было выставлять рамы, да вдруг схватилась за поясницу. Просадило, видно. Бросила дела и по скрипучим приступкам влезла на печь. Пока здоров человек — никакого возраста не чувствует. А чуть что — и полезут они, думушки-то.

Кому болезнь в радость? А тут — посуди-ка: лес, поляна огромная, дом. Единственный на семь верст в округе. В доме печь. На печи — маленькая нездоровая женщина. Одна. Тихо. Радио молчит. Подгнивший столб расхлестнуло еще в апреле упавшей осинкой. Говорила своему — наладь, а что один сделает?

Положила под голову валенки, голенище на голенище, на них подушку тощенькую, специальную, печную, фуфайку выдернула из-под себя — все потеплее на голых-то кирпичках. Под поясницу еще валенок подсунула — меньше гложет, если спину лизогнешь.

Перед глазами матица — как литая, восковая, шпильками исчерченная — немало передумано на печи. Вот пятно черное, пороховое — память о Санушке. Горько дрожат губы у матери, как подумает о нем. Глубокие глаза наливаются слезами. Ладно, никто не

видит. Выкатится слеза, поползет по виску, по щеке — она подтянет руку, напружинится, боясь стронуть поясницу, вытрет щеку и опять аккуратно вытянет руку вдоль туловища. Не больно послухмянный был Санушко. Учиться не захотел. Работал в колхозе. По гуляночкам похаживал сызмала. Гармошка, нож, ружье да лошади — не было другого интереса. А кто выучивался? Никто как следует. Только те, кому удавалось уйти в РУ, в ЖУ. Это если родственники в городе помогут. А какие у них родственники? В колхозе работы тоже на все время не напасть. Вот и додурчился Санушко.

Шли раз в апреле по улице, к ним домой шли. Мать еще посмотрела в боковое окошко: с Ванькой Марьиным идут. В фуфаечках оба, шапки серые, солдатские, у обоих на бочок, оба в белых валенках, голенища загнуты, издаля галоши блестят. Гуляют допризывники. Любо-дорого! Ростиком одинаковы, только Ванька поширокорожее. У Санушки ружье, централька проклятая. Дорогу-то уже пучило, почернела от навоза, а воробьев на нем! Разгребают, кормятся. Ну что паразиты делают? Можно ли в деревне палить? Она опять подбежала к окну.

В обе стороны от дороги, на нечистом снегу трепыхались раненные серые комочки. Вот бы как надо выскочить да вылаять, чтобы знали другой раз! Не выскочила. Домой ведь идут, что уж принародно-то срамить! Оба веселые, хохочут. Затвором передернул Санушко, Ванька к ложу тянется. Чего-то замешкались, и Санушко начал валиться набок и на колено уж упал. Только тут ее выстрел-то оглушил. Ванька его подхватывает, устанавливает, как было. А Санушко обмяк, не держится, валится...

Мать бессознательно повторяет телом его движения, его муку, она в который уж раз готова броситься и спасти сына, и каждый раз ноги отнимаются, как и тогда.

Какое до больницы — до медпункта не довезли Санушку! Только и сказал еще на нижнем мосту, пока лошадь запрягали, чтобы Ваньку не винули.

Вот как ослабнет человек, не может работать, так откуда они и берутся, слезы.

Хоть бы с Юрушком все было ладно! Хоть бы ему дал бог здоровья! Она вряд ли верила в бога, она его

при случае поминала дай бог как, а тут ночь, до ближайшей деревни семь верст, да и не слышит никто...

— Ма-ать, ма-ать! — послышалось ей.

— А? Кто? Чего? — вскрикнула она, но вспомнила про поясицу, притихла.

— Ты, отец?

— Чего-то квасу никак не ошарю. Наставь-ко самовар. В Москве-то уж, поди, гимн играют.

— Ой, видно, забылась я. А ты чего больно рано? У кого ночевал-то?

— А когда ночевать-то? Как все кончилось — сразу и домой. — Он отпил полбанки квасу. — Ну, мать, не поверишь, будто снова в атаке побывал! Знаешь, я ведь, как выпью, чувствую — все, сразу бегом домой. А теперь уж вон сколь время не брал в рот. Взяло, видать. Ну, бегу, знаешь ведь, там под гору. А тут кто-то пускач завел, сзади песни орут, а мне одно далось: первый быть должен! Вдруг — жак! — как на mine, искры да звон...

Очухался уж не скоро. Шарю кругом — цел, воронка не воронка, землянка не землянка, руку вытянул — в накат уткнулась. А чувствую — сквозит. На карачки встал, лезу по скату — где это я? Здания высокие, длинные, электричество горит, как в городе в хорошем. Ни наши, ни немцы не стреляют. Приник на всякий случай, а не терпится, опять голову высунул. — Он замолк и серьезно выпучил глаза, всматриваясь в устье печи.

— Ну?

— Вот те и ну! Ферма! Ферма оказалась! А я с моста грохнулся! Вот те и кантузия!

— Да ведь, леший, зашибся бы! Одних бы нас в лесу оставил! Что уж нам, тут и сгинуть? — пригорюнилась она.

— Не одних, не ори: не сегодня-завтра телят пригонят, — он засмеялся.

— И чего дурак мелет — самому смешно!

— Верно, смешно. Все злой был. А теперь отошло. Ну иди ко мне, иди, все хорошо, поняла?

Он мягко, успокаивающе обнял жену, похлопал по лопатке, будто вальком по мокрому белью, погладил коричневую от непроходящего загара щеку.

— Чего трешь, как котенок? Не нагулялся еще? Налить?

— Хм, налить... Наливай себе, если хочешь. Вот за чаем ужю... Ну, скоро ли скипит? Торопи. Бриться надо.

— Да ведь вчера брился. Для телят?

— Юрко скоро придет, — как-то особенно сказал он. И — как бы между прочим:

— Сколько у нас денег-то? — выделил слово «сколько».

— А зачем тебе? — озадачилась мать.

— Ну-у-у, — неопределенно промычал он.

— Телушку не кормить, сдать, так к зиме шесть тыщ будет.

— Не будем кормить, — сразу сказал он.

— Ну-ко, ну-ко, ты чего это задумал-то? Ай?

Он встал, снова обнял жену, подвел к окошку. Воздух еще не начал струиться маревом, молодой зеленью отсвечивал ельник, по опушке растекался бледно-розовый дым. Это поднималась на теплых токах, исходивших от укрытой прелью земли, живительная пыльца, клубясь между отмякшими ветками ивняка, стволами ольхи, осинника, березняка. Знакомая верба сияла во всем своем медовом великолепии. Одуревший тетерев вертел головой, длинная шея отливала перламутром. Собратья его не сбивались в кучу, они рассредоточились по лугам и полям, чуфыркали изредка, зато «буль-буль-буль-буль» наполняло округу, заглушая другие звуки.

— Вот увидишь, скоро прилетит. Понимаешь, не дурак у нас Юрко-то, оказывается.

— Дай бы бог... — обрадовалась мать. — А в кого бы ему дураком-то уродиться? — спохватилась она.

— Учить надо! Хвалила вчера его больно учительница. Молоденькая, а не глупая. Разобралась. Из всех похвалила. Написал он чего-то там. Про нас с тобой.

— Про на-ас?

— Про на-ас! — передразнил он. — Ты ему все-то даром не мели. Про серый-то камень. Успеет еще, свихнется. Обращает какая-нибудь вроде тебя.

— Господи, спохватился все-таки?! А я-то, дура, думала, так необруганная и в могилу сойду, — притворно заныла жена.

— Да не ругаюсь я, не выдумывай. Переезжать к осени надо. Председатель вчера обещал комнату в об-

щежитии плотников. Дом на место перевезем, поставим. Учить его надо, — снова повторил он.

...А Юрка в это время уже летел к дому. За зиму он вытянулся. Легко сигал через канавы, удачно миновал Портомой. Он чувствовал легкость, ноги в сапогах из овечьей кожи ступали широко. Он покраснелся, скользил взглядом по прутьям ивняка, прозрачным осинникам, туманному ольшняку. Солнце светило ему в глаза, он щурился и спешил. А зачем? «Не знаю», — ответил бы он на этот вопрос. А в груди билась горячая радость за себя, за отца, за мать, за то, что он увидел в них что-то такое, лучше чего не бывает совсем.

Вчера они — участники концерта — во время торжественного заседания сидели в первом ряду на гимнастических скамейках. Юрка никогда не видел отца таким подтянутым и нарядным. Тот сидел в президиуме между председателем колхоза и замом военкома. Три ордена Славы поблескивали на его неширокой груди.

Отец спокойно обводил глазами старых приятелей, диковатую молодежь и, только встретившись взглядом с сыном, беззвучно перебирал губами.

Юрка тоже опускал глаза, но ненадолго, вскоре опять выкатывал исподлобья подсиненные белки. Майор делал доклад, говорил сочно и весело, аплодисменты гремели всерьез.

Но вот он стал поименно перечислять 67 погибших — сделалось тихо. Только прерывистое дыхание десятков людей, подрагивание плеч да закрытые ладонями лица выдавали состояние зала. Даже злобредная гармошка на крыльце умолкла.

В дверном проеме забелели вытянутые лица шалопаев. Это каменное молчание при негромком четком голосе докладчика будто солдатским ремнем стянуло старых и малых. Каждый чувствовал силу этих редкостных минут единения.

Майор уже не мог продолжать в прежнем тоне и вскоре закруглил доклад, успев похвалить работу кружка красных следопытов. Юрке похвала понравилась, хотя они и не называли себя «следопытами». «А хорошее слово! Надо подсказать Зинаиде Антоновне!» И вдруг он покраснел так, что жарко ему стало. Сколько домов обошел, добывая фотографии,

письма, узнавал имена, а и не знал, что родной отец — герой. Настоящий герой!

Отца попросили выступить. Он ухватил побелевшими пальцами обтянутую красным полотном тумбочку и растерянно крутил головой то к залу, то к президиуму.

— Расскажите нам, за что Вы получили награды,— подсказал майор.

— Я? Как все, так и я,— сказал отец, глядя на майора.

— Поподробней, пожалуйста.

— Боюсь, надолго затянет. Четыре года за ими ходил.

— А все-таки? Молодежь знать желает.

— Ну, кх, кх, как война началась, здесь уже говорили,— он повернулся к майору.

Зал затих. Юрка застеснялся и опустил голову.

— В общем, поначалу бежали мы — ноги до сих пор износили,— резанул ребрами ладоней по пахам.— Ну, дали они нам! Я тогда хорошо бегал. А после — ну, дали мы им! Они нас по прямой гнали, а мы их — охватиком,— он эластично загнул тяжелой рукой порядочный круг.— Так в котле выварим — мясо от костей отстает! Меня три раза — жаж! По частям собирали. А как шинель надену — опять целый весь... Я тогда хорошо бегал. Первый добегал. Думаю, надо бить, пока не убили... А вы там, в дверях, не скальтесь! Учиться надо вам... военному делу... настоящим образом! Это не я говорю. Это Владимир Ильич... наказывал,— сказал отец и пошел на место. Аплодисменты снова грянули.

Мужики языкам дали волю. Смех, одобрение и восхищение гудели в рядах.

— Не смотри, что тихонький!..

— Промеж глаз врезал!

— А что хочешь? Полный георгиевский...

— Кто еще желает выступить? — надсадно крикнул председатель.

— Я! Можно мне? — вскочила Зиночка с поднятой рукой.

— Я! Можно мне? — уже с трибуны радостно выкрикнула она и, не обращая внимания на председателя, который хотел, как положено, представить ее, продолжала:

— Я хочу прочитать сочинение Юры Кошкина. Вашего сына, товарищ Кошкин. Оно называется «Дороги Победы». На конкурс писали. Но это я глупо такую тему дала. Больше не буду. Вот оно:

«Я мало еще читал книг про войну, потому что их тяжело носить домой. А в интернате мы готовили уроки да ходили на мероприятия. Но летом я часто сижу на камне посреди нашей Залупаихи. Около него совсем мелко и вода чистая. И если сидеть тихо, то мальки подплывают близко и хватают мелкие крошки, которые я вытряхиваю из карманов.

Мне мама рассказывала, как провожала отца на войну. Папа ей крикнул, чтобы она не сходила с камня на этот берег, а то его убьют.

Дальше дорога пошла в гору, и папа пошел в гору, и она пошла в гору, только к дому, только задом наперед. А он повернулся и тоже пошел задом наперед. И они долго еще видели друг друга. Они всю войну друг друга видели.

В него много раз стреляли, и попадали осколки. А он ни разу не умер.

С войны он ехал на попутной телеге. Кто-то сказал маме, и она выскочила его встречать. Он побежал ей навстречу, снял с камня и понес в гору на руках. Там стоял Санко и ревел на весь лес. Он отстал от мамы. А потом родился я. Теперь я по этой дороге хожу в школу».

Тюпочка поздно спохватилась, что не надо бы читать-то перед всеми, сбивалась, краснела, но ее смущение передалось в зал, и народ слушал внимательно и тоже смущенно. Юрку раза два подоткнули с обеих сторон, а он только огрызался беззвучно, не поднимая головы. Отец же нарочно завел какой-то разговор с майором, будто и дело не его.

...А сейчас они с матерью стояли у кухонного окна и смотрели на дорогу. Тетерев вдруг сполосно сорвался с вербы, но, как бы одумавшись, спланировал в жнивье.

Над пригорком закачалась Юркина шапка с опущенным козырьком.

— Докипает, смотри! — смятенно бросила мать, указывая на самовар, и в одной кофте выскочила на улицу.

Юрка подлетел к дому размашисто, возбужденно.

— Ма-а! — закричал он, увидев ее. — Ставь самовар, скоро папа придет! Я думал, меня догонит. У них вчера праздник был. Он же у нас герой! Ты это знала? — выпалил он одним духом.

Отец отодвинулся за косяк и усмехнулся довольным и виноватым.

У матери сбилось сердце, занялся дух.

— Милый ты мой! — прошептала она, опираясь на частокол, но шепот ее не был слышен в сплошном гуле тетеревиного бормотания, в звоне жаворонков, которые выпархивали из старых копытных следов и вязко трепетали крыльями в парном и плотном воздухе.

ТРУБА

Галина Сергеевна сидела на изрезанной зеленой скамейке около заводской стены под вывеской «Место для курения».

Перед ней торчала врытая в землю бочка с зеленой водой, в которой плавали разбухшие окурки. Погода была парная, тяжелая. Грозы — едва ли, дождика можно ждать в любую минуту.

Только что главный инженер сказал ей раздраженно, что зря она ходит, просит, уговаривает, что никакую трубу он ей делать не будет, что у самого людей не хватает.

— Нечего больше ходить. И директора не добивайтесь. Он скажет то же самое. Занимались бы своим делом — больше проку было бы. Второй день здесь торчите, извините, пожалуйста. Ведь вы врач. Ведь у вас же там очередь. Больные, понимаете? Вот где ваша забота, а уж никак не труба. Если будем так работать — все в трубу вылетим. Мне больше сказать вам нечего.

— Ну что ж. До свидания, — проговорила Галина Сергеевна и по гулкой железной лестнице вышла на улицу. Теперь вот сидит в курилке, не замечая этого, не зная, что ей делать. А ведь сколько хлопот было! Почти год как белка в колесе! На пятиминутках смеяться начали. Вместо «история болезни показывает» однажды ляпнула: «история с кирпичом показывает». И вот, оказывается, все впустую. Коробка готова, котлы смонтированы, уголь вывезен, батареи

навешаны, а печи все стоят. Стоят! Вдруг еще зиму с печками жить? А чем топить, углем? Дров не запасали. Все деньги по смете на уголь ушли. Самое время подхихикивать. Думалось, как лучше, а вышло... Бездарь. Тупица. Влипла — не выпутаться. Больно покладиста. Силой бы не заставили. Звание прельстило? Главврач? Главзавхоз на деле. Ну и предрик хорош. Другой бы предостерег, а этот будто заманивал.

— Нет, нет, Галина Сергеевна, отказов не принимаем. Нам тут жить. Это наша доля. Коммунизм надо строить не где-то, а в наших деревнях, селах, на полях. И никто за нас ничего не сделает. Помните, в школе спорили, каким будет наше село через десять лет? Нет? А мы мечтали. Как только не растекались «мыслию по дереву»! Сейчас вспомнишь — стыдно становится. Отрабатывать надо, а? — он просительно посмотрел на нее.

— Я думаю, надо вам оседать крепко. Отзывы о вас хорошие. Опыт придет. Но ломайте косность! Ломайте косность! — надавил он. Берите все новое! Завтра поезжайте за приказом. Все согласовано.

Галина Сергеевна чувствовала себя не то чтобы робко, а как-то скованно. Предрика она знала с детства. Ей нравился его напористый нрав, и даже округлость нравилась. Энергия жила в этом клубке. В школе не одному поколению выпускников ставили его в пример. После института он попросился в свой район, быстро стал главным агрономом совхоза, а потом был выдвинут на руководящую работу. Солидная внешность, вдумчивое обхождение нравились людям, напористость подкупала начальство.

— Боюсь, — со вздохом, но и с улыбкой ответила она. — С лечебной работой как будто справилась бы. А вот с хозяйственной... Строить ведь надо. С довоенных пор серьезного ремонта не было.

— Ну, строить — это не ваша забота. А завхоз у вас крепкий. Вы прислушивайтесь. Но спокойной жизни не будет. Не ждите.

И верно: месяца не прошло, как вызвал снова. Вышел из-за стола, усадил. Глаза веселые, улыбкой играют.

— Как привыкаете?

Галина Сергеевна рассказала все как есть.

— Хорошо, хорошо. Только вот профилактику травматизма надо усилить. Ну, это в рабочем порядке. А вот что,— запросто говорил он,— разминка кончилась. Большое дело надо сделать. Конечно, большое лишь по нашим масштабам. Заодно и опыта наберетесь. Появилась возможность,— сделал паузу,— весь больничный городок перевести на центральное отопление. Довольно мерзнуть. Довольно сора, лома, хлама! А сколько площади высвободится из-под печей!

— Да? Вот это бы здорово! А кто делать будет?— обрадованно встревожилась Галина Сергеевна.

— Как кто? Ты да я, да мы с тобой, извини за фамильярность. От меня первый взнос: выбил котлы, получайте. Завтра приедет товарищ делать проект и смету. Здесь он, конечно, только посмотрит, а делать будет у себя в институте. Для сведения: женат, не пьет, интересуют только деньги. Предварительно мы говорили. Придется давать, сколько запросит. Плюс командировочные.

— Какие, за что?

— Ему же придется раза три сюда приезжать.

— Но ведь это в его интересах.

— Но и в наших, так?.. Не мелочитесь. Вы же теперь деловой человек,— втолковывал с укором, как маленькой.— Короче, так: наряд на кирпич получите, на сталь надо срочно давать заявку,— и он почти продиктовал виды работ, сроки, материалы.— А кто будет делать? Видимо, шабашники, волки. Да, волки. Наши коммунальщики сделают какую-то часть. Остальное — волки. С ними — договора! И контроль! Ох, какой контроль! Завхоз чтобы ни на шаг от них.

Галине Сергеевне было и радостно, и страшно. Надо же: у них в больнице будет тепло, чисто. Не надо бояться угара, ругаться с истопниками. Будет, а когда?

— А когда же мы это сделаем?

— К следующему отопительному сезону — кровь из носу, как говорят.

*

* *

Подождал автобус. Галина Сергеевна вошла в него, даже не зная, куда, собственно, теперь ехать.

«Надоело. Все брошу. Сейчас позвоню начальству, что угодно делайте! Я вам не толкач и не жестянщик, я деквалифицируюсь». «А вас,— скажут,— в толкачи никто и не нанимал. Вы помните формулировку в приказе? Назначить главврачом. Вот и думайте, соответствует ли эта формулировка вашим, извините, занятиям. Мы приказ пока изменять не намерены. Исполняйте ваши прямые обязанности. А для хобби найдите другое время!»

«Хобби! — обиделась Галина Сергеевна. — Ах, хобби? Да знаете ли вы, уважаемая, что без этого «хобби» жить нельзя, работать нельзя? «Заслуженную», небось, не за так получила? Сама в глуши маялась?» — спорила она сама с собой, машинально протискиваясь к передней площадке.

«Знаю, конечно», — усмехнулась она и, поддавшись потоку, прыгнула на асфальт.

Шедшие впереди двое мужчин повернули к новому большеоконному зданию из силикатного кирпича. «Районный комитет КПСС», — прочитала Галина Сергеевна. «Хуже не будет!» — подумала она и вошла в здание.

— Вы к кому? — спросила ее дежурная с яркими пухлыми губами. «Чего сидит тут, работы, что ли, не найти?» — неприязненно подумала Галина Сергеевна и, не отвечая, прошла на второй этаж. Шла, внимательно глядя на таблички на дверях, как вдруг очередная дверь распахнулась, чуть не стукнув ее, и выпустила остролицего молодого человека.

— Тэ-тэ-тэ, — испугался он. — Извините, — проскочил еще шага два. — Вам кого?

— Наверное, вас, — неожиданно вырвалось у нее. Кажется, даже со злостью.

— Спешу, но, вкратце, в чем дело?

— Вкратце? Бюрократы заели. Оболочка с иглолки, а защит бюрократ.

— Где? Давайте распорем, поглядим.

— На механическом, заказ не берут.

— Какой заказ, кто? — Смотрит заинтересованно, энергично давит взглядом.

Объяснила.

— Вам действительно ко мне. Иван Петрович, — поклонился он, — зав. промышленным отделом.

— Галина Сергеевна, просительница,— с полуулыбкой представилась она.

— Ну что, скромная просительница, едем пороть бюрократов? Я как раз туда, в партком.

— Едем! — повеселела Галина Сергеевна.

Сбежали к подъезду. Эта собачья трусца по ступенькам взбодрила как-то, вроде умывания действовала.

— А вы хирург? Терапевт? Кто?

— Хирург. По аппендицитам,— смущенно и нарочно откровенно добавила Галина Сергеевна.

— А, гнойнички-жировички? Как раз то, что надо.

— Чуть посерьезней случай — отправляем к вам, в городскую,— обижалась она.

— Ну, в нашем случае, надеюсь, болезнь еще не застарела... Трудно у них, понимаете? Осень затяжную обещают. Вся надежда на технику. А заказы не по профилю. Производственный процесс модернизировать надо. Так одно за другим и накатывает: надо, надо и надо,— уже серьезно говорил Иван Петрович.

— Да-да,— вздохнула Галина Сергеевна.

Помолчали.

— А если «операция» не удастся, выше пойдете?

— Пойду.

Сразу за проходной на бетонной дорожке встретили директора. «Поджидал, что ли?.. Конечно, поджил. А тут два дня не могла поймать. «Нету». «На совещании». «Не знаем». А по виду и впрямь директор: высокий рост, волосы охапкой, седые, а брови черные, как мазки. Вот сочетание! Видать, для доброго поста природа готовила. Пыльник бежевый, туфли отсвечивают. Это ли бюрократ? Зануда? Робковато даже».

— Здравствуйте, Иван Петрович! — ответил директор на приветствие.— Здравствуйте! — поклонился и ей.— Значит, и вас, Иван Петрович, в свою веру обратила?

— Догадался, догадался,— в ответ на ее изумление улыбнулся он.— Не думайте, не подсматривал,— заигрывал директор.— Ходатаи одолели: и производственный, и секретарь парткома, и главный, наконец. Все за вас! Ну, первым отказал, а последнего выставил. Нас когда-то учили: тебе надо — плачь да проси, у тебя просят — реви да не давай! — грубо закончил директор.

«Кривляка», — ожесточилась Галина Сергеевна.

— Значит, труба трубе? Нет выхода? — прищурился Иван Петрович.

— Есть. Насколько приемлем, не знаю, но есть. Вот какой. Мы шефствуем над «Северянином» из Залесья. Так вот, согласны выполнить их заказ, — кивнул в сторону просительницы, — в счет шефской помощи этому совхозу. Кто с кем будет договариваться — не знаю. Будет письменное согласие — будет и труба. Подходит?

— Подходит? — как бы перевел его вопрос Иван Петрович.

— Да, но...

— Верно. Не домой же вам за бумажкой ехать. Вот что: идите в управление сельского хозяйства, если нужно, они свяжутся с вашим руководством, — посоветовал Иван Петрович.

— Хорошо. Спасибо. Спасибо, Иван Петрович.

— Желаем успеха.

И они дружно, как показалось бы со стороны, углубились в другой разговор.

Галина Сергеевна остаток дня провела на ногах. Побывала и в управлении, и в тресте совхозов, пока, наконец, ей не было сказано: «В принципе мы не возражаем. Но вопросы шефства, соцобязательств решает профсоюз. Идите к Тиберию Ивановичу. Он, конечно, не Гракх, но тоже — хе-хе — народный трибун».

*
* *

«Народный трибун» сидел в уютном кабинете с новенькой мебелью. Ремонт продолжался только в комнате секретарши, но ее там не было. Поэтому Галина Сергеевна прошла прямо в кабинет. Тихонько поздоровалась, чтобы не мешать телефонному разговору. Но Тиберий Иванович был увлечен:

— Да, сейчас с Москвой разговаривал. Да, конечно, с ним. И знаешь, что он, между прочим, посоветовал? Командует, как прежде, но намек дал. Помнишь, говорит, Маморова? Помнишь, как его поперли за ту ресторанную историю? Ну когда на спор сувенирным лаптем щи хлебал? Ха-а. Его в горотдел — хлоп! Замою по политчасти. А там же, понимаешь,

субординация. Пояс не распустишь. Встречает его начальник горотдела. А он в вышитой рубаше. «Когда,— говорит,— товарищ Маморов, будете носить форму?» — «Майора дадите — спать в форме буду!» — ответил. И дали ведь. Так что дерзай, если в нашем деле это еще возможно! Привет! — он уважительно положил трубку.

— Э-э-э,— удивился, вдруг увидев Галину Сергеевну.— Вы ко мне?

Галина Сергеевна кивнула.

— По какому вопросу?

Она стала ненавязчиво и мягко излагать суть дела, мелкими шажками приближаясь к столу. Сначала она видела только зеркальную лысину и узкий лоб в морщинках, а потом разглядела и глубоко запавшие бусинки круглых маленьких глаз.

— Сумма?

— Какая сумма?

— Стоимость сметная вашей работы.

— Девятьсот шестьдесят три семьдесят.

Выражение лица у Тиберия Ивановича осталось прежним, но бусинки дернулись, будто кто-то хитренький метнулся прочь.

— Нет,— бусинки уже вернулись на место.— Вы понимаете, на что вы меня толкаете? Присядьте, пожалуйста. Да-да, вот сюда... Газеты читаете? Улавливаете хотя бы общий настрой, а?

— Думаю, что улавливаю.

— Ну вот, и хотите, чтобы я распылял силы и средства? Чтобы я оказался тем, в кого можно ткнуть пальцем: вот кто любит канадские пироги? Нет, мы не можем есть чужой хлеб. Не можем. Мы сконцентрируем все силы, привлечем пенсионеров, школьников, а своего добьемся.

— Тиберий Иванович! — перебила Галина Сергеевна. Отказ ее обескуражил, но от его ораторства стало полегче.

— Тиберий Иванович! — мягко повторила она, выискивая нужный тон. Она не знала, что сотрудники между собой называли его попроще: «Гай Иванович». — Я с вами вполне согласна. Я только хочу, чтобы рабочие были здоровы. Быстрее бы излечивались. У нас одна цель, и настрой один. Я просто рада, что мы выяснили это.

— М-да-с? Конечно... вы молоды, и вам лишь кажется, что вы постигли положение в полном объеме. Вы романтичны,— он прикрыл веки со всех сторон одновременно, будто мешочки затянул,— а мы трезвые практики,— и бусинки глаз выкатились снова.— Возможно, читали у Владимира Ильича о борьбе за каждый пуд угля, каждый пуд хлеба? Вы понимаете: каждый! То есть, поясню, тот, который должен быть добыт, собран не завтра, не возможно добыт, а взят именно сегодня, именно сегодняшними силами и средствами.

— Странно. А мне казалось...

— Вот в том-то и различие наших целей и нашего настроя. Вам казалось... Вы освоили общие принципы гуманизма. Но и земцы были в известной мере гуманистами. Кстати, не земцы ли построили вашу больницу?

— Да. В тысяча девятьсот восьмом. И, кстати, с водяным отоплением. Это уж потом до печей дожили.

— Вот видите: революция побеждена, партия в подполье, Ленин собирает новые силы, а ваши земцы строят парилку в лесу.

— Почему мои? Почему парилку? — загорячилась Галина Сергеевна. Она чувствовала всю глупость и пустоту этой беседы.— Хотя в какой-то степени и мои. Мой дед проработал в этой больнице свыше сорока лет. Орден Ленина заслужил! Так что я настрой понимаю правильно.

— Конечно, теория, мой друг, сера, но дерево жизни пышно расцветает! Износились, говорите, земские трубы, как и их теория?! Не на том фундаменте строили. Абстрактный гуманизм, сострадание — пыль. Вы знаете, что все это сметено еще Октябрем. А сейчас — механизация, мелиорация, химия — вот фундамент. Все силы — в него, все средства — в него! На этом фоне ваша труба — несерьезно, простите.

— Спасибо за беседу. Не хотелось бы, но приходится прощаться. Жаль, что товарищи из райкома обнадеежили меня. Сказали, что вы поймете,— не вполне честно добавила она.— Иван Петрович просил сообщить ему об итогах.

Бусинки опять метнулись и замерли.

— А разве не пойму? Вы уж, поди-ко, бюрократа

мне пришили? Теперь ясно. Партийные органы зряшному делу не дадут ходу. А вообразите-ка,— и снова кто-то хитренький выглянул из глаз,— вообразите-ка: приходит к вам молодой человек и говорит: «я привез больного. У него гнойный аппендицит. Оперируйте, ради бога, срочно, немедленно, при мне!» Вообразили? Тогда что вы хотите от меня? Ведь вы тоже, прежде чем оперировать, поставили бы диагноз. Иначе мы с вами больших бед натворили бы. Больших бед! Итак, сколько?

— Девятьсот шестьдесят три семьдесят.

Тиберий Иванович порылся в бумагах, что-то написал минут пять, потом, видимо, надавил кнопку вызова, так как вдруг появилась в дверях женщина с вопросительным выражением на лице.

— Отпечатайте сейчас же! На фирменном бланке,— он подал ей бумагу.

— Вот видите, к чему приводит незнание обстановки. Вам бы сразу ко мне. Да-с, коммуникабельность хромает. Прямого общения мало. Больше видим бумажку, чем человека. Что с бумажки возьмешь? Дело и дело. А подоплеку его, политическую суть, знаете, не всяк сразу и схватит,— сказал он Галине Сергеевне.

Вошла секретарша.

— Вот и «отношение» готово. Великое дело — понимать человека!

Галина Сергеевна терпела, но ой как трудно было терпеть. Ай да трибун! Как иголка в руках проворной хозяйки: нашим — вашим, нашим — вашим. Лучшее уж прямой отказ, чем такое липучее согласие.

— Мне приятно вручить вам этот документ. Закончите стройку — руки развяжутся. Рад, что удалось помочь. Здоровье трудящихся — кровное дело медицины и профсоюзов. Заходите при случае. Желаю удачи,— и проводил посетительницу до дверей.

На завод ехать было поздно. Галина Сергеевна отправилась в Дом колхозника.

Наконец-то пошел дождь, теплый, спокойный. Гром урчал неблизко, урчал солидно, по-доброму.

В комнате на троих, где она жила эти дни, никого из соседей еще не было. Она раскрыла сумочку, достала сложенный листок. В «отношении» значилось, что «поименованная организация» не возражает против из-

готовления РМЗ стальной трубы для Залесской ЦРБ в счет обязательства по шефской помощи совхозу «Северянин» того же Залесского района в сумме 800 (восемьсот) рублей».

«Слюняй! Микроб! Ничтожество! — бушевала Галина Сергеевна. — Демагог! Двuruшник! Что теперь: на 160 рублей трубу короче делать? Ну, ничего, голубчик, не открутишься. Главное, диагноз известен. Как раз по моей специальности».



Но утром она отправилась все же на завод. Главный инженер сунул «отношение» в сейф, не взглянув на сумму.

— Калькуляцию сами будем делать.

Он передал Галину Сергеевну с рук на руки старичку-инженеру из производственного отдела. Тот представился, отвел слезящиеся глаза и углубился в документы.

Дело, кажется, пошло на лад. Она только недоумевала, зачем еще здесь сидеть. Пора домой, пора!

— Милая-а-а! — вдруг протянул старичок. — Сколько осталось-то? До лета? — поднял к ней голову.

— Что «осталось»? Почему до лета? — насторожилась она.

— А потому, — сказал старичок, — что больше твоя труба не выстоит. Прогорит. А труба прогорит, и ты погоришь. Сделать мы сделаем, а ты подыскивай себе другое место. Заранее.

— Но я не собираюсь ничего подыскивать. У меня дом, семья, родители, — обиделась Галина Сергеевна.

— Вон что-о! Местная, значит? А я думал, срок отбываешь, отрабатываешь за хлеб-соль, за науку. Вон что-о! Кто же тебя надоумил из четырехмиллиметровки-то гнуть?

— Да никто. В проекте и смете так обчислито, — неожиданно легко выскочило это слово — «обчислито»... «Привыкаю, что ли? — мелькнуло у нее в уме. — Еще чего не хватало!»

— Ну-ка, ну-ка, — торопливо залистал старичек страницы. — Ба! Жив курилка! Да знаешь ли, милая,

с кем связалась? Первейший проходимец! Полштата на него работает. Все колхозы обобрал, теперь, видать, новую жилу осваивает. Денежки-то вручила?

— Вручила.

— С тысчонку?

— С небольшим...

— На квартире, да? И коньячок выставил? И балычку предложил? И кобеля за стол посадил? Да-а. У него четко отработано. Дочь уроки делает, морщится: «Папа, тише!» Жена из спальни торчит, косяк подпирает. У самого эспандер через плечо. Один кобель и сидит за столом. Разинет пасть, облизнется — только медали позвякивают. Так?

— Похоже,— со вздохом отозвалась Галина Сергеевна.

— Думаете, откуда знаю? Было время, погнул на него спину... Ладно, сделаем трубу из шестимиллиметровой. Сделаем. Подороже, конечно, куда денешься? Дней через десять позвоните, думаю, готова будет.

*
* *

Но ей звонить не пришлось. Наоборот, через неделю с завода сообщили, что труба изготовлена, и попросили срочно ее убрать.

Галина Сергеевна уже просила в Сельхозтехнике автомашину с прицепом, но он оказался неисправным. А в леспромхозе разве снимут с вывозки? Даже думать нечего!

Пришлось снова идти к предрику. Надо же, такой пустяковины без него не решить! Когда ее в порядке очереди, так как предварительно не созвонилась, впустили в кабинет, он нервно читал газету.

— Интересная газетка... Есть что почитать! Даже фельетончик вот. Не читали?

— Нет. Нам же под вечер приносят. Дома посмотрю.

— Дома? — как-то странно спросил он.

Тренькнул телефон. Предрик не обратил было внимания, но вошла секретарша.

— Прокурор просит.

— Придется дать, раз просит,— с непонятной уг-

розой проговорил он и снял трубку. Некоторое время слушал.

— А вы что, из газет информацию черпаете? Не знаете, что под носом творится? Ждете, пока самого украдут? Хотя не бойтесь, не украдут: на свободе жульню полезней. Вот что: срочно подготовьте все материалы о разбазаривании государственных средств в больнице. Завтра в четырнадцать ноль-ноль исполком. Что? Да, завтра! Вам слово. Надо же ее вытаскивать!

Галина Сергеевна побледнела, сняла очки и закусила дужку. Ей не верилось, что слова «жулье», «разбазаривание», «украдут» как-то относятся к ней. Она только смотрела на предрика, не способная ничего вымолвить.

А он в возбуждении встал, подсунул под себя левую ногу и стал писать, энергично выпирая щеку языком.

Вызвал секретаршу, протянул листок.

— Вот, включите в повестку дня!

— Может, вы мне-то объясните, что происходит? — взорвалась, наконец, Галина Сергеевна.

— Объясню, объясню-ю, уважаемая Галина Сергеевна. Вот, читайте, тут все сказано, — он подал ей газету.

Действительно, в фельетоне было подробно проследжено, как некий инженер Курилов, используя служебное положение и труд подчиненных, свыше 5 лет вел дела с колхозов и других организаций крупные суммы за нелегальное проектирование тепловых и канализационных сетей. А печать института придавала всему законную силу. Обе стороны были довольны.

Галина Сергеевна читала, и нервное напряжение покидало ее. Было приведено много фактов, но о ней — ни слова. Пусть бы даже упомянули, лишь бы прохвоста разоблачить. Она с омерзением вспомнила, как приходилось вежливо отказываться от угощения в соседстве с кобелем.

«Но странной выглядит позиция руководителей ряда районов, — писал автор, — якобы не ведавших о том, насколько широко жулики развернули свою «деятельность».

— Как нравится, Галина Сергеевна? — Он пыхтел голос. — Как вам это нравится?

— А очень нравится,— весело и беспечно ответила она.— Давно ему пора в тюрьме сидеть.

— Кто ж его одного в тюрьму пустит? Вы платили — он и брал.

— Вы велели — я и платила.

— Ага-а, значит, честь — вам, шишки — мне?

— Напротив, готова поменять.

— Возможно-возможно. Я верю в вашу порядочность. Но кому от этого легче? Пока такие условия...

— А условия менять — дело ваше. Единственное, в чем вас упрекну.

— Значит, все-таки шишки мне?

Галина Сергеевна не ответила. Ей было неприятно вести торг. Лишь уточнила:

— Но о вас даже не упоминают в газете!

— Тем более, тем более мы должны отреагировать, пока не спросили.

Он пристально посмотрел на нее.

— Кстати, Курилов не скажет, что часть денег он передавал заказчикам?

Галина Сергеевна опешила. Вот тебе на! Очень легко было заплакать. Еще чего! И она ядовито сказала:

— Нет, я просила, да он слишком скуп. А вы бы дали?

— Завтра, завтра язвить будете. И рекомендую подготовиться. Все продумать. Прокурору покажете все документы.

— Сухарики сушить? — спаясничала она.

— Посерьезней, посерьезней, Галина Сергеевна. До сухарей дело не дойдет, а выговор, думаю, обеспечен.

— А зачем он мне, не знаете?

— Ну, какой же руководитель без выговора? — в тон ей ответил предрик.

* *

*

...Галина Сергеевна закончила свой рассказ. Ее молодая коллега, девушка в креплёновых брюках, лежала поверх одеяла. Она приподнялась на локте и повернулась к Галине Сергеевне.

— И как же теперь?

— Теперь? Ничего, нормально...

— Очень уж вас хвалили сегодня на совещании. Не трудно?

— Обычно, — вздохнула Галина Сергеевна. — Человек ведь со временем умнеет ли, хитреет ли... В общем, черту на рога не лезу. — Усмехнулась. — Без «хобби» живу.

— Но как тогда столько удастся?

— А я переквалифицировалась: теперь вопросы выдвигаю. Выдвигать — не решать. Но тоже заметно. Да?

— Вы не смеетесь надо мной?

— Нет, конечно. Уж над собой если...

— Тогда это... как бы сказать...

— Нечестно? Да, не вполне. Но ведь своей головой всего не пробить.

— А чьей же?

— У кого температура повыше. Гражданская. Теперь вот у нас новый предрик. Чистая душа. Но — лапоть. Все примеривают. Разносят скоро.

— Выходит... Выходит, мне завтра не идти за приказом, а?

Галина Сергеевна лежала, закинув руки за голову. Смутно, тревожно и удовлетворенно думалось обо всем. Уважение, покой, достаток, но душа чего-то томилась, наверное, жаль было тех глупых и чистых лет.

— Не идти — можно, идти — надо. Вспомните, какие перспективы! Какая материальная база! Речь идет о совершенно новом уровне медицинского обслуживания. И создаем его мы! Вот где счастье!

— Но мне за двадцать лет...

— Милая девочка, ведь это же хорошо! — тихо сказала Галина Сергеевна.

ТОПОТАЛО

Приближалась середина мая, и хотя совсем еще недавно, всего две недели назад вскрылась река, и в густых непролазных зарослях ивняка на берегу ее можно было найти посеревшую льдину, выброшенную туда половодьем, ноздреватую, как губка, истекающую водой и настолько рыхлую, что стоило задеть ее ногой, как она рассыпалась, и по утрам еще случались заморозки, и деревянные мостки перед нашим домом покрывались инеем, но солнце сильно припекало днем, земля просыхала. На лугу уже выбилась яркая свежая травка, и коровы, чувствуя ее запах в густом теплом воздухе, протяжно и гулко мычали в хлевах, выпрашиваясь на волю; по вечерам кое-где на огородах уже начинали копать гряды под картошку и жечь прошлогоднюю ботву. Когда сжигали ботву, в воздухе пахло сладко-терпкой и пряной гарью.

Они тогда все время проводили на берегу: палили сухую желтую траву, поджигали большие и темные птичьи гнезда, которые легко было находить в кустах, потому что листья еще не распустились, и гнезда, сплетенные из тонких веточек, вспыхивали сразу, как только к ним подносили факел из бересты; катались на плотах, а если, бывало, кто-нибудь из них, нечаянно обрываясь с плота, черпал сапогами воду или даже промокал весь насквозь, то это было не страшно, потому что сразу же можно было обсушиться у костра; рыли глубокие пещеры в крутом и отвесном песчаном берегу; курили — пробовали курить тростник: целые кучи его вынесло вешней водой на отмели, но от тростника исходил вызывающий кашель и

щипавший глаза едкий кислый дым, и поэтому они курили сухие листья смородины, сохранившиеся еще где-где с прошлого года, мелко растирая их в ладонях и свертывая самокрутки. Возвращались домой, когда сумерки уже начинали скрадывать землю, но если на берегу, неподалеку от них, они замечали темную фигуру рыбака, нечеткую в сгущающемся мареве вечера, то непременно подходили к нему и смотрели, как он закидывает сак, быстро выволакивает его на песок, а потом, низко наклонив над ним фонарь, ищет рыбу, но рыба ловилась уже худо (хорошо ловилась она в первые дни после половодья) — два ерша да пескарь шевелились в сети; а насмотревшись вдоволь, они возвращались домой, пропахшие дымом, грязные, усталые и голодные, и, засыная под угрюмое брюзжание матерей, мечтали о том, чтобы завтра, поскорее отсидев несносные уроки в школе, вновь бежать на реку.

Вчера утром отец Вовки Мозглякова, инвалид войны, жалея корову, оголтело ревущую в хлеве, сходил к старику Парфенову, сговорился с ним, и они вместе выгнали своих коров на пастбище, а после обеда Вовка, вернувшись из школы и прочитав записку, составленную на столе, сменил отца, и вот в это-то самое время они, как обычно проходя мимо пастбища на берег, отняли у Вовки кожаную плетку с бамбуковым кнутовищем — с отчаянным и злобным наслаждением хлестал он ею коров, вновь норовивших сцепиться, хотя всего полчаса назад Вовка уже драл их за это — и на глазах у Вовки, любясь его безбидным для них бешенством, изрезали ножом кожу и сломали кнутовище, а жалкие обломки бросили в канаву, но сделали они так совсем не потому, что им жаль коров, а потому, что они, непонятно отчего, не любили Вовку и, встречая, всегда старались задрать его (если, конечно, он был один — при нас они не смели приставать к нему), дразнились, давая ему обидные клички, но до такого, как сейчас, дело еще никогда не доходило. Они, конечно, не решились бы сделать это, если бы тут был Парфенов, а его не было: он в это время ушел домой победать.

Сегодня на большой перемене Вовка, отозвав нас в сторону, доверительно рассказал нам об этом, и мы решили идти на них, потому что все жили недалеко друг от друга и были друзьями.

— Надо только Витьку Брагина позвать, а то без него нам не справиться с ними, — сказал Витька Ковалев.

— С ними-то? Да ведь они все сопляки — вчетвером на одного лезть не боятся, а один на один трусят, да и потом у меня есть кое-что такое, что, как только они увидят, сразу побегут, вот увидите, только пятки за-сверкают, — таинственно заверил нас Вовка.

Мы с Витькой сильно заинтересовались тем, что это у него такое есть, спросили его об этом, но он, хитро улыбнувшись, промолчал, и сколько мы ни просили его, он ничего не рассказал нам о своей тайне.

— Только Витьку Брагина все равно надо позвать, — упорно твердил Ковалев.

— Да говорю вам, побегут они — увидите.

— Но их ведь четверо, а нас-то трое, так что лучше позвать Витьку-то, — сказал я.

— А может, он еще и не пойдет, — сказал Мозгляков.

Витька Брагин был самым сильным в нашем классе; все мы завидовали ему и хотя немножко сомневались в том, пойдет он с нами или нет, все же были почти уверены, что пойдет, ведь жил он на нашей улице, и если бы он отказался, мы стали бы считать его трусом, прямо в глаза сказали бы ему это, ему бы уже ничем не убедить нас в обратном, он бы пал в наших глазах.

Спокойно выслушав нас, он наморщил лоб и сказал:

— Ладно, я пойду, только вы зайдите за мной.

После школы мы с Мозгляковым пришли к Витьке Ковалеву. Он выскочил нам навстречу, но вслед за ним проворно выбежала его мать и грозно закричала:

— Кому сказала, пока воды не наносишь — никуда не пойдешь! А уйдешь — пеняй на себя, попробуй только уйди!

Витька замаялся, нерешительно остановился, виновато посмотрел на нас, говоря нам глазами, что он совсем не виноват, что мать заставляет его носить воду. Мы помогли ему, а потом, провожаемые ласковым и теплым взглядом Витькиной матери, отправились к Брагину. Он уже ждал нас у калитки своего дома.

Дорогой Мозгляков загадочно поглядывал на нас, тихонько и радостно улыбался, был весел и, захлебыв-

ваясь словами, все рассказывал Брагину, молчаливому и спокойному, чепуху о том, что у него есть что-то, что сразу же приведет их в трепет и обратит в бегство, а так как мы уже с утра слышали от него об этом, то теперь нам это было уже не так интересно, и мы с Витькой Ковалевым говорили о старинных монетах, страсть к которым вспыхнула в нас совсем недавно, поглотила нас, и мы наперебой выпрашивали у всех старые деньги, обменивая на них все, что было у нас самого ценного. Витька Ковалев с воодушевлением рассказывал, что вчера к нему пришел самый главный коллекционер нашего города, а я с завистью, сожалея, что не я был на Витькином месте, слушал его.

— Я сижу на крыльце, рогатку делал, а он остановился у ограды и спрашивает, где здесь живет такой-то. А такой-то — это я. Я думаю — чего это ему надо, а у самого мороз по коже, рогатку спрятал за спину, думаю, пришел отцу жаловаться, опять, видно, порки не миновать, а он и говорит, что пришел деньги посмотреть. Я ему притащил всю коробку. Он все деньги посмотрел и сказал, что рубель, еще мужик на нем изображен, отец говорил, что это Петр I, он у меня, мол, выменяет, этот рубель-то. Я, конечно, хоть и жалко рубля, а не посмел отказать-то ему и согласился. Потом мы пошли к нему домой. Я думаю дорогой-то: «Чего он мне даст за рубель, может, дрянь какую-нибудь?» Ну, пришли к нему. Вот уж у кого денег так денег — целый шкаф! Он мне пять иностранных монет дал, я их забыл тебе сегодня показать, вот придем домой, так обязательно покажу, все новенькие и блестят.

— И чего вы нашли в этих деньгах, — вмешался Мозгляков, — на кой ляд они вам сдались. У меня вон у бабки в деревне полная шкатулка полтинников, да они мне даром не нужны.

— Привези мне, а? Я тебе за них тоже чего-нибудь дам, — вскинулся Ковалев.

Мне стало очень досадно, что я не сразу нашелся, и он опередил меня, а когда я услышал ответ Мозглякова: «Ладно, привезу — выкраду у нее несколько штук, она и не заметит, а ты мне за них баночку пороку дашь» — то подумал, что как бы хорошо было, если бы Мозгляков отдал эти полтинники мне, а я бы

ему, так и быть, отдал за них старые шпоры, которые он уже давно у меня выпрашивал, вправду отдал бы, и я хотел уже сказать ему об этом, но не сказал, потому что понял, что сейчас говорить об этом уже поздно.

— Пороху-то не дам, там и так мало осталось, а отец узнает, что я взял, так задаст мне, — ответил Ковалев.

— Не узнает, он у тебя все равно никогда не охотится, а ты каменного угля подсыпь — растолки его мелко да и подсыпь, вот и будет незаметно, — посоветовал Мозгляков.

— Посмотрим, ты деньги вначале привези.

И странно: мы шли драться, а, казалось, совершенно забыли о цели нашего похода, может быть, потому, что нисколько не боялись, ведь с нами был сам Витька Брагин, но как только мы вышли на луг, мы вдруг как будто вспомнили, зачем мы идем и, насторожившись, стали пристально вглядываться в отдаленные кусты, рассеянные на берегу реки. Нам не было страшно, но было немножко не по себе, примерно так же, как тогда, когда мы ходили поздним вечером воровать клубнику у старухи Антипьевны. Мы знали, что стоит нам только перейти поле, миновать гряды, пустынные в этот час, и сразу же будут кусты — там-то и скрываются они. Ни у кого из нас даже и мысли не было о том, что их там, может быть, совсем и нет, хотя вокруг все было тихо и спокойно.

Мы были уже совсем близко от кустов, как вдруг из них выскочили они и молча бросились нам навстречу. Мы оторопели, совсем не ожидая этого, и в нерешительности остановились. Впереди них бежал Рыжий. Мы застыли в недоумении: как он мог оказаться тут? Мы знали, что он не ходил с ними на берег, но сейчас он бежал впереди. Может быть, они как-нибудь узнали о том, что мы идем на них, и подговорили его, и устроили нам засаду, а может, он сам пришел, чтобы играть вместе с ними. Рыжий был старше нас на целый год и учился в седьмом классе. Они были совсем близко от нас, и в этот самый момент, как-то странно и лихорадочно суетясь, Мозгляков выступил вперед, распахнул куртку и вытащил самопал — дуло, длинное и толстое, как черенок детской лопатки, в нескольких местах прикрученное проволо-

кой к деревянной рукоятке. Это был ужасный самопал. Мы тоже делали самопалы, но этот был раз в пять больше наших. Не испугаться его было нельзя. Наведя самопал на них, он поднес спичечный коробок к приделанной сбоку от дула спичке, которая должна была поджечь порох, и крикнул срывающимся голосом:

— Не подходите, а то выстрелю!

Никто из нас не ожидал этого, и мы испугались. И они, и мы — все замерли в ожидании. И все же никто из нас, хотя у каждого мелькнула мысль — а вдруг да и выстрелит — не верил, что Мозгляков может выстрелить; мы думали, что он просто шутит, просто решил напугать их, но чтобы и впрямь выстрелить — в это мы не верили, и взглянув на наши лица, и, вероятно, поняв то, о чем мы думали, Рыжий тоже решил, что Мозгляков не выстрелит, не посмеет, не хватит духу, и, боязливо усмехаясь, сделал шаг вперед; и они, и мы сразу поняли, что этого шага достаточно — и что если уж и сейчас Мозгляков не выстрелит, то значит уже совсем не выстрелит — и лучше всех нас понял это сам Мозгляков. Он чиркнул коробком по спичке, и она вспыхнула, но выстрела не было: самопал, как мы узнали потом, Мозгляков не заряжал, потому что ведь не дурак, говорил он, стрелять. Рыжий уже бежал к Мозглякову, а тот, мгновенно растеряв всю свою решительность, стоял, потупившись, и только руки у него испуганно дрожали, и все мы поняли, что Рыжий сейчас будет бить Мозглякова, а тот даже и пальцем не двинет в ответ. Рыжий успел только один раз ударить Мозглякова, да и то не больно — в плечо, как вдруг вперед выступил Брагин. Рыжий понял, что Брагин вышел вперед, чтобы драться с ним. Они стали хватать друг друга, но ни один из них не мог повалить другого. Они были оба сильны и долго боролись, а мы стояли около и молча наблюдали за ними. Вот, казалось, Брагин, крепко захватив Рыжего за пояс, повалит его, но Рыжий вырвался, и сам в свою очередь схватил Брагина, но тот твердо стоял на ногах, и его трудно было повалить. Рыжий стал ловчить, ставить подножки, но ничего не помогало: Брагин не уступал ему. Они вспотели, лица их были красны — они боролись уже давно, а мы стояли рядом и, не отрываясь, смотрели на них. Вдруг Брагин

оступился и упал. Рыжий не накинулся на него, а продолжал стоять, ожидая, пока Брагин поднимется. Потом они схватились вновь. В конце концов Рыжий повалил Брагина, подмял его под себя, и Брагин, поднявшись с земли, молча признал это, и все мы, взглянув на Брагина, признали это.

Мы повернулись и, посрамленные, пошли обратно, потому что нам больше ничего не оставалось делать, а они долго еще стояли там, торжествующе провожая нас глазами. Все мы в душе признавали, что они победили нас, но вслух никто не признавался в этом. Все мы говорили о Брагине, говорили, что он поборол бы Рыжего, если бы первый раз не оступился, если бы Рыжий не ловчил, что он сильнее Рыжего, а тот слабак, а Брагин слушал, и хотя не перебивал нас, но про себя знал, что это не так. Мы пытались бодриться, но тоскливо, обидно и нехорошо было на душе у нас: понимали мы, что они прогнали нас, как собак, чувствовали мы, что трусили, и мы ненавидели Рыжего, потому что именно он заставил нас струсить, а эта явная отвратительная ложь друг другу унижала нас, нам очень сильно хотелось отомстить им. Пуще всех ненавидел Рыжего Вовка Мозгляков: весь свой расчет строил он на том, что они непременно испугаются, когда он наведет на них свой самопал, ведь этого нельзя же не испугаться, а Рыжий поступил совсем не так, сделав шаг вперед, и этим сломал весь расчет Мозглякова и напугал его до смерти, потому что Мозгляков понял, что это его будут бить гораздо сильнее, чем если бы ничего этого не было, и то, что Рыжий как-то обидно, небогато ударил его в плечо, казалось крайне унижительным Мозглякову. Он вдруг оживился и сказал:

— Слушайте, пойдемте к Топотало, позовем его, он-то уж покажет Рыжему, а с нами он пойдет.

— А ты его откуда знаешь? — спросил Ковалев.

— А он мне двоюродный брат, он пойдет, вот увидите.

Мы ненавидели Рыжего, ненавидели его самодовольную презрительную усмешку, которой он провожал нас и которой подражали они все, когда мы, подавленно оглядываясь, уходили обратно, и, хотя всем нам стало немного неприятно от предложения Мозглякова, мы сразу же согласились.

Топотало был страшен. Он был недоразвитым, и у него было лицо идиота — грубое, будто вытесанное топором из дерева, с оттопыренными ушами и отвисшей нижней губой, но не это было страшно, а его глаза — глаза, в которых ничего нельзя было прочесть. Они были немыми, неживыми стекляшками, в них часто проглядывало что-то злобное и свирепое, навевающее страх. Совсем недавно в городском саду я видел Топотало. Он шел по аллее, а вокруг играли дети; матери, расположившись на скамейках, читали, вязали, болтали, наблюдая за ними; другие качали коляски с совсем маленькими детьми. Навстречу Топотало, задумавшись о чем-то своем, шагал второклассник. Вдруг второклассник поднял голову, увидел Топотало и громко закричал. Лицо его наполнилось страхом, и он, уронив стаканчик с мороженым, растекшимся по асфальту белой лужицей, побежал к людям — к скамейке, где они сидели. Я видел лицо Топотало: оно не изменилось совсем, и только тупые маленькие глазки его равнодушно проследили за второклассником. Я, помню, подумал в тот момент, что, если бы от меня кто-нибудь побежал с таким криком, то я, замирая от страха, подумал бы, что у меня, вероятно, очень страшное и противное лицо, и мне было бы очень больно от этого, но лицо Топотало было спокойно. Топотало учился где-то в спецшколе, но и оттуда его выгнали: он не был способен учиться. Но он не был дурачком. Дурачком был Ваня Ложка. Ваня радостно бегал по городу, позванивая ложечками, был безобиден, и мы часто задорили его, но он не обижался. От Топотало же веяло чем-то свирепым и диким.

Когда все мы ввалились к нему, он сидел за столом и, громко чавкая, с судорожной жадностью ел суп. Вовка сказал ему, зачем мы пришли, и он сразу же согласился. Дорогой Топотало сказал нам, что у него есть справка, и что если даже он убьет человека, то ему ничего не сделают, потому что он выродок, а мы, труся в душе, с благоговением внимали ему и говорили, что как это хорошо, что у него есть такая справка, вот бы нам такую, а он охотно верил нам, считая, видимо, что иначе и быть не может. Мы едва поспевали за ним, настолько стремительно бежал он к реке. Он был выше каждого из нас на целую голову.

Они сидели около костра и смеялись над тем, что рассказывал им Рыжий. Увидев нас, они не побежали, но сразу все поднялись и испуганно уставились на Топотало.

— Где? — отрывисто спросил Топотало.

— Вот он, — указав на Рыжего, сказал Мозгляков.

Топотало, свирепо закусив губу, двинулся к Рыжему, и мы все увидели, что Рыжий испугался: стал бледен, как мел, вся его фигура обмякла, лицо обмякло, и в глазах замелькал страх. Мы глядели в спину Топотало — видели его срезанный затылок, литую шею, по-бычьему наклоненную вперед, большие длинные руки, и его походку — уверенную и твердую — походку зверя, бросающегося на жертву; видели взмах его руки — короткий и быстрый; видели, как сразу упал Рыжий, закрыв лицо руками; видели, как Топотало со всех сил начал пинать его ногами; а потом слышали, что Рыжий ревет, а Топотало, продолжая свирепо пинать его, говорит невнятно, отрывисто, быстро, как собака лает:

— Убью, сволочь, у меня справка, я выродок, мне ничего не сделают, убью, сволочь, будешь еще, гад, убью, сволочь, меня не посадят, у меня справка...

И тут мы все сразу поняли вдруг, что это неправда, что тогда, когда Мозгляков навел свой самопал на Рыжего, нам не было страшно, потому что мы все-таки не верили в то, что самопал заряжен, и что Мозгляков может выстрелить; нам не было тогда страшно, просто казалось, что страшно, а теперь каждый из нас и из них тоже чувствовал, как жуткий и тяжелый страх липкой волной обливает тело.

— Не надо, все сделаю, что скажете, все! — выкрикивал Рыжий, захлебываясь словами. Но Топотало, как будто не слыша слов Рыжего, продолжал бить его, но потом, через несколько секунд, до него, видимо, дошло то, что кричал Рыжий, и он сказал, прекращая бить Рыжего и обращаясь к Мозглякову:

— Проси, чего тебе.

— А пусть самопал свинцовый сделает, всем нам пусть по самопалу сделает, — сказал Мозгляков.

И стало легче всем нам, как будто в бане выскочили мы наконец из донельзя разогретой парилки под холодный душ, а Рыжий, все еще продолжая реветь, быстро забормотал, но уже другим голосом:

— Сделаю, сделаю, у меня много дома свинцу, каждому по самопалу сделаю, а тебе, Вовка, так два даже сделаю, хорошие, ручаюсь, я умею их делать, а свинцу хватит, у меня его много, я на старой водонапорной кабель разделал, много наплавил, всем хватит — и говорил он это так убедительно, что мы поверили, что он действительно сделает нам по самопалу, и нам даже стало радостно оттого, что у каждого из нас будет хороший свинцовый самопал.

Сделалось совсем темно. По берегу, мерцая фонарем, уже ходил рыбак. Мы, оставив их, ушли домой. Всю обратную дорогу, пока Топотало был с нами, мы мало и неохотно говорили, а когда он свернул к себе, сделал нам самопалы Рыжий или нет; о том, что Топотало их проучил как следует. И только Витька Брагин упорно молчал, но он ведь всегда был молчалив, и мы не обращали на это внимания. Потом Ковалев и Мозгляков попрощались с нами, свернули к себе, и мы расстались с ними как обычно, как всегда, как будто ничего не случилось. Мы остались одни с Брагиным — нам было по пути. Я хотел спросить его, есть ли у него порох, потому что, когда Рыжий сделает нам самопалы, их нужно будет чем-то заряжать — или порохом, или головками от спичек, но, взглянув на его лицо, освещенное желтым тусклым светом фонаря, не спросил ничего: меня удивило выражение на его лице. Я вначале не понял этого выражения, не понял, почему оно у него, но вдруг вспомнил, что когда-то видел на его лице что-то чуть-чуть похожее на это выражение, только сейчас оно проступало гораздо сильнее и четче. И я вспомнил, когда я видел что-то похожее на его лицо.

Зимой у нас была «Зарница», и мы ушли за три километра в лес, в поле, где проходила игра. С нами был практикант Стасик, который вел у нас русский язык. Наша классная руководительница отпустила с нами своего сына Славика, предупредив Стасика, чтобы он присмотрел за ним, потому что Славик был младше нас на три класса. Весь день мы играли в поле: рыли окопы в снегу, стреляли из деревянных автоматов, бросали в противника игрушечные гранаты, утомились, раскисли. А вечером, когда начало темнеть, мы на лыжах, едва волоча ноги, приплелись к

школе, но так как путь через лес был длинный, то многие из нас отстали и вот-вот должны были подойти. Славика не было с нами. Испуганная, встревоженная классная бросилась к Стасику и резко закричала на него:

— Где он, вы должны были прийти вместе, а вы оставили его, как вам не стыдно, сейчас же идите и ищите его!

Стасик смутился, но ответил, оправдываясь:

— Да сейчас он подойдет, отстал, куда он денется, не беспокойтесь.

И действительно, через минуту Славик появился на повороте. Все успокоились сразу, и я заметил, что только Брагин, присев на крыльце школы, был как-то подавлен. Я посмотрел на него и вначале не понял, что с ним, и только потом по его лицу догадался, что ему очень стыдно за то, что он забыл о Славице, что он мучается этим. И помню, что меня тогда неприятно поразило это. Ведь не он же совсем виноват, ведь не его же просила классная присмотреть за Славиком, ведь никто не считал его виноватым, ведь виноват был только Стасик, а Брагин почему-то считал, что виноват именно он, и всю дорогу, пока мы шли домой, он угрюмо молчал, лишь изредка с недоумением и горечью повторяя:

— Как я мог забыть про него — не понимаю.

Вот и теперь на его лице было такое же выражение, только еще более резкое и отчетливое, но только теперь он ничего не говорил. «Почему это он, ведь не он же виноват в этом, в том, что случилось на берегу, ведь не он же предложил позвать Топотало, да и потом все это уже кончилось, так что теперь нечего думать об этом, и с какой это стати думает он, что виноват — не он ведь совсем виноват-то», — думал я, шагая с ним рядом. Вскоре мы расстались с ним и разошлись по своим домам. Дома, уже лежа под одеялом, я долго думал над этим, но все-таки так и не мог понять, отчего же это он считает себя виноватым, и в глубине души я презирал Брагина за это.

Они больше не собирались на берегу, а самопали нам Рыжий так и не сделал.

Маргарита Кузнецова

ЦЫГАН

Большое распухшее сердце лежит на блюде. Таня с ужасом смотрит на белые жилы, опутавшие его, думает о своем Цыгане...

Было это в последние дни февраля, когда ветер, дуя, вырывал дранку из крыш, швырял охапки снега в окна. Мать проснулась среди ночи, прислушалась, толкнула отца:

— Леня, а Леня, вроде корова телится, шел бы посмотреть.

Отец вернулся быстро:

— Ведь двойня, давай пошли быстрее. Замерзнут.

Таня из-за печной трубы смотрела, как отец с матерью вносили завернутых в дерюгу, вздрагивающих теляток. Им отгородили скамейкой угол возле печки, застлали пол соломой.

Бычок сразу же попытался встать на ноги, но они разъезжались, и он плюхался на пол, подбирая под себя солому.

Тане было жаль телочку, лежащую на голом полу, и в то же время хотелось, чтобы бычок стоял. Она слезла с печки:

— Ну давай, миленький, постой маленечко. Давай, я тебя поддержу.

Бычок тыкался мордой в ее подол, слюнявил и помыкивал.

Мать затопила маленькую печку, поставила греть молоко для телят.

— Мам, а как звать их будем?

— Так и назовем: телочку — Февралькой, раз в феврале родилась, а бычка — Цыганом. Вон какой он

черный, хоть бы пятнышко где было светленькое. А сейчас ложись. Поздно.

Таня задремала. Мать еще долго хлопотала на кухне. Смотрела, все ли в порядке с коровой. Прикрыла дерюгой телят, и те, довольные, задышали часто, с прихлебом. Изредка мычала в хлеву корова.

Через пять недель сдали Февральку в колхоз, а Цыгана решили кормить до осени. Таня радовалась. Весной, накануне выгона скота в поле, она вычесала Цыгана, на красной ленточке привязала бубенчик.

И вот этот день настал. Управившись по хозяйству, бабы начали выгонять скотину.

Пастух с рожком шел вдоль деревни.

Коровы, задрав хвосты и высоко поднимая ноги, бежали вприпрыжку, охмелев от весеннего теплого воздуха.

Телята боялись выходить. Цыган уперся передними ногами в порог, прижал хвост и словно прирос. Таня с матерью толкали его сзади:

— Да что ты, дурачок, не идешь-то? погоди, потом и не загонишь. Ступай, ступай...

Три дня хозяйки провожали телят, пока не освоились те с лесом и лугом.

Таня тоже просилась пасти, но ее не брали: маленькая больно. Зато по вечерам, когда стадо было еще у реки, она брала прут и бежала к ферме. Цыган теперь освоился и все норовил остаться с колхозными телятами в загоне.

— Иди, иди, путаник. Говорено, не загнать теперь.

Цыган шел, понуря голову, вроде как и соглашаясь с ней, но у прогона вдруг взбрыкивал и кидался в заросли репейника. Тогда на помощь приходила мать. Она приговаривала:

— Ах, ты, дурачок, весь ведь в колючках. Как теперь вытащишь?

Таня повторяла:

— Иди, иди, липушка дьявольная. Матка-то уж давно дома, а ты все шляешься.

В хлеву Таня садилась на скамеечку, с которой мать доила корову, и смотрела, как Цыган хрупал траву. Зеленая слюна длинными нитями тянулась с его губ. Тут и засыпала она.

Мать на работе рассказывала женщинам:

— Все девчонки как девчонки, а моя не знаю на кого и похожа. И днюет, и ночует возле теленка. Вчера искала-искала по всей деревне, ну, думаю, все, наверное, в колодец упала. Ведь сколько раз уж говорили, чтоб засыпали разваленные колодцы. Так нет, дождутся, что кто-нибудь попадет туда... Ну вот, ищу, а сама чуть не плачу. Слышу, батяню кричит: «Иди, она ведь во хлеву спит!» Прибегаю: теленок лежит, а она со скамейки-то свалилась и рядом спит. Господи, притащила да мыть начала, ведь на навозе спала. Не знаю, не знаю, как и отвадить теперь.

Однажды с Цыганом случилась беда. Был холодный ветреный день. Стадо перегоняли по мосту с берега на берег. Вдруг откуда-то взялись собаки, они загнали Цыгана в реку. Пастухи не видели, а плавать он не умел и стал тонуть. Кричал жалобно и так громко, что слышала женщина, шедшая по дороге, она и вытащила теленка.

Цыган, побывав в холодной воде, захворал. Целую неделю лежал в хлеву, стонал протяжно, не мог открыть глаз. Таня смотрела на его вытянутые ноги, ревели и все звала:

— Цыганушка, миленький, ну открой глазки.

Ветеринар делал уколы, давал какое-то питье, успокаивал Таню:

— Ничего, ничего, не плачь, поправится.

Таня рвала в огороде молодую морковную ботву, пыталась сунуть в рот, но Цыган не брал, а только мычал нутужно. Но через неделю поднялся, попил пойла, и Таня вывела его в закоулок, на солнышко и траву.

Еще через несколько дней он вернулся в стадо. Но теперь и в стаде не расставалась Таня с Цыганом. Она так просилась на пастбище, что отец махнул рукой и стал брать ее с собой. Только не с раннего утра, а с обеда.

Цыган узнавал ее, подходил и привычно тянулся губами к ее рукам. Таня давала ему на ладони хлеба и кусочек сахара, приговаривая: «Ешь, миленький».

Все чаще Таня стала видеть его с Малюткой — маленькой крепкой телочкой. Она была такая хорошая и ласковая, тоже черненькая, но с белой мордочкой и бе-

лой кисточкой на хвосте. Они бегали друг за дружкой по поляне, забираясь иногда далеко в лес, смешно бодались своими едва пробившимися рожками. А в самую жару лежали где-нибудь в тенечке, размеренно дыша.

Когда стадо отдыхало, Таня с отцом собирали первые грибы. Но стоило подняться какой-нибудь корове, как Таня опрометью летела к своему любимцу.

Доярки, приезжавшие на дойку, смеялись:

— Чего ты к теленку-то пристала? Он, поди-ко, не знает, куда и деваться от тебя. Целуй, целуй, он в навозе валяется, а ты его целуешь. Чего делать станешь, когда заколют?

Таня обижалась:

— И ничего не заколют. Мама сказала, не заколют, на зиму оставим.

— Да что он, телка, что ли, чтобы в племя-то пускать? Да и вы не ахти богачи какие. Чего есть-то будете зиму? Али святым духом питаться? Картошку-то скормите, а сами зубы на полку?

В ответ на эти слова Таня заливалась слезами, отец успокаивал:

— Не плачь, дурочка!

— Я не дурочка, а ты скажи, оставите или нет Цыгана?

— Оставим, оставим, — и отец уходил к стаду.

Таня радостная висла на шее у Цыгана, а он все норовил лизнуть ее в лицо.

Так и дружили они с Цыганом. Потом заболела мать и ее положили в больницу, а Таню забрала в город тетка. Таня каждый день просилась домой. Тетка обижалась:

— Ты, как волчонок, все в лес смотришь.

Конфеты, печенье Таня складывала в коробку. Копила, чтобы отвезти Цыгану. Сплела из ниток-мулине разноцветный, как радуга, ошейник. И вот в конце августа Таню привезли в деревню. Вечером она побежала встречать стадо. Еще издали, увидев Цыгана, шедшего бок о бок с Малюткой, закричала:

— Цыганчик, Цыганчик, миленький!..

Цыган, услышав знакомый тоненький голосок, подбежал к Тане, принялся лизать и жевать подол нового сарафана. Он за этот месяц отъелся, подрос, стал более спокойным.

По-прежнему Таня старалась быть возле Цыгана. Незаметно пронеслось лето и подступила осень. Все короче становились дни, все раньше пригонялось стадо.

Цыган стал походить на взрослого теленка, ходил медленно, никуда уже не забегал. Дома его ждала припасенная картошка. Он съедал целое ведро, мычал легонько, словно благодарил, и заходил в стойло, застланное свежей соломой — тоже Танина работа. Она охапками носила ее с колхозного поля.

Вскоре и совсем кончили пасти скот, наступили холода. Корова мычала, просилась на волю. Не больно-то охота жевать сухое сено.

Дома стали поговаривать: дескать, быстрее бы морозы, да теленка резать. Мать убеждала Таню:

— Не реви, он сено съест, а корове — чего? Да и картошки нету. Много ли нынче накопили, а в колхозе ничего не получили: батяно пасет, а я в больнице пролежала, когда люди копали. Эка невидаль какая — теленок, нашла по кому плакать. Ты пореви, так и тебя к нему на ночь выставлю. Вот и спи там.

— Я и сама уйду, застрашала...

Матери было жаль Таню, но она говорила:

— Вот и хлебай щи пустые, да картошку немаланную ешь. Небось, немного наешь, запросишь масла. А масла не накупаешь. Денежки надо. Теленка заколем: и мясо, и сало будет, хоть не так много сала, а все сало. Немножко мяса продадим, купим тебе пальто с шароварами к зиме.

В ноябре Цыгана зарезали. На кухне жарили печенку и пили самогон. По улице летали вороны. Сиделись на телеграфные столбы, снова взлетали и кружились без крика.

Одноглазая собака сидела у крыльца и ждала очереди есть шкуру с головы, которую угрюмо терзала другая.

Солнышко спряталось за тучу. Медленно падали снежинки, вылетая из-за угла.

Таня ежилась и все пятилась, поднимая плечи.

Собаки убежали, только среди стружек и снега грязно краснела обглоданная шкура.

А на столе на блюде, лежало сердце.

РДЕСТЫ

В управление Борис Александрович приехал рано. От разговора с матерью настроение испортилось. Она, видите ли, вздумала учить его, завтрашнего кандидата наук. Он поднимался по бетонным ступенькам лестницы, тяжело шаркая ногами. У своей двери задержался, оглядел приемную, словно что-то выискивая. И вдруг глаза его сверкнули радостным гневом. На столе технического секретаря он увидел вазу, в которой стоял букет — не букет, а пучок какой-то вялой травы. Борис Александрович по-мальчишески быстро подскочил к столу, схватил его с яростью и бросил в плетеную урну. Ваза упала набок, и по полированному столу побежала вода, стекая на пол и на ботинки директора. Борис Александрович пошел от стола, дрыгая ногами, как кошка, когда она переходит через грязную дорогу. В открытых дверях приемной и увидел своего секретаря. Она стояла растерянная и сникшая. Даже не поздоровалась с ним. Это он вспомнил потом.

— Клава, скажи уборщице, чтобы она следила за своим объектом, если у тебя нет времени убирать лишнее со стола.

— Хорошо, Борис Александрович... скажу, — тихо ответила Клавдия Павловна и опустила голову.

Борис Александрович бросил это приказание через плечо, направляясь к себе в кабинет, а ответ услышал, когда уже открывал дверь, и покорно-тихий голос секретаря притушил его гнев, вспыхнувший при разговоре с матерью.

...Уборщица тетя Лиза вошла в кабинет директора вовремя. Она это знает — когда войти. Борис Алек-

сандрович сидел за столом, уставленным цветами, одиноко и сиротливо, подперев подбородок кулаками. Все только что разошлись, поздравив его с днем рождения.

— Так мне погодить, может, еще чуток, Борис Александрович?

— Что? Ах, да... Нет, тетя Лиза, пожалуйста. Да не-ет... Оставьте свое орудие производства и подойдите сюда. Да, сюда к столу.

Тетя Лиза неторопливо поставила у дверей ведро с водой, аккуратно прислонила к стенке «валявку» и деловито, со степенной важностью направилась к столу, вытирая о халат руки.

— Садитесь... в кресло.

— В кресло?!

— Да, в кресло.

— В кресло дак в кресло, не смею противиться, — проговорила тетя Лиза певучим голосом и отодвинула тяжелое кожаное кресло от стола.

Борис Александрович смотрел, как она располагалась на непривычном для нее сиденье, и чувствовал, как вздрагивают губы, готовые расплыться в улыбке. Тетя Лиза сначала присела на край, потом сдвинулась к самой спинке, положив руки на валики, но тут же их убрала, подалась вправо, облокотилась рукой на валик, а другую положила на колени, но через мгновение изменила и эту позу, встала, снова опустилась на самый краешек кресла, одернула халат и, сложив на животе руки, подалась туловищем вперед, выражая всем видом внимание и неподдельное любопытство. От неэ не ускользнуло трепетанье директорских губ и переменчивость во взгляде. И потому, не дожидаясь, когда он заговорит, спросила:

— Смешно, поди, на меня на россолоду глядеть-то?

— Это почему же? — встрепнулся Борис Александрович.

— Да ведь истинно говорится, что не в свои сани не садись. Знала бы, что такое случится, попримеривалась бы раньше. Ведь сколько раз я эти кресла передвигала с места на место, а вот посидеть не удосужилась. Да что там: всяк сверчок знай свой шесток.

— Тетя Лиза, у вас очень интересные категории мышления.

— А уж какие есть. К другим не приучена.

— Тетя Лиза, рюмочку коньячку, армянского, не желаете?

— Отчего бы и не желать, ежели я его во всю свою жизнь не пивала.

Борис Александрович открыл дверцу стола и одной рукой извлек оттуда две рюмки и початую бутылку. Плеснул чуть себе, наполнил рюмку тети Лизы и дополнил свою, потом снова запустил руку в стол и, выложив перед тетей Лизой горсть шоколадных конфет, поднял рюмку и спросил:

— Так за что тост поднимаем?

— За тебя, Борис Александрович, за твои четыре десятка. Дай бог еще два столько...

— Спасибо, тетя Лиза, за щедрость, хватит и половинки того, что уже прожил, — и он не спеша осушил рюмку, не вздрогнув ни единой жилкой лица.

Тетя Лиза долго примерялась, потом сделала первый глоток, пожевала губами, сморщилась, чуть подождала и разом выпила все остальное.

— Фу ты, чистая перцовка, только поядренее.

Она вытерла губы ладошкой и осторожно поставила рюмку, не решаясь взглянуть в лицо директора, чтобы не наколоться на его насмешливую улыбку. И увидела руку, тонкую, белую, с круглыми ровными пальцами, сложенными в щепоть, в которой пестиком торчала темная конфета в лепестке голубого фантика, и вспомнила вдруг руки Трофима Яковлевича, деда Бориса Александровича, первостатейного бондаря: кадки его работы и до сих пор незаменимые хранилища соленых огурцов и капусты.

— Тетя Лиза, закусите конфеткой. Берите, берите. Вы о чем вдруг задумались?

— Да вот вспомнила деда твоего, Трофима Яковлевича, — тихо ответила тетя Лиза и осторожно взяла конфету.

При упоминании о деде Борис Александрович недовольно передернул плечами и плотно сжал губы. Немного помолчал и спросил:

— Тетя Лиза, а сколько вам лет?

— Ежели по прожитой жизни — много, а по годам — совсем чепуха. В мою-то пору иные стариком обзаводятся. Родилась я в самое переменное время, седьмого ноября семнадцатого году. А что тебе, Борис Александрович, вдруг мои годы понадобились?

— Вы не обижайтесь, я из хороших побуждений спросил. Думаю, отдыхать бы вам надо.

— Так я и отдыхала, пока не уговорили снова. Ведь мы не вы. На ваше место сколь глаз смотрит, а на наше без приманки не затянешь. — После выпитой рюмки тетя Лиза чувствовала себя в кресле, как на обыкновенном стуле.

— Разве место директора так уж хорошо?

— Хорошо не хорошо, Борис Александрович, а со стороны завистливое.

— Это верно, хотя свободы действия у рабочего намного больше, чем у директора, а спроса меньше.

— Не знаю, Борис Александрович, но знаю, что не каждому директору эта должность по плечу...

— Тетя Лиза, не откажите еще одну, — Борис Александрович взял за бутылку и выжидательно посмотрел на собеседницу.

— Не откажу, Борис Александрович, не откажу. Ежели тебе приятно, я выпью...

— Тетя Лиза, как по вашему... я на своем месте?

— Ты?

— Я.

— Честно?

— Ну, конечно, честно. Иначе зачем бы мне и спрашивать.

— Не на своем, голубчик, — выпалила тетя Лиза и уставилась в лицо директора.

— Пп почему?! — смущенно выдохнул Борис Александрович, теряясь под взглядом уборщицы.

— Сострадания в тебе нет. Души в тебе нет... И не перебивай, — вдруг разошлась тетя Лиза. — Мужик ты красовитый, вид в тебе есть, образованность у тебя всякая такая на работу есть, а вот души нет. Нет ее в тебе. Ты ходишь по предприятию, как гость по избе. На всех смотришь и будто не видишь их, потому что в голове у тебя только план да обязательства. А люди для тебя отличаются только по фамилиям. И решаешь все сам единолично. Правильно-неправильно, но сам...

— Как сам! У меня партком, завком... Вопросы у меня решаются коллегиально. Тут вы, тетя Лиза...

— Правильно, и завком, и партком, а на самом деле-то что выходит? Ты же все под себя заграбастал. Что твой Тимофей Васильевич? Он как был Тимоха,

так и остался Тимоха. Как зорил в детстве по твоей указке гнезда, так и теперь без твоего указа никуда. Вот тебе и завком. И секретарем партийным помыкаешь по своему усмотрению. Потому они на поводу у тебя идут, что сам подбирал их для своего окружения. И всякие твои решения одобряются единогласно. А разве может такое, чтобы всегда все единогласно? Не может. А раз все единогласно, значит, плохо. Значит, люди не своим умом живут. Я уж наслушалась разговоров после всяких совещаний, когда выходят твои единогласные. Раз не утерпела и на Тимоху, твоего завкома, даже при посторонних прикрикнула: «Не разводи здесь, — говорю, — свою альтимонию. Надо было говорить там, у директора, а не в курилке бубнить». Думала, даст ход моей грубости. Но пронесло... Ты чего смеешься, Борис Александрович?

— Я не над вами, тетя Лиза. Честное слово.

— Ну, смотри. Надо мной смех недолог. А вот свою кличку ты на заводе знаешь?

— Не-ет. А какая?

— Иностранцем тебя именуют. Почему — не знаю. Может, потому, что говорить ты большой мастер, и без бумажки. Ведь Илья-то Алексеевич без бумажки, говорили шутники, имя родной матери произнести не мог. Ну, с его и спрос был невелик: человек тянул до пенсии. Ты-то против его орел, все с высоты смотришь. Говорят, что настоящие орлы из-под облаков видят. А ты вот и орел, но под носом у себя не видишь, а отгадка простая: глаза поверху несешь...

— Простите, тетя Лиза. У вас лично есть ко мне претензии?

— Есть, Борис Александрович.

— Слушаю вас.

— Ноги о коврик никогда не вытираете, когда входите в свой кабинет.

— Про-остите, тетя Лиза, но это уже хамство...

— И я так думаю, Борис Александрович, но...

— Но хамство с вашей стороны, тетя Лиза. Я... я всегда вытираю ноги там... внизу, когда вхожу в помещение... И довольно хамства в конце концов, — повысил голос Борис Александрович и стал убирать со стола рюмки, бутылку и конфеты.

— Вот именно — хамство. Души в тебе, товарищ директор, нет. Ведь ты только одну меня на заводе

называешь на «вы», — с новой силой наступала тетя Лиза, не обращая внимания на гнев собеседника. — Почему ты уборщицу посадил сейчас за один с собой стол? Да потому, что никто не видит, а сама, ты знаешь, я никому не скажу. Да и на душе у тебя мучительно — вот и сидишь со мной. Может, даже гложет тебя совесть, что человека сегодня обидел.

— Какого человека? — всполошился Борис Александрович, вспоминая резкий разговор с матерью. — И откуда вы, тетя Лиза, знаете?

— Э-э, голубчик, я все знаю. Она весь день урывками плачет.

— Как плачет?

— Как все обиженные в таком разе плачут. Ведь ты чего выкинул-то?

— Что «выкинул»?

— Рдесты!

— Что? Что?

— Рдесты, говорю. Можно сказать, самую светлую и чистую память — в помойное ведро...

— Какие рр-десты, какое помойное ведро!.. Ничего не понимаю...

— Ну, урна. Это одно и самое же, что и поганое ведро, — горячилась тетя Лиза, досадуя на непонятливость директора.

— Тетя Лиза, вы что — пьяны? — Борис Александрович откинулся в кресле и затянул расслабленный галстук, готовый встать и прекратить дальнейший разговор.

— Это с каких рыжиков! — оскорбилась тетя Лиза и привстала в кресле, опершись руками на холодные валики. — Думаешь, я опьянела с твоих армянских мизирчиков? Да ты меня только раздражил, сделал говорливой, но я в своем рассудке. А рдесты для Клавдии Павловны — это как Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. Даже дороже. К могиле Неизвестного солдата венок может положить и тот, кто стрелял в него, а для Младовой цветы...

— Постой, тетя Лиза, постой... Я, кажется, начинаю понимать вас.

— Ну и слава тебе господи, прошибло, — облегченно вздохнула тетя Лиза.

— Прошибло, тетя Лиза, прошибло. Честное слово, прошибло, — Борис Александрович снова расслабил

галстук и подался вперед, показывая, что готов слушать дальше, довольный, что мать тут не при чем.

— Вот и я говорю: у Клавдии Павловны это в сердце затаено. Она мне потому и выдала свою тайну, что мы с ней из одной деревни. В год-то начала войны ей было только шестнадцать, а Максиму уже двадцатый шел. Лучший тракторист да красавец писанный. Любовь промеж их завязалась. Они все на другой берег Сухоны уходили с гулянья. Дом мой на берегу — вот я и заприметила. Ходят так степенно рядышком, но не касаются друг друга. Уж вот пара добра была, так я еле терпела, чтобы не рассказать по деревне. Хорошо, что утерпела. Скоро у них все разладилось. Почему — не спрашивала. Но видела, что несогласная сторона была Клавдии. Максим всячески ее обхаживал и выманивал на гулянку. Но не шла она. А тут грянула война. Максима в первые дни и призвали, так сначала в деревне думали, что призвали. Потом узнали, что сам, добровольно, ушел. На проводах я снова увидела, что Клавдия без ума от Максима. Жгла его глазами. А когда он сел в телегу, подбежала и сунула вышитый носовик. Потом уж я узнала, как у них все было. Задумал Максим нарвать букет цветов, что росли в реке на отмели. Клавдия стоит, а Максим засучивает штаны, чтобы не обмочить их. А ноги у Максима оказались тонкие, кривые и все в волосях. Клавдия-то еще дура ведь нагольная была. Увидела все это, и чувства у нее охладелись. Сама теперь поняла, что дура. А Максима-то убили. И вот, дорогой мой Борис Александрович Кадкин, с тех пор Клавдия Павловна ставит эти цветы на стол себе. Дома, конечно, не решается, ведь не каждый муж правильно это поймет. Она вот тут тридцать лет работает. И не было года, чтобы она в этот день не нарвала рдестов. Цветы красой, конечно, не берут, а для нее всего дороже на свете, как память...

Борис Александрович долго молчал, словно ждал продолжения, но тетя Лиза сказала все. Она протерла повлажневшие глаза, тяжело вздохнула и поднялась с кресла. Директор не шевельнулся. Он смотрел на дверь, ведущую из его кабинета в приемную, и лицо у Бориса Александровича было растерянное и жалкое.